

М. ОСОРГИН

**Письма о  
незначительном**



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью - Йорк

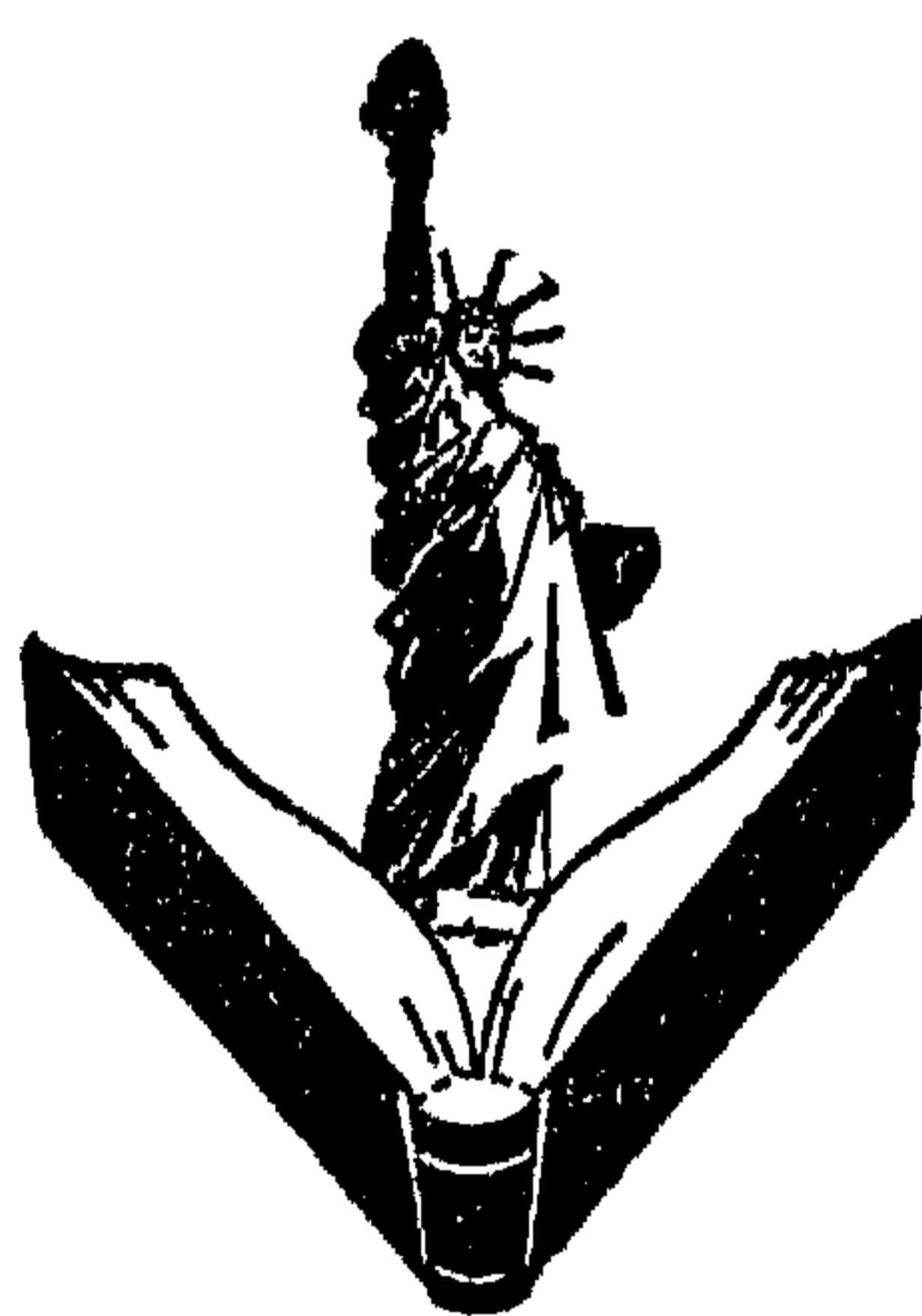


**М. ОСОРГИН**

**ПИСЬМА О  
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ**

1940-1942

с предисловием М. Алданова



**ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА**

---

Нью - Йорк

•

1952

COPYRIGHT, 1952 BY  
CHEKHOV PUBLISHING HOUSE  
OF THE EAST EUROPEAN FUND, INC.

PRINTED IN THE U. S. A.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Михаил Андреевич Ильин, писавший почти всю жизнь под фамилией своей бабки Осоргиной, родился 7 октября 1878 года в Перми. И отец его, и мать, рожденная Савина, и бабка принадлежали к очень старым великорусским дворянским семьям, значащимся в Бархатной книге. Род Ильиных в известном труде князя П. Долгорукого отнесен к потомству Рюрика. Если не ошибаюсь, к этому роду принадлежал и художник-иконописец Андрей, сын Ильин, живший пять столетий тому назад. В более позднее время среди предков и родичей Михаила Андреевича были администраторы, ученые, генералы, адмиралы. Дмитрию Сергеевичу, герою Чесменского сражения, был поставлен морским ведомством памятник. Русский словарь, вышедший на рубеже настоящего и прошлого веков, причисляет к известным Ильиным и Владимира Ильина, «деятельного представителя русского марксизма». И вправду «деятельного»: он впоследствии составил себе некоторую известность в мире под псевдонимом Ленина. Но это совершенное недоразумение: Ленин, как известно, ничего общего с Ильиными не имел, но только в свое время подписывал этим именем свои работы. Писателей в роде не было, за исключением одного малоизвестного драматурга 18-го века.

Отец Михаила Андреевича был судебным деятелем, принимал участие в реформах Александра II. Богат он не был. В своем дневнике, отрывки из которого напечатаны в одной из книг сына, он называет себя «бедным дворянчиком». Небогата была и мать Михаила Андреевича, институтка, не получившая шифра по случайности.

М. А. Осоргин всегда вспоминал о своих родителях с нежностью и гордостью. Не был вполне равнодушен и к своему происхождению. Родовитых людей, совершенно к этому равнодушных, почти не бывает. Я мог бы назвать П. Н. Милюкова. Он принадлежал к старому дворянству, был в родстве с Суворовым, и никогда об этом и не упоминал. Другим, тут еще гораздо более разительным, исключением, был писатель Петр Александров, — он же принц Петр Александрович Ольденбургский; этот член императорской семьи по настроениям, по быту, по многому другому был крайним демократом. Что до Михаила Андреевича, то он в «Чуде на озере» говорит: «Мы — люди от земли, крепко с ней спаяны. Не сумею точно сказать, откуда пришли мои предки, хотя думаю — из стран варяжских. В мое время считалось неприличным заниматься предками: сословные предрассудки». Его бабка, уфимская помещица, владелица имения Осорьино, говорила ему: «Ты помни, что мы не какие-нибудь, а столбовые. Дворян много, а столбовые все на счету, записаны в одну книгу». Мне эти «столбовые» представлялись высокими, белыми, вытянутыми, шагающими на несогнутых ногах. Но даже, если бы я попробовал окружить их в своем представлении некоторым ореолом, — литература, которую я жадно поглощал в гимназии, скоро выветрила бы из меня такое о них представление. Бабушка напрасно старалась внушить мне уважение к мне «неведомым предкам». В другой своей книге он писал: «Я радуюсь и горжусь, что родился в глубокой провинции, в деревянном доме, окруженном несчитанными десятинами, никогда не знавшими крепостного права, и что голубая кровь отцов окислилась во мне независимыми просторами, очистилась речной и родниковой водой, окрасилась заново в дыхании хвойных лесов и позволила мне во всех скитаньях остаться простым, средним, провинциальным русским человеком, не извращенным ни сословным, ни расовым сознанием, сыном земли и братом любого двуногого».

Родители его были образованные, умеренно-либеральные люди. Мать знала французский, немецкий, английский и польский языки. Была религиозна, но, как вспоминал сын, «никому не навязывала своей религии, даже детям». Отец, член уголовного суда, на пикниках пел тюремную песню: «Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночь темна!» Среди кузин были даже и «стриженные».

О своих родных местах М. А. в эмиграции часто говорил, что ничего равного им по красоте нигде не видел. Волгу пренебрежительно называл «притоком Камы»; на Сену же, где горе-рыбаки «удят подержанную кильку», и смотреть не хотел. Кстати сказать, сам он, с детских лет и до последних, был страстным рыболовом, что несколько удивительно при его нетерпеливом и нервном характере (он писал, что у него в школьные годы была «опасная взвинченность нервов»). Страницы о берегах Камы, о пермских лесах разбросаны по разным его книгам и принадлежат к лучшему из всего им написанного. Недаром он был в родстве с Сергеем Аксаковым, в этом отношении, да и во многих других, писателем изумительным. Его именно в самое последнее время, через столетие, стали очень высоко ставить в Англии.

О пермской же классической гимназии у Михаила Андреевича, напротив, остались воспоминания крайне тягостные (прямо противоположные гимназическим воспоминаниям автора этих строк): «Как и большинство русских провинциальных гимназий, и тех времен, и позднейших, наша была отвратительным учреждением, очень вредным и губительным», — пишет он. Учителя «все пили дико и свирепо, и забывали подтяжки в публичных домах»! Всѣ запрещалось. Считались «страшными, запрещенными и развратными даже Достоевский, Толстой, Шекспир, Байрон».

Я был моложе Михаила Андреевича, но неужто нравы и обычаи могли так измениться за одно десятилетие? Нам о названных выше писателях долго расска-

зывалось на уроках словесности, а тем из нас, которые получали «награды первой степени», нередко давались в дар их сочинения (не все, первых двух). Очевидно, Михаилу Андреевичу особенно не повезло.

В гимназии он начал не только писать — это дело обычное, — но и печататься, что бывает реже. Вероятно, посылал свои произведения по разным редакциям. Однажды из петербургского «Журнала для Всех» пришел благоприятный ответ, вдобавок начинавшийся словами «Милостивый Государь», и в печати — да еще в столичной! — появился рассказ за подписью «М. Пермьяк». Кто это испытал, — впечатления не забудет. Михаил Андреевич стал писателем на всю жизнь.

Он благополучно окончил гимназию, хотя в восьмом классе, на уроке, за неожиданное приказание стать в угол, «вызвал на дуэль» учителя немецкого языка, да еще при этом сказал: «Убью вас, как таракана!» М. А. поступил на юридический факультет Московского университета. Студенческими годам и быту студентов в Москве отведено много страниц в его художественных произведениях, но мне неизвестно, что именно в них автобиографично. Знаю только, что он принимал участие в обычных студенческих беспорядках, потерял год, высылался на родину «за защиту чести студенческого мундира». Всё же получил университетский диплом и стал помощником присяжного поверенного в московском судебном округе.

О своей адвокатской практике он часто рассказывал юмористически, всегда очень забавно. Первым его подзащитным был студент Лихоношин, который в пьяном виде снял на улице с городского фуражку и вытер ему этой фуражкой нос. Дело слушалось в двух инстанциях. На съезде мировых судей М. А. говорил о высокой миссии студенчества, о горящем в душе молодежи протесте. Председатель надрывался от смеха. Подсудимый был приговорен к штрафу в один рубль. Большой практики этот процесс Михаилу Андреевичу не создал. Впрочем, он скоро стал юрисконсультom бога-



того общества купеческих приказчиков, но и там ухитрился исполнять свои обязанности бесплатно. По своему характеру, едва ли разбогател бы, если бы и остался московским адвокатом.

Но он им не остался. Надвинулись тучи весьма грозные. М. А. примкнул к партии социалистов-революционеров и даже к левому ее крылу. Социал-демократом он стать не мог бы: всю жизнь очень не любил марксизм и недолюбливал марксистов. Написал даже популярный когда-то подпольный антимарксистский памфлет «Молитва социал-демократа». Не имел он большого успеха и у социалистов-революционеров. Как ему и полагалось, был в оппозиции главарям. Его кандидатура в московский комитет была снята из-за какого-то пустяка. Тем не менее, он после московского вооруженного восстания был замешан или был признан замешанным в серьезное дело и арестован. Просидел полгода в Таганской тюрьме, ожидая очень сурового приговора по самым страшным статьям закона. Мать его тогда именно скончалась, отчасти от горя и волнения. Кончилось дело относительно благополучно. Какие-то ведомства между собой враждовали, одно из них его выпустило под залог, он уехал в Финляндию, затем в Италию. Больше он ни в каких партиях, насколько мне известно, никогда не состоял. Трудно было бы себе представить менее «партийного» человека. Удивляюсь, как он мог быть в партии, хотя бы в ранней молодости и очень недолго.

В Италию он тотчас по-настоящему влюбился, — по-иному, но почти так же страстно, как в свои родные края. Прожил лет восемь то в Риме, то на морском побережье. За это время стал очень известным журналистом и писателем. Писал в «Вестнике Европы», в «Русском Богатстве», в «Новом Журнале для Всех» и стал постоянным корреспондентом «Русских Ведомостей». Эту газету читала и справедливо почитала вся русская интеллигенция. Превосходные корреспонденции Михаила Андреевича (хорошо их помню) обратили на

себя общее внимание. Подписывался он «Осоргин». В документах значился под двумя фамилиями: сначала Ильин и в скобках Осоргин, затем наоборот. Позднее остался Осоргин-просто. Под этим именем он и умер, но перед смертью выразил желание, чтобы в надгробной надписи значились обе фамилии. Эта его воля была исполнена.

Он написал две книги в Италии, обе о ней, одну — специальную по заказу Словаря Граната, другую — сборник бытовых очерков. Часто к Италии возвращался в книгах, написанных уже после революции, как «Там, где был счастлив» и «Книга о Концах». Ездил он, в качестве корреспондента, и на Балканы, в пору тамошних войн.

Вернуться в Россию он легально не мог бы. Но в 1916 году вернулся самовольно, сославшись на то, что военное ведомство призвало его возрастной класс. Проехал кружным путем через Францию, Англию, Норвегию, Швецию и Финляндию. Репрессиям его не подвергли, главным образом вследствие заступничества В. А. Маклакова. По недостаточно крепкому здоровью, Михаил Андреевич мобилизован не был. «Русские Ведомости» отправили его корреспондентом на западный фронт. Если память мне не изменяет, его военные корреспонденции имели меньше успеха. Он писал о войне не так, как тогда полагалось даже в «Русских Ведомостях».

Революция застала его в Москве. При его имени, при влиятельности его газеты, при больших знакомствах в либеральных (в широком смысле слова) кругах Москвы и Петербурга, он без труда мог бы получить видную должность и в России, и по дипломатическому ведомству. Правда, «предложение» было в ту пору очень, очень велико. Но и «спрос» был громадный. Михаилу Андреевичу было сделано очень лестное предложение. Он его отклонил — по своим взглядам, по своему отношению к государственности. Ненадолго принял работу по разбору архивов Охранного отделе-

ния, однако и это скоро признал ошибкой: разоблачение бывших секретных агентов тоже не согласовалось с его убеждениями. А 25 октября этот спрос кончился, начался совершенно другой.

При большевиках М. А. редактировал кооперативную газету «Власть Народа», литературную «Понедельник», затем газету «Помощь», закрытую советскими властями на третьем номере. До настоящего террора, начавшегося осенью 1918 года и больше не кончавшегося, еще можно было печататься в разных специальных изданиях, как «Голос Минувшего» или «Среди коллекционеров». Михаил Андреевич в них и печатался. Принял участие в создании Союза журналистов и Союза писателей; в первом был председателем, во втором товарищем председателя. Был также деятельнейшим работником «Лавки писателей». Эта лавка, о которой не раз упоминается в романе «Сивцев Вражек», давала возможность как-то (очень плохо) жить и даже приобретать редкие книги. Странное и трогательное было учреждение. Оно в эмигрантской печати позднее описывалось.

Держал он себя при большевиках со своей обычной независимостью, составлявшей одну из лучших и благороднейших особенностей его характера. Поэтому ли или по случайной причине был в 1919 году арестован — и неожиданно посажен в «Корабль Смерти». Эта страшная подвальная камера описана им в «Сивцевом Вражке». Сидели там и политические враги советской власти, и бандиты. По общему правилу не засиживались, особенно первые. Все-таки кое-кто спасался. Повидимому, власти сами не знали, за что посадили в эту тюрьму Осоргина. Это особенным препятствием для расстрела быть не могло, но чортовы качели качались как им было угодно. Качнулись для Осоргина удачно: по ходатайству Союза писателей его освободили, не подвергнув никакой каре и даже не помешав его участию в Обществе Помощи голодающим. Впрочем, осенью 1921 г. его опять арестовали вместе с другими участниками этого

общества. За всех заступился Фритиоф Нансен. Большевики еще немного с ним считались. Часть русской эмиграции не очень любила своего полукоронованного короля. Но едва ли кто будет отрицать, что этот очень выдающийся человек, автор одной из самых замечательных книг в литературе путешествий, сделал на своем веку больше добра, чем значительное большинство людей. Михаил Андреевич отделался ссылкой в Казань. Весной 1922 года он был возвращен в Москву, а осенью того же года, вместе с группой профессоров, писателей и общественных деятелей, был выслан в Германию. Веймарское правительство согласилось выдать им визу, если о ней попросят. Как рассказывал мне когда-то покойный В. А. Мякотин, германский консул в Петербурге гневно сказал ему: «Наша страна не место для ссылки! Но если вы выразите желание получить визу, я вам ее дам». Венедикт Александрович так и сделал. Не помню, как сделали другие. Часть высылаемых очень хотела уехать, другая часть — не очень или совсем не хотела. Многие ли пожалели, что уехали? (впрочем, у них выбора не было). Жалел ли по-настоящему Михаил Андреевич? В СССР он со своим характером непременно погиб бы не позднее чисток 1937 года, а скорее много раньше. Однако, он не раз говорил, что добровольно ни за что России не покинул бы. Ему не суждено было снова ее увидеть — как, вероятно, не увидит ее и большинство из нас, давних эмигрантов.

М. А. прожил год в Берлине, был членом редакции газеты «Дни», уехал читать лекции в Италию, затем поселился во Франции. Писал в «Днях», в «Последних Новостях», в «Современных Записках», в «Голосе Минувшего на Чужой Стороне». Помещал в одной из шведских газет статьи о русской литературе (в Швеции его любили и много переводили). Как всю жизнь, он много работал. Главные и лучшие его книги вышли в эмиграции. Привожу список его произведений, быть может, и неполный: «Очерки современной Италии» (Москва); «Призраки» (Москва); «Сказки и несказки» (Москва);

«Из маленького домика» (Рига); «Сивцев Вражек» (Париж); «Повесть о сестре» (Париж); «Там, где был счастлив» (Париж); «Вещи человека» (Париж); «Чудо на Озере» (Париж); «Свидетель истории» (Париж); «Книга о Концах» (Берлин); «Вольный Каменщик» (Париж); «Повесть о некоей девице» (Таллин); «В тихом местечке Франции» (Париж) и, наконец, настоящая книга. Некоторые его журнальные работы не выходили отдельными изданиями. Кроме того, он много переводил с итальянского: Гольдони, Карло Гоцци, Пиранделло. Переведенная им по заказу Вахтангова пьеса Гоцци «Принцесса Турандот» шла в Москве с 1922 года в 3-ей студии Художественного Театра.

В июне 1940 года, за два дня до прихода гитлеровских войск, Михаил Андреевич бежал из Парижа. Он поселился в местечке Шабри, в так называемой свободной зоне Франции, но на самой границе замли, занятой немцами: они были от него на расстоянии нескольких десятков метров. Его бегство и быт Шабри с очень большой яркостью и художественной силой описаны им в книге «В тихом местечке Франции». Это одно из лучших его произведений. Оно очень волнует, особенно тех, кто бежал почти одновременно с ним, почти в тех же условиях. Некоторые страницы незабываемы.

Жил он в этом местечке плохо. «Низкий потолок, скрепленный прочными балками, стены выбелены известью, в кухне железная плита, прислоненная к вышедшему из быта обширному камину. Мебель убогая, но не ограничивающаяся обширной кроватью, и есть даже обеденный стол, который я приспособил к нуждам своей профессии: он уже занят чернильницей, папками рукописей, табаком, пепельницей и единственными книгами, легшими в основу будущей (которой по счету?) библиотеки. Книг три, и все о рыбной ловле, оставленные мне уехавшим любителем... Номер иллюстрированного журнала за 1867-ой год»...

Начиналась новая — последняя и не длинная — глава жизни. В некоторых отношениях она поразитель-

на. «В моей долгой жизни, — говорит Михаил Андреевич, — время от времени зачеркивается всё прошлое, вся его внешняя обстановка и весь его внутренний смысл, сколько-нибудь с ней связанный; и тогда жизнь начинается сызнова, с первого камня нарастающих стен. Так было в России, так было дважды при расставании с ней. Так случилось и теперь. Может быть, это — злой рок; может быть, есть этому причины — я их не знаю. Я знал их давно, в молодости, когда считал преследования высокой честью; сейчас мне это только противно, как всякое насилие, как всякая бессмыслица».

У него уже давно была сердечная болезнь. Она скоро осложнилась в Шабри. Страшная общая катастрофа потрясла его и физически. «Что такое общественное несчастье по сравнению с личной неприятностью», — говорил граф де Сегюр, — говорил без малейшей иронии, без всякой насмешки над собой или над другими: просто констатировал то, что, по его наблюдениям над собой и другими, казалось ему бесспорной истиной. К Михаилу Андреевичу эти слова не относятся, но и «личных неприятностей» у него было достаточно, хоть и меньше, чем у столь многих других в то время. Денег, конечно, не было никаких. Немцы произвели обыск на его парижской квартире, вывезли книги и рукописи, запечатали двери. Он понимал, что в случае, если они только перейдут пограничную речку Шер, дело его плохо. Была еще одна «личная неприятность»: он знал, что умирает, и даже верно установил срок.

Он стал писать, — об этом дальше. Сердечные боли усиливались с каждым днем. В своем прощальном письме к друзьям, написанном за три месяца до кончины, он говорит: «Пишу, считая себя обреченным на очень скорый уход из жизни (если ошибаюсь, то не очень) и при каждом припадке мечтая об уходе скорейшем, так как я замучен физическими страданиями; сейчас спокойно говорю то, о чем кричал бы в минуту удушья, если бы мог кричать, не находя воздуха».

Михаил Андреевич скончался 27 ноября 1942 года в полном сознании. Он похоронен в Шабри, на маленьком безымянном сельском кладбище.

---

Это был человек, на редкость щедро одаренный судьбою, талантливый, умный, остроумный, обладавший вдобавок красивой наружностью и большим личным очарованием. У него были враги, и политические, и личные. Первых было много, вторых было мало. Но думаю, что все хорошо знавшие его люди признавали его редкие достоинства, его совершенную порядочность, благородство, независимость и бескорыстие. О бескорыстии говорю в широком смысле слова. Пожалуй, я не знал человека, более равнодушного к деньгам, — хотя он любил все радости жизни, а из них ведь многие именно от денег зависят. Михаил Андреевич никогда не был ни богатым, ни состоятельным человеком и с ранних лет до конца жизни жил исключительно своим трудом, даже во второй своей эмиграции, когда это было очень трудно и удавалось лишь немногим «счастливым». Бывали у него, кажется, и периоды настоящей нужды. Это часто оставляет след на душе человека, — на М. А. Осоргине не оставило никакого. Он всю жизнь был «барином» — в соответственном смысле слова. Однажды, после большого успеха в Соединенных Штатах его романа «Сивцев Вражек», у Михаила Андреевича появились немалые, по эмигрантским понятиям, деньги. Он очень скоро все истратил. Чтобы оказать услугу даровитому поэту, с которым не был даже близко знаком, издал на свои средства книгу его стихов, зная, что коммерческого издателя поэт не найдет: стихи товар не ходкий. Но М. А. был бескорыстен и не только в денежных делах. Ни к какой «карьере» он не стремился. Как все писатели, бывал, конечно, рад успеху своих книг или статей, но о «рекламе» совершенно не заботился. Я был когда-то редактором литератур-

ного отдела газеты «Дни» и завел там рубрику: «В кругах писателей и ученых». Обычно, писатели и ученые сами посылали мне материал для этой рубрики. Тут, разумеется, решительно ничего дурного нет, это вполне естественно: откуда же редакции знать, над чем работает тот или другой писатель или ученый и на какой язык его переводят? Михаил Андреевич, несмотря на мою просьбу, ничего мне не присылал. Не было и его юбилеев, не было его вечеров, — они в эмиграции устраиваются не для рекламы и он имел на них все права. М. А. выступал только тогда, когда надо было кому-либо помочь.

Писал он только в «левых» периодических изданиях. Они тоже не соответствовали его взглядам, но больше соответствовали, чем другие. Если б М. А. хотел сотрудничать лишь в изданиях, его взгляды разделяющих, то ему писать было бы негде. В «Последних Новостях» у него случались столкновения с П. Н. Милюковым. Павел Николаевич отдавал должное его таланту журналиста, но некоторых его статей не пропускал: «Я государственник и не могу печатать статьи анархические». Надо ли говорить, что «анархистом» Михаил Андреевич был по-своему и что он никак, ни в малейшей степени, не сочувствовал террору прежних анархистов. Но он относился с высоты ко всем правительствам, ко всякой государственной власти. После выхода в свет «Сивцева Вражка» я как-то за ужином сказал М. А., что, по-моему, уж слишком много в этом романе приблизительных знаков равенства между явлениями, которые сближать никак нельзя: «Во имя чего вы их сближаете?» Он ответил, что знаков равенства не ставит, критикует же все во имя строя, свободного от принуждения и насилия. Не уточнил, какой это строй. Роман начинается словами: «В беспредельности Вселенной, в солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка в своем кабинете сидел в кресле ученый-орнитолог Иван Александрович». Дальше шли страницы о мышке, выползшей из-под



книжного шкафа. И тут было тоже некоторое подобие знака равенства. Одна из последних книг Михаила Андреевича «Происшествия зеленого мира» с ее «Огородными Записями» указывает, что именно важно: «Мирозерцание не строится прочно на зыбкой почве отвлечений. Построим его на твердой земле, родоначальнице живущего, на любви к природе, ничем слова «любовь» не заменяя. А как это выразится вовне, — это не важно, чисто условно, опять же — вопрос техники. Мне ближе и роднее форма шутки и незлой усмешки, другому — пафос, третьему — крепость таблицы умножения. Но, дети одной матери-земли и одного отца-солнца, мы легко сговоримся и поймем друг друга».

Нет, не так легко сговориться, даже если друг друга и поймешь (что гораздо легче, особенно писателям). Быть может, основная особенность М. А. Осоргина в том, что он был, вероятно, единственным русским публицистом, который политику и презирал, и терпеть не мог. На западе это тоже редчайшее исключение. Терпеть не мог политику сам Макиавелли, написавший, быть может, самый знаменитый, как бы к нему ни относиться, политический трактат в истории. Он принимал важные политические поручения и тотчас неизменно и настойчиво просил свое правительство его от них освободить — надоело, устал. Правда, М. А. никаких поручений и не принимал. Но и писать политические статьи было при его взглядах очень трудно.

«Сивцев Вражек» считается самым значительным его произведением. Этот роман о мировой войне и русской революции в самом деле очень значителен по замыслу и своеобразен по выполнению. Он отчасти построен на сопоставлении живых существ разного рода. Написана книга короткими главами: есть главы о людях высокой культуры, о милых барышнях, о чекисте, о палаче, о ласточке, о кошке, о крысе, об обезьянах. Их внутренняя связь освещает любимые пантеистические мысли автора. По форме эта книга стоит особняком в эмигрантской литературе и выделяется среди других

художественных произведений М. А. Осоргина. В ней есть необычные для него стилистические приемы, особенно в военных сценах: «Полон надежды? О, Эрберг! О, расчетливый Эрберг, вы слышите гудящий свист, — вам еще это не знакомо? О, Эрберг, отклонитесь в сторону, бегите, Эрберг! Бросьтесь на землю, закопайтесь в нее головой, глубже, глубже. Чего вы стыдитесь, солдаты так делают. Ваша поза может стоить жизни, а ведь вы расчетливы. Недолет? Да, но вот опять гудящий свист! О, Эрберг!» Есть большие словесные удачи, настоящие находки: «В этот день (первый день весны. М. А.) семинарист, уже полгода думавший о самоубийстве, решил отложить еще, а женщина-врач, одинокая и некрасивая, краснея, купила недорогую шляпу, все равно какую; однако сегодня ее не надела, а вышла в старой, так как с юности выработала в себе сильную волю. Термометр Реомюра с улыбкой играл на повышение».

«Сивцев Вражек» выдержал в оригинале два издания, что редко случается в эмиграции. Роман имел большой успех и в иностранных переводах, особенно в Соединенных Штатах. Мне говорили, что его цитировали американские профессора на лекциях о русской революции. Кажется, и Михаил Андреевич считал его своей лучшей книгой. Я сказал бы, что в чисто-художественном отношении самое лучшее его произведение — это неоконченная и не вышедшая отдельным изданием повесть «Времена», печатавшаяся как раз перед второй войной в журнале П. Н. Милюкова «Русские Записки». В этой повести превосходно всё, и я жалею, что не могу процитировать из нее целые страницы. Отсылаю к ней читателя. Превосходен и ее язык — Михаил Андреевич был большим знатоком и тонким ценителем.

К какой именно традиции он принадлежит в русской художественной мысли? М. А. с юных лет любил Тургенева и особенно Гончарова. Не любил Достоевского. «Позже, уже студентом, я перечитывал Достоев-

ского один, гораздо сознательнее, с увлечением, долгими ночами в московских студенческих Гиршах и Палашах, и тут, в нездоровом воздухе большого города, уже не боролся с ним, а плыл по течению мутных волн, пока опять тот же «Дневник Писателя» не оттолкнул меня, зачеркнув в нем всё, за что он признан мировым писателем. Я потерял веру в его правду — и расстался с ним навсегда». Точно так же он подошел в то время и к Толстому, но тут результат был прямо противоположный. «В последний год мы читали Толстого, — и всё, раньше нами прочитанное, отошло на задний план... Я был раз навсегда побежден и поставлен на колени... В юности Толстой был для меня величайшим открытием; его творчество и по сей час мне кажется непостижимым... Что нужно для этого (для создания «Войны и Мира». М. А.) сделать, как это почувствовать, на какой бумаге изобразить, кем быть и каким образом после этого обедать, смотреть на людей бровастыми глазами, ссориться, отдыхать на лавочке в Ясной Поляне, а не вознестись попросту на небо и не посмотреть рассеянно на весь писательский мир с ближайшего облака?.. Лев Толстой был и остался российским чудом»...

М. А. Осоргин подходил к великим писателям с точки зрения обеих «правд» Михайловского. Повлияли на него и обе правды Толстого. Во всех почти его произведениях, особенно же в «Происшествиях зеленого мира» можно кое-где найти легкий, отдаленный отзвук знаменитого начала «Воскресения»: «Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц — весна была весною даже и в городе. Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли ее... Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди — большие, взрослые

люди — не переставали обманывать и мучить себя и друг друга»...

Я в другом месте подробно пишу о «бескрайностях», в которых иностранцы видят особенность русской культуры. Почему-то эта идея польстила русскому национальному самолюбию. Между тем она в высшей степени спорна. Почти все классические русские писатели, композиторы, художники, за одним (или, быть может, двумя) исключениями ни в политике, ни в своем общем понимании мира, ни в личной жизни «максимализма» не проявляли. Крылов, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Грибоедов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Писемский, Чехов, Мусоргский, Бородин, Чайковский, Рубинштейн, Брюллов, Суриков, Репин, Врубель, Лобачевский, Чебышев, Менделеев, Павлов, Мечников, Ключевский, Соловьевы (называю только умерших) были в политике самые умеренные люди, либо консерваторы, либо либералы, без всяких признаков «бескрайности». Достоевского должно считать исключением в жизни, можно — с оговорками — считать исключением в философии и уж никак нельзя — в политике: автор «Дневника Писателя» был все-таки «умеренный консерватор». Толстой поздних лет, Толстой «Воскресения» и философских работ, конечно, был исключением. И М. А. Осоргин, к этой его традиции в какой-то мере, по-своему, принадлежит.

Особняком стоят две последние его книги: «В тихом местечке Франции» и та, которую выпускает Издательство имени Чехова. Они тесно между собой связаны. Едва ли еще какие-либо книги в русской литературе были написаны в таких условиях, как «Письма о незначительном». Из Шабри Михаил Андреевич стал писать корреспонденции в Нью-Йорк, в газету «Новое Русское Слово». Они, естественно, проходили через цензуру Петэновского строя. «В зоне свободной, — пишет автор, — по причинам мало понятным, быть может, из опасения коммунистической пропаганды, контроль доведен до крайних пределов, притом организован на-

столько плохо, что, вместо суток, письма идут часто неделями и больше, даже между почтовыми отделениями на расстоянии нескольких километров. Контролируется, конечно, переписка с заграницей, при чем авионы из Америки приходят иногда с наклейками цензуры германской (подчеркнуто мною. М. А.) при марсельском штемпеле». От этого «иногда» в ту пору зависела жизнь Михаила Андреевича.

Читатель увидит, что писал автор корреспонденций. Привожу наудачу цитаты: «Немецкой расе свойственен гений второстепенности: обстоятельнейшее развитие чужой идеи, исчерпывающее применение на практике чужих открытий. Ум не постигающий, но незаменимый в исполнении, изумительный в использовании и приспособлении»... «В Париже, задолго до вторжения Германии в Россию, еще в дни союзных между этими странами отношений, немцы без всяких объяснений вывезли из квартир русских, бежавших и оставшихся, эмигрантов и советских, как и из принадлежащих русским учреждений, книги и имущество, не в порядке реквизиции, а просто так, в порядке любопытства к чужой собственности»... «У демократической Европы два врага: гитлеризм и большевизм, родные братья. Кто из них враг номер первый? Один из них посягает на переустройство всей Европы, другой пока сидел дома и отравлял жизнь своим гражданам. Они могли бы нежно обняться, но, очевидно, они не поняли и не оценили друг друга, и дружба их оказалась недолгой. Это понятно. Гитлеризм — явление национальное, коренящееся в основах германской культуры; и это доказано веками; большевизм явление временное, глубоко чуждое культуре русской, гуманистической и пронизанной духом независимости, терпимости, жертвенности, самоотречения. Враг номер первый ясен — колебаний в выборе быть не может».

Это тогда печатал в Соединенных Штатах живший легально во Франции русский эмигрант, с которым

национал-социалисты в любое время могли сделать что угодно.

Каким образом эти корреспонденции проходили в Америку? Могу это объяснить только тем, что французский цензор (бывали всякие) сам в душе сочувствовал мыслям и настроениям едва ли ему известного русского писателя, — по крайней мере, многому в них. Рисковал и цензор, но он хоть мог бы, в случае провала, сослаться на недосмотр, на недостаточное знакомство с русским языком, на переобременение работой и т. п. Осоргин ни на что сослаться не мог. Теоретически можно было думать, что национал-социалисты следят за всем, что печатается в мире, в особенности во вражеских странах. Могли быть и доносы, их было везде достаточно. Конечно, не один Михаил Андреевич думал тогда о национал-социализме то, что сказано в настоящей книге. Но другие говорили это в свободных странах и никакой опасности не подвергались. Очень многие французские писатели и французы вообще (к счастью, даже громадное большинство) думали так же, как он. Но кто же так писал в занятой немцами Европе — не принимая мер предосторожности подпольной печати? Не хотелось бы повторять пошлое по форме, еще более опошленное вечным повторением слово: «безумство храбрых», — однако оно здесь уместно. Для совершенно бесправного человека, как Осоргин, выходец из воевавшей с Германией страны, каждая из его статей могла означать гибель, — гибель в самом настоящем смысле слова. Помню, когда его корреспонденции стали появляться в «Новом Русском Слове», мы их читали с ужасом: «Ведь его отправят в Дахау!» — говорили все. Как ни ценила редакция его прекрасные статьи, она их не помещала бы, еслиб не знала, что он на этом настаивает, что он этого требует. Они очень легко могли попасться и германскому цензору, и уж он-то наверное доложил бы о них куда следовало. Разумеется, Гестапо имело полную возможность распоряжаться судьбой любого из трех тысяч

жителей Шабри. — Я думаю, что, уже по самому своему происхождению, по тому, как и где эти статьи писались, они составляют настоящую гордость русской публицистики.

Скажу откровенно: я с многим в них не согласен. Отдаю должное М. А. Осоргину: он не занял в последние два года своей жизни позиции *au-dessus de la mêlée*, которую занял в пору первой мировой войны Ромэн Роллан. Однако, пока Гитлер не объявил войны России, Михаил Андреевич как будто был склонен защищать политику невмешательства Москвы. В главе «О бюллетенях» я с недоумением читаю страницы о «Русских загадках»: «Два соперника дерутся, третий стоит в стороне и наблюдает. И не только любит, а и подзуживает: «а ну, дай-ка ему под микитки. В зубы, в зубы норови!» И нет ему никакого интереса в том, чтобы борьба кончилась — всякий лишний удар, всякое новое увечье, доставляет ему и прекрасное зрелище, и невинный доход. Когда обе стороны лягут костьюми, — сторонний зритель погладит бороду и сядет за стол съесть и свою, и их порции. Не вы ли говорили о реальной политике? Это и есть реальная политика, выражающаяся формулой *tertius gaude*. Но может быть, этот третий проиграет, если один из дерущихся окажется победителем? Может быть, но невероятно. Во-первых, он уже выиграл и продолжает выигрывать за счет борющихся; во-вторых, в такой борьбе не бывает победителей — бывают только побежденные, и даже выжившему придется долго зализывать раны. В-третьих, реальные политики думают о настоящем и о ближайшем будущем, которое история запишет на их счет; отдаленное сокрыто от нас туманом, о нем будут думать наши дети и внуки. Наконец, на крайний случай, можно добить лежачего и выиграть на этом, разом решив «русскую загадку». Только не ждите от реального политика никаких моральных жестов! Политика разума исключает мораль. Как быть с провозглашенной высокой идеологией? Во-первых, идеология — над-

стройка, во-вторых, не эта ли идеология отвергалась «моралью» Европы? Не она ли осуждена? Не с нею ли боролись? Кто же может теперь настаивать на ее последовательности?»

Иронический тон, в котором М. А. Осоргин так часто, даже почти всегда обсуждал вопросы практической политики, не дает возможности вполне ясно определить смысл его слов. Конечно, он не защищал тут полностью политику Москвы, т. е. договор Молотова с Риббентропом. Но, повидимому, он полностью ее и не отвергал. У Михаила Андреевича и прежде бывали дни, когда «мораль» Европы вызывала у него слишком сильное раздражение. У кого этого не бывало, и я не призван эту мораль (в кавычках или без кавычек) оправдывать. Однако М. А. порою из ее оценки делал странные выводы. В книге «В тихом местечке Франции» он прямо говорит: «Нет, не стоит жалеть Европу». Говорит там же: «Иностранцы, мы делим судьбу французских беженцев, не ставя вопроса о том, почему и за что мы должны ее делить». Все это, конечно, писалось именно в такие дни, — и нервы у нас у всех тогда, тотчас после мировой и личной катастрофы, были совершенно издерганы. Приходится всё же сделать вывод, что он, не оправдывая советской политики, считал ее в ту пору весьма неглупой.

Всем известно, что дала эта «реальная политика». Ее результаты не так трудно было и предвидеть, но они совершенно выяснились очень скоро. Предсказание Михаила Андреевича не исполнилось. Произошло то, что он считал «невероятным». «Уже выиграл и продолжает выигрывать»! — За этот выигрыш Россия заплатила гибелью многих миллионов людей. Всякое другое правительство заняло бы в 1939 году позицию, прямо противоположную сталинской. Тогда почти наверное и войны не было бы: это достаточно подтверждается опубликованными с той поры материалами. Если же война началась бы, то Россия вела бы ее при помощи французской и других армий, и вражеские войска не



дошли бы до Волги и Кавказских гор (в первый раз в новой русской истории). Вдобавок, СССР не был даже нейтрален, а просто оказывал помощь Гитлеру.

Не будем вступать в спор с давно умершим писателем. Да и кто же из нас не ошибался? Те разногласия, которые могли тогда с ним быть, исчезли с июня 1941 года. Первую же свою статью, написанную после объявления Гитлером войны России, он начал словами: «Отныне и впредь я могу говорить с вами только о том, что не касается ни войны, ни политики, ни вообще современности». На самом деле продолжал говорить и о войне, и о политике, и о современности; говорил часто превосходно, с настоящим красноречием, с большой логической силой, с редким именно «моральным» подъемом. Свою книгу он назвал «Письма о незначительном». Читатель увидит, как неверно это заглавие. Скажу еще раз: многие его статьи были подвигом. Друзья Михаила Андреевича знали, что ничего недостойного этот совершенный джентльмен сделать просто не мог бы. Но в ту пору он вел себя героем.

М. А. Осоргин где-то шутливо говорит, что на оптимизм надо бы ввести продовольственные карточки: «На каждого придется мало, но зато придется на каждого». Сам он в такой карточке нуждался меньше, чем очень многие из нас: М. А. прожил сравнительным оптимистом почти всю жизнь: верил, если не в светлое, то в не очень мрачное будущее и мира, и России. В о б щ е м , и жизнь его была относительно счастливой, хоть он прожил в изгнании половину отпущенных ему лет. Но в последние месяцы перед кончиной его «продовольственная карточка» стала истощаться. В том волнующем прощальном письме к друзьям, которое я уже цитировал, он говорит слова совершенно безотрадные, даже полные отчаянья. Многое я выпускаю, приведу только несколько строк: «Двуногое в массе, так заполонившее и загрязнившее землю, мне противно, не стоило строить свою жизнь на идеях счастья человечества, но отдельных людей нельзя не любить и не це-

нить, — люблю и ценю их, и впереди всех вас, мои милые друзья. В вашей среде пережито лучшее, если даже в форме прекрасных самообманов. Весь смысл жизни — общение с хорошими людьми, союз душ, легкий и свободный. Остальное — народ, страны, формы социальной жизни, — всё это выдумки... Успел в последние дни, читая между припадками, постигнуть не только нищету философии, но и позор ее нищеты: блестящие порывы и взлеты умов, прицепленных за ниточку у самой поверхности земли... На случай — прощайте, любите меня ушедшим, как любили живым (с критикой, но всегда доброжелательной). Этой записочки не стыжусь: если даже и преждевременна, всё же не напрасна, пригодится. Я же настолько ясно предстою смерти все эти ночи, что хотелось с вами поговорить и проститься».

**М. Алданов**

**“Qui ne gueule pas la vérité, quand il sait la vérité, se fait le complice des menteurs et des faussaires”.**

*Ch. Péguy.*

(27. 12. 40)

Я обещал вам писать о незначительном, — о важном, сенсационном, пусть говорят другие, владеющие кабелем и волнами радио, или, на крайний случай, обладающие фантазией и даром пророчества. Условия жизни в свободной Франции не таковы, чтобы важно развалившись в кресле, и пуская кольцами дым, высказывать веские суждения о важных предметах. Здесь холодно, далеко не сытно, жить приходится в тесноте, а за стеной нашей свободы недоверчивый гость, расположившийся хозяином. Это сужает круг житейских тем, во всяком случае вводит в рамки дозволенного их обсуждение.

Есть два выхода: говорить о важном, но лишь то, что можешь, или говорить, что хочешь, но лишь о невинном и незначительном. Вместо оперы с купюрами — не лучше ли исполнить целиком пустяковые романсы; по крайней мере — полным голосом, скромным ненавязчивым тенорком, рассчитанным на малую залу.

Мне всегда казалось, что судьбы мира решаются не спорами гигантов мысли и действия, а трудовыми усилиями средних и малых единиц. Исторические моменты эффектны, слова нет; ими отмечают этапы в учебниках, им приписываются отличия столетий и эпох. Но жизнь строится из повседневных кусочков, которые

лепятся друг к другу и один на другой, без лишнего шума и ненужной суеты. Без малого не на чем вырасти великому, без манной крупы, всыпанной в кипящее молоко, не на чем вскочить и лопнуть воздушным пузырям.

Можно привести в доказательство много образов и сравнений. От копеечной свечки сгорела Москва. Рим спасли бестолковые гуси. В басне малый комарик победил царственного льва. Если в вашу постель попадет сухая хлебная крошка, — сколько мук она причинит, — не меньше доброй занозы. В наших сказках Иванушка Дурачок всегда водит за нос великих мудрецов и решает любые загадки. И от малого до великого всегда — рукой подать.

Это значит — не нужно чураться пустяков. В капле воды — целый мир. В бабьих очередях у дверей магазинов рождаются великие революции. И откуда нам знать, где в толстом канате порвется последняя, решающая дело ворсинка?

В мелочах жизни кроются тайны народных судеб, — невидные глазу полипы строят коралловый остров. Что такое морской прибой? Натиск ничтожных водяных частичек! И я говорю: не будем презирать малых слов о малых делах. Их защита — в их скромности, польза — в безвредности, сила — в шопоте.

Потому-то, оставив на долю парадных бойцов описание великих битв и славных подвигов, — с подобающей скромностью будем говорить лишь о незначительном, а читающий да разумеет.

И да будет это — предисловием.

Chabris.

**С Н О В Ы М Г О Д О М !**



(31. 12. 40)

Это — одно из самых запоздалых писем; оно пишется в канун Нового Года, но прочтется, когда новый год уже разовьет пары и помчится вперед, раскидывая карточные домики частных, общественных и народных благополучий.

Я не мог поступить иначе, хотя знаю, что наши настроения не совпадут; написать и послать письмо загодя — значило бы его подделать, писать сегодня — не застать даже объедков вашего новогоднего стола. Шампанское выпито, бокалы разбиты! Я живу в стране винограда, и сегодня, в полночь, приветствую вас, заокеанские друзья, толстенным крестьянским стаканом холодной воды; шампанское еще летом все выпито здесь чужим народом, простое вино не пенится и не играет, — не стоит до него унижаться.

Мы знали лучшие дни — и не были горды; сейчас мы дорожим своей гордостью европейских нищих, на которых косо смотрит американский барин: уйти? помочь? подать? — но как бы самому не втянуться в эту грязную историю!

Бедны, очень бедны европейские народы; бессильны, голодны, не видят конца мучительным опытам пересоздания старой, в тупик зашедшей жизни, ценою крови и взаимного истребления. Но одним мы богаты — возможностью отправить вам по воздуху избыльный рог душевных пожеланий.

И мы желаем вам от души самых серых суток, самой будничной, ничем не замечательной жизни. Чтобы на вашу долю не выпадало ни исторических моментов, ни исторических фраз. Чтобы утром, пробудившись, вы точно знали предстоящий вам день, и ночь ваша была бы нетревожна. Чтобы не было среди вас ни героев, ни предателей, ни поводырей, ни бессловесной скотины. И там, где человек рождается, там бы он и

помирал, прожив положенный ему умеренный срок, носа не задирая, ни к чему не стремясь, ни во что не веря, ничему не завидуя.

Да хранит вас судьба от малейших перемен в вашей жизни, разве что кому уж совсем не вмоготу; пусть тогда он подтянется до положения терпимого и выносимого и на нем замрет, не шевелясь, чтобы не вышло хуже. Да хранит она, судьба, и грядущие поколения от ваших опытов создания для них земного рая. И да втемяшится в ваши головы и сердца благодетельный кол сознания, что неспособные создать для самих себя хотя бы десятилетие покоя и безмятежного процветания, мы тем менее способны подготовить золотое тысячелетие для потомков, не виноватых в том, что мы их народили.

Не удивляйтесь этим новогодним пожеланиям; они продиктованы опытом нашей европейской жизни, доказавшей, что лучшее есть величайший враг хорошего, как всякое движение есть враг покоя, мудрость же заключается в том, чтобы нацепить на собственный пуп блестящую безделушку и сосредоточить на ней всё свое внимание. Кто этого не понял, тот обрек себя на страдания и верный проигрыш, даже если он играет мечеными картами против самого доверчивого и наивного противника.

В так называемых исторических событиях не рождается ничего значительного, никакая сталь не закаляется, не очищается никакое золото, а что было, то обращается в бросовый шлак. И столь яркие на вид переживания, принимающие порой вид героических подвигов и патриотических жертв, оказываются на проверку ощущениями низшего порядка, унижающими душу и испепеляющими остаток человеческих чувств. Ложью пропитывается бытие, ложью слизкой и вонючей, которая своим смрадом душит всякое подобие огня, отравляет всякое дыхание. Бойтесь и бегите «роковых минут», дорожите патиной времени и легкой плесенью чувств. Лучшее из растений — плющ забве-



ния, лучший из цветов — гриб на старых древесных корнях.

Хотелось бы и нам тоже воспевать новую весну народов и слагать героические былины. Но история этих дней схватила нас за ворот, потрясла и неопровержимо доказала, что «тот в сей жизни лишь блажен, кто малым доволен, в тишине знает прожить, от суетных волен мыслей, и топчет надежну стезю добродетели к концу неизбежну», — о чем догадывался еще напрасно забытый русский поэт Кантемир, земля ему да будет пухом!

---

Теперь, уже без восклицаний и парадоксов (если это парадоксы — так ли?), мне хочется послать американским друзьям простой сердечный привет, — и тем русским беглецам из Европы, с которыми было съедено не мало соли за общим столом и изломано не мало копий в мышье́й суете жизни, — и тем незнакомым читателям, вниманием которых так часто злоупотребляю.

На войне неприятель старательно разрушает мосты через реки и каналы, топит пароходы и транспорты, помогающие сношениям между странами и людьми. Мы страшно разъединены, мы безжалостно разбросаны по свету. Порвались и повисли концами в пространстве родственные и дружеские связи, подкошено в корне культурное общение. Уже не осталось в Европе ни наших русских зарубежных журналов, ни газет, ни способных работать издательских предприятий. Мосты, нас соединявшие, взорваны и обрушены, духовному общению положен конец.

Вот я говорю с вами — но вашего голоса не слышу, не вижу напечатанным даже того, что пишу. Это очень трудно и тяжело — говорить с немым собеседником, с воображаемым лицом, которое никогда не ответит. Такова наша здешняя судьба. Но хотелось бы, по крайней мере, думать, хочется пожелать, чтобы то,

чего мы здесь лишились, возродилось за океаном, куда отплыло от наших берегов не мало литературных и общественных сил. Может быть, в иных формах — формами дорожить не стоит, — в содружествах обновленных, освеженных новым живым участием, более приспособленных к новой стране и новым читателям. Чтобы только не потухли... не факелы, уж какие там факелы!.. а плашки подлинной русской, хоть и не российской мысли. Чтобы можно было покрасоваться и побахвалиться своим плетеньем и вязаньем, своей резьбой по дереву и меди. Каким ни на есть, а всё же своим; оно не всегда было хуже чужого: не будем гордецами, но гордыми будем и останемся.

# **ЗАКАТ КУЛЬТУРЫ**



Мыслью и вниманием попробуйте перенестись сюда, в воюющую или отвоевавшую Европу, — и вы увидите, до какой низкой степени упали культурные ценности, все без исключения.

Крест на науке. Еще выходят (не во Франции, конечно,) запоздавшие номера научных журналов, где напечатаны статьи прекрасных чудаков, от жизни отсталых, — и этим ограничивается всё. Мобилизованы ученые, знания которых могут быть полезны для войны, для защиты и нападения, для создания синтетических эрзацев, для службы прикладной, резко полярной чистому знанию. Совершенно перестали существовать и быть кому-нибудь нужными все науки гуманитарного порядка. Полупусты университеты, за отсутствием ушедшей на войну молодежи. Международная научная связь надолго нарушена и прервана. Да и сама мысль человеческая отвлечена от задач познания мира треском внешних событий и мелочами необычайно усложнившегося быта. Существует целый ряд научных опытов и наблюдений, в которых один день перерыва может погубить всё, сделанное за многие годы, — сколько должно было произойти таких непоправимых несчастий! Какое огромное значение имеет преемственная передача знаний и практических приемов опыта, от сил слабеющих к силам молодым, — и сколько разрушено и еще будет разрушено таких связей!

Урон, наносимый культуре войнами, всего очевиднее сказывается на художественной литературе. Можно почти безо всяких оговорок сказать, что она в Европе прекратилась. Ее убили не только внешние причины — остановка издательского и типографского дела, невозможность значительного тиража книг, закрытие границ, прекращение переводов. Если бы только это! Если бы писатели, которым негде печатать и издавать,

тем временем накапливали сокровища своих «портфелей» на будущее время! Но это не так. Писатель прочно связан с жизнью, из которой черпает свои образы и весь материал своих работ. Но всё заслонено образами кровавого спора, принижен быт, искалечена психология человека, затруднена созерцательная работа.

Никогда послевоенная литература не давала ничего исключительного и всегда убивала сама себя однообразием сто раз перепетых мотивов. И это понятно: переживания военного времени, при всей их бурности, ничтожны содержанием и душевно-низки качеством. Для настоящего творчества необходим покой созерцания, углубленность мысли, смена свободно рождающихся образов, естественный рост быта; нужна возможность для писателя не слишком дорожить временем для поиска и подбора лучших слов для его лучших мыслей, и эти его мысли и его творческие образы должны выстояться, вылежаться, стать неизбежными для него самого и убедительными для его читателя. Это невозможно в дни постоянных тревог и особенно — в дни повержения и гибели идей, замены которым не найдено.

Всякая творческая работа требует свободного отклика, поощрения, соперничества, известной степени соборности, — без этого творчество вянет или вырождается в отшельнические, самовлюбленные формы, по существу своему убогие. Этих условий больше нет в Европе; писатели с готовым именем разбрелись по газетам, их труд измельчал, работа стала срочной, поспешной, подчиненной случайной злобе дня. Силам новым и молодым вообще нет применения. Нужен труд фабричный, земледельческий, нужны летчики, солдаты, дипломаты, сиделки, — но писатели и художники никому больше не нужны; это — самый несчастный класс безработных.

Но если бы даже они были нужны, — их голос не мог бы звучать попрежнему в странах, где стеснено

свободное слово, где отданы под подозрение и под надзор и художественный вымысел и даже простая фотография (в самом прямом смысле слова). На наших глазах задохлось и увяло свободное искусство в России; теперь пришла очередь западной Европы. И не следует утешаться мыслью, что это лишь временно. Да, временно, но надолго! Искусство, как гриб, требует развитой и спелой грибницы, почвенных основ, высокого общего уровня; этот общий культурный уровень настолько понизился и так катастрофически падает дальше, что напрасно ждать чудесных цветов на истощенных и поврежденных морозом ветках, какая бы прекрасная весна ни сменила жестокую зиму.

Всякое творчество, всякая система познания мира в своей основе религиозны. И вот, наши дни резко отмечены крахом религиозных устремлений, подменой их суеверием и церковностью. Не искание источников и причин бытия, не открытие нравственных путей, а боязливая молитва готовому и обязательному богу о своих маленьких нуждах, упование на рыночную или бесплатную благодать, опошление высоких символов веры, ползание на брюхе перед утвержденными безошибочными истинами.

В таком состоянии умов — источник гниения и смерти искусства.

После «великой» войны 1914-18 гг. (не пора ли, чорт возьми, лишить ее величавого титула и вообще сдать его в архив!) вся европейская литература пришла в упадок. Только скандинавские страны, от войны не пострадавшие, сохранили прежний высокий уровень, да не вполне сдалась Англия, менее других стран испытывавшая бедствие. Можно смело и откровенно признать, что послевоенная литература не выдвинула в Европе ни одного бесспорного имени, которое можно бы поставить в ряд, если не с Толстым, то хотя бы с Анатолем Франсом. Что же будет теперь? До каких низин мы спустимся?

И сколько десятилетий потребуется, чтобы вер-

нуться хотя бы к прежнему уровню, и начать новый подъем? И кто поручится, что к тому времени не подоспеет еще новая серия «великих событий»?

---

Я обещал писать о «незначительном» и пишу о гибели культуры. Кажущееся противоречие — только кажущееся! В учете военных побед и поражений, в предвидениях и пророчествах, в спорах о переустройстве Европы, — многие ли помнят о неизбежности всеобщего проигрыша, многим ли кажется важной и своевременной и значительной такая тема?



**П А Р А Л Л Е Л И**



(7. 1. 41)

Исторические параллели соблазнительны. Возможно даже, что увлечение ими порождало не мало тактических ошибок. Все наши знания строятся на опыте прошлого, а служить должны для будущего, обстановка которого будет совершенно иной. Открываемые нами «законы природы», как и издаваемые законы общественного поведения, стареют и делаются неверными и неприменимыми в следующую же минуту; они уже — архив, история. Книга, мною написанная, уже не будет завтра моей книгой: я перерос ее и мыслью и искусством, я написал бы ее сейчас лучше, или, во всяком случае, иначе.

Стратегия — не наука, а сумма утративших смысл выводов из случайных военных событий; это не мешает штабному генералу соображать, как в подобном случае поступил бы Александр Македонский, хотя ясно, что этот великий полководец не только от бомбы, а и от револьверного выстрела убежал бы во все лопатки. И все-таки газетные стратеги, через три строки в четвертую, ссылаются на исторические прецеденты.

С того момента, как немцы вторглись в Бельгию, вплоть до занятия Парижа, эти стратеги сравнивали несравнимое: войну 1914-18 гг. с нынешней; и это давало им возможность успокоительных выводов, по крайней мере надежд. И даже упускалось из виду участие в той войне России, без которого с Францией

произошло бы приблизительно то же, что случилось оправдалась, — начали вспоминать о франко-прусской войне 1870 года.

сейчас. Когда же эта историческая параллель не

Сходства, пожалуй, еще меньше, но сами по себе сопоставления настолько занимательны, что кое о чем вспомнить стоит.

В 1870 году сочувствие Европы было не на стороне Франции, объявившей войну Пруссии без серьезных оснований, по мотиву оскорбленного самолюбия. Считалось, что к войне Франция вполне подготовлена, что поход на Берлин будет простой военной прогулкой. Маршал Лебеф уверял, что «хотя бы война продлилась год, не будет недостатка ни в одной пуговице для солдатских гетр». Маршал Нэль утверждал, что взять Париж невозможно. Осведомленные лица признавали, что «французская армия доведена до крайней степени силы». Только Тьер в этом сомневался, за что его обвиняли чуть ли не в предательстве. Даже оппозиция боялась не столько поражения, сколько победы, которая упрочила бы положение Наполеона III.

В первые же дни войны выяснилось, что далеко не всё благополучно. Война была объявлена 19 июля. 20 июля интендантский генерал Блондо телеграфировал в Париж, что в Метце нет ни сахара, ни кофею, ни рису, ни водки, ни соли, ни сала, ни сухарей. 21-го июля генерал-комендант 2-го корпуса телеграфировал из Сэнт-Авольда, что ему посланы огромные тюки ненужных в данный момент стратегических карт, но нет ни одной карты границ Франции. Генерал Мишель в тот же день сообщил: «Я прибыл в Бельфор; я не нашел моей бригады; не нашел дивизионного генерала. Что мне делать? Я не знаю, где мои полки». Несколько генералов заявили, что они вынуждены избегать всяких

столкновений с неприятелем, так как у солдат нет патронов. О том же сообщил генерал Дюкро, не нашедший в Седане ни амуниции, ни продовольствия для войск. Сверх того оказалось, что мобилизованные солдаты бродят без толку по стране, не находя своих частей и не зная, куда им направиться. Тот же генерал Блондо сообщил любопытную вещь: он назначил военным интендантом одного из корпусов кавалерии генерала Шмитца, который не явился, «так как никогда не существовал».

Воздержимся от параллелей, лишь упомянув для примера, что в нынешнюю войну офицеры отступавших отрядов радовались, найдя туристическую карту Франции, тогда как у каждого германского солдата есть штабная карта, а иногда и цейсовский бинокль.

Говорят, что нынешнее поражение Франции беспримерно по быстроте. Но в 1870 году война началась 19 июля, а 2 сентября, т. е. через полтора месяца, она фактически закончилась поражением при Седане, о котором так кратко, но мило телеграфировал жене бежавший император: «Армия разбита и взята; я сам в плену. Наполеон». Дальше идет история не войны, а военной агонии и революции. Безнадежно до конца октября держался осажденный Metz. Держался окруженный Париж, который пруссаки и не пытались брать. Как и в эту войну, последние надежды возлагались на линию Луары, где никакого войска не было и куда полетел на воздушном шаре Гамбетта в наивной надежде ее организовать.

Париж держался 123 дня; он был взят не оружием, а измором, и убито при осаде было меньше 200 человек на два миллиона жителей. Перемирие было подписано 27 января, но немцы вошли в Париж только 3 марта и пробыли в нем только три дня. И какой смысл был им

оставаться в революционном городе, где были съедены сначала лошади, затем собаки и кошки, затем мыши и крысы и, наконец, слон зоологического сада? Их роль военная была завершена седанской победой; их новой ролью была помощь версальскому правительству в удушении парижской коммуны.

В деталях французского поражения мало исторических параллелей. Но при желании, их не трудно усмотреть в других любопытных мелочах. Февральское бегство правительства в Бордо, «национальное собрание», «историческая встреча» Жюля Фавра с Бисмарком в имении Ротшильда, решение правительства переехать в Версаль. Сейчас еще рано говорить о том, какие параллели внутренних событий сулит будущее, ход которого замедлен тем, что война, законченная Францией, продолжается ее бывшей союзницей Англией, и исход борьбы никому не известен. Пока вне всяких параллелей Париж. Но еще при вступлении в него немцы говорили: пока мы здесь — ничего особенного не может случиться; но когда мы уйдем — управляйтесь сами! Очевидно и они не забыли о Париже 1870-71 года.

Людовик Галеви писал в своих «Заметках и воспоминаниях»: «Многие французы находят удовлетворение в мысли о том, что Франция перенесла поражение необычайное, и что ни одна нация, столь возвышенная в славе, не падала так низко в несчастии». Любопытное психологическое наблюдение, но так смело может сказать человек только о своей стране и своей нации, в устах чужака это прозвучало бы непозволительной дерзостью. Вообще же размер горя нередко служит мотивом утешения, — его необычайность, его поразительность. Особенное удовлетворение оно может вызвать у тех, кто его предсказывал или хотя бы предвидел. Оно может доходить до ликования в политических кругах,

протестовавших против действий, приведших к несчастью. Вспомните нашу войну с Японией; может быть, некоторые параллели возможно найти во Франции и сейчас. И уж если не удовлетворение случившимся, то быстрое и жадное его использование.

Возвращаясь к 1870-71 годам, было бы любопытно поискать параллелей в быте Парижа тогдашнего, осажденного, и нынешнего, занятого неприятелем. К счастью, они невозможны (или пока невозможны) в отношении продовольствия несчастной столицы. Голода в Париже нет, хотя есть, как и во всей стране, значительное недоедание. Тогда голод был вызван осадой и полным прекращением подвоза продуктов питания, теперь тем, что Франции не только приходится, по условиям перемирия, питать огромную армию завоевателя, но и смотреть, как увозится в Германию всё, что было запасено и что производится населением Франции. Если так будет продолжаться, то вопрос о собаках, кошках и крысах (лошадей почти нет, а слоны не в счет) может стать из исторического злободневным.

Во внешнем виде Парижа есть одна очевидная параллель. В 1871 году писали про город: «Никаких экипажей. Париж принадлежит пешеходам». Развитие цивилизации внесло одну поправку: «и велосипедистам». Но Париж тогдашних пешеходов был бурным: его улицы не переставали волноваться за всё время двух последовательных осад: прусской и версальской; сейчас они пусты и мертвы.

«Во время осады, — писали тогда же, — обычная жизнь, с ее прогулками и развлечениями, ни на один день не прекращалась. Она продолжалась и в дни Коммуны». Она продолжается, в известных границах и сейчас; в Париже открыты театры, процветают кинематографы, ослабела лишь жизнь ресторанов и кафе.

Из всех человеческих привычек устойчивее всего вызываемые жаждой развлечений. Лондон, ежедневно и еженощно засыпаемый бомбами, ухитряется отдыхать на зрелищах, танцах и пении; во время воздушных тревог его нервное веселье переносится в подземные убежища. Если бы не было у людей этой счастливой способности временно забываться, — снаряды разрушали бы исключительно дома умалишенных.

Занятая зона Франции отрезана от нормального общения с зоной свободной: ни телеграфа, ни почты, ни посылок, ни проезда. Но общение, конечно, происходит — всякими тайными путями, изобретаемыми человеческой изворотливостью. Как общался с внешним миром осажденный Париж? Способов было, конечно, и тогда не мало. В их числе был один, сейчас неприменимый. В одной книге воспоминаний, составившейся из переписки этого периода, о нем упоминается: почти все опубликованные после письма пересылались при помощи воздушных шаров, повидимому, с достаточной регулярностью.

Историки войны и революции 1870-71 гг. отмечают отсутствие во Франции того времени исключительно крупных политических фигур, сколько-нибудь равных деятелям эпохи великой революции. Историкам наших дней придется высказаться о людях переживаемой нами эпохи, — чьи имена они выделят и возведут на исторический пьедестал, каких трудов это будет им стоить? Впрочем, мы всегда несправедливы к своим современникам. У тогдашней Германии был Бисмарк, которого изображали лысым с тремя волосками; герой современной Германии изображается с наполеоновским коком и усиками Чаплина.

На поражение Франции монархической через полвека ответила победой Франция республиканская. В



1870 году бежал император Наполеон; за ним, с помощью американского дантиста Эванса, бежала из Франции императрица Евгения. В 1918 году пришлось бежать императору Вильгельму. Бегство царственных особ продолжилось и в войне нынешней. Это, если хотите, тоже исторические параллели.

Бисмарк хотел, ради безопасности Германии, превратить Францию во второстепенную державу. Этого не случилось, и союзники войны прошлой могли бы сделать то же с побежденной Германией; этого тоже не произошло. Чего достигнет новый реванш, задача которого еще обширнее: теперь под угрозой не одна Франция. Дьявол качает исторические качели: вверх-вниз. Итальянский король стал императором; предсказывать рано, но напрасная спешка «реальной политики Италии» может нечаянно превратить императора снова только в короля. Все это не очень важно, но все же занимательно.

Искать параллели — не значит ли это отрицать прогресс? Прошлой войной предполагалось закончить эпоху человеческой дикости и начать золотой век мира. Нынешняя война, по мысли главного ее героя, должна окончиться не веком, а целым тысячелетием европейского и мирового блаженства. Будут пушки перелиты на кухонную посуду, взрывчатые вещества пойдут на удобрение полей, самолеты будут развозить любовные письма. Но не надоест ли такая мирная жизнь? Не скажут ли потомки: «фу, как скучно!» и не попробуют ли снова стрелять друг в друга? Одним словом — ждате ли нам исторических параллелей и в близком и в далеком будущем?

Когда Коммуна 1871 года была разбита и уничтожена, а Париж завален трупами, газета «Debats» решилась восторженным словом:

«Какая честь! Наша армия отомстила за свое поражение бесценной победой!»

Вот — параллель, которой да не будет в нашей тяжелой и смутной современности!

**О Б Ю Л Л Е Т Е Н Я Х**



Если попробовать отрешиться от всякой чувствительности и впечатлений и читать военные бюллетени со спокойствием языковеда, — придется представить себе большую холодноватую комнату, в которой у стола, заваленного депешами, сидит человек в военной форме и составляет тексты для опубликования. Это его обязанность и его специальность. Он знает, что должно быть сказано, что умолчано, что подчеркнуто, что выражено небрежно, иногда с оттенком иронии.

Бюллетень не должен быть ни правдой, ни ложью; и то и другое — дурной тон. Он должен содержать веские доводы в пользу нашей стороны, но не допускать возможности веских опровержений. Главным образом он должен предугадывать все возможные сообщения и толкования противника и заранее подвергать их сомнению. Если, например, предвидится, что противник сообщит об исключительно удачном воздушном налете, то, не отрицая факта налета, необходимо указать точно, почему этот налет не удался и почему усилия, на него затраченные, оказались напрасными. Если занят противником важный военный пункт, то, признав факт, своевременно с небрежностью указать, насколько этот пункт незначителен и с каким тонким расчетом он уступлен в общих стратегических соображениях. При этом в бюллетене того же дня полезно перенести внимание на другой фронт или другой пункт военных операций, где допустимо на этот раз серьезное преувеличение собственных успехов. В случае весьма крупных поражений, о них в ближайшие дни не сообщается, а предоставляется печати подготовить общественное мнение общими рассуждениями о предстоящих трудностях и возможных испытаниях, в конечном счете обеспечивающих победу. Что касается до действительных собственных успехов, то о них следует

говорить сдержанно, в тоне обычной уверенности, центр внимания перенося на цифры и точные географические названия. Цифры успеха сообщаются не сразу, а в порядке нарастания числа взятых пленных, орудий, амуниции и так далее.

При военных операциях характера затяжного бюллетени невольно делаются однообразными и, так сказать, скучными. Их стараются несколько оживить сводкой недельных, месячных или сезонных успехов, высмеиваньем таких же сводок противника, опубликованием имен особенно отличившихся летчиков или командиров подводных лодок. Информация делается до известной степени литературой, с допущением полемики.

Мы так привыкли к военным бюллетеням, что давно утратили чувство здорового их восприятия. В сущности говоря, каждое военное сообщение есть рассказ об организованных массовых преступлениях — убийствах, нанесении увечий, покушениях на жизнь, на собственность, на свободу личности и неприкосновенность жилища. За исключением немногих преступлений (сексуальных, против религии, некоторых форм домашней кражи, шантажа, подделки торговых документов и проч.) все остальные, содержащиеся в уголовных кодексах, узаконяются войной, которая, сама по себе, есть высшая форма преступления (соединение убийства, насилия и вооруженного грабежа). Против такого узаконения, т. е. признания этих преступлений ненаказуемыми, возразить нечего, так как законы устанавливаются и отменяются государством. Но возведение преступлений в подвиг и, как бы гражданский долг относится к области нравственной, не подвластной государственной регламентации. Таким образом, восхищаясь военными победами, мы отвечаем за это сами и никого не в праве упрекать и осуждать.

---

Теперь всмотритесь и вслушайтесь во внутренний смысл хроники разрешаемых и восхваляемых преступлений, именуемой военными бюллетенями.

Для опорочения «успехов» противника говорится:

«Сброшенными бомбами повреждены частные дома и убито несколько лиц гражданского населения».

Частный дом — пустяк, не заслуживающий особого внимания. Лицо, гражданского состояния, также убиток незначительный. Какое лицо — значения не имеет: безымянная единица, ряд единиц обоего пола.

«Снарядами убиты девять человек; все — мусульмане».

Точная выписка из бюллетеня. Не только лица гражданского населения, но еще и туземного, а не европейцы. Убиток еще более ничтожен, успех еще более опорочен. Думая украсть туго набитый бумажник, вор вытащил кошелек с разменной монетой.

«Следует отметить новый рекорд летчика (такого-то), сбившего свой двадцать второй аэроплан».

Примечательно местоимение притяжательное «свой». Это — его самолеты, это им убитые минимум шестьдесят человек приблизительно одного с ним возраста и одной профессии. В свою записную книжечку он внесет на приход их число, так как имен их он не знает. Это его личная гордость и его заслуга.

Когда-то индейцы скальпировали убитых ими и скальпы, подсушив, носили на поясе. За это их называли дикарями и считали полулюдьми. Может быть, тут есть какое-нибудь, от нас ускользающее различие, как есть оно в примере убийства 9 мусульман, людей не полноценных, второго и третьего сорта.

Рядом с бюллетенем — заметка о местном происшествии «Раскрытие зверского преступления», — арестован, наконец, субъект, зарезавший жену и двоих

детей. На допросе злодей сознался, что убил их, так как был без работы и нечем было их кормить. Хотя косвенно эта причина — военная, но частных преступлений война не узаконяет.

---

Да, все это — старые слова, и примеры старые, много раз пережеванные. Их может писать гражданин страны нейтральной, сидя в стране отвоевавшей и печатая в стране еще не вступившей в войну. Но все подобные речи уничтожаются единым возражением:

«Там, где идет дело об интересах общего порядка, — страны, государства, народа, — интересы частные отходят на задний план».

Есть истины, ставшие таковыми не потому, что их истинность доказана, а лишь от постоянного их употребления. Чтобы дерево давало плоды, нужно стричь его приемами опытных садоводов. Это совершенно несомненно и доказано тысячи раз. Доказано, что это выгодно садоводу, — но никто не интересуется, выгодно ли это дереву и его веткам, согласны ли они на операции и на усиленное плодоношение. Правда садовода резко расходится в данном случае с правдой ботаника: обрезка дереву крайне вредна и уменьшает срок его жизни, калеча его правильное развитие. Басня о расхождении интересов общих с частными и об обязанности уступок рассказывается детям, которые, в свою очередь, расскажут ее своим детям, и величайшая неправда становится истиной.



# **РУССКАЯ ЗАГАДКА**



Русские загадки трудны даже и для русских. Что, например, такое: «Берег звякнет, утка крякнет, соберайтесь детушки ко родимой матушке?» Предупреждаю заранее: ничего общего с будущим эмиграции. Или: «Разваливающие мои косточки, никто вас не купит, не возьмет, отнесу я вас за тын-городок»? Несколько ближе к положению эмиграции, но тоже не о ней сказано. Или еще: «Шитовило-мотовило, по-французски говорило, спереди шильце, сзади вильце, сверху бело полотенце»? Разгадок не привожу, чтобы дать больше работы забывающим русский язык.

Каково же иностранцам разбираться в «русских загадках». На чьей стороне Россия? И хотя не подлежит сомнению, что она на своей собственной стороне, все-таки вопрос считается открытым. Предполагается, что в какой-то момент «берег звякнет, утка крякнет» — и всё полетит вверх тормашками (вот тоже загадочное слово, над которым бьются лингвисты).

Лично меня такое предположение переполняет гордостью: трепещи, Европа! И когда туземец, забыв на время, что мы — вредные элементы, закидывает удочку в мутную воду нашей национальности и заискивающе спрашивает: «Ну, а как вы всё-таки думаете?» — я делаю лицо не менее загадочное, чем сама «русская загадка», и медлительно отвечаю: «как вам сказать, будущее выяснит, пока же вряд ли что-нибудь имеется в виду». И хотя я знаю ровно столько же, сколько и этот туземец, но чувствую, что кажусь ему лицом значительным и осведомленным.

А ведь, пожалуй, загадки никакой и нет. Два соперника дерутся, третий стоит в стороне и наблюдает. И не только любит, а и подзуживает: «а ну, дай ему подмикитки! в зубы, в зубы норови!» И нет ему никакого интереса в том, чтобы борьба кончилась, — всякий

лишний удар, всякое новое увечье, доставляет ему и прекрасное зрелище, и невинный доход. Когда обе стороны лягут костьми, — сторонний зритель погладит бороду и сядет за стол съесть и свою и их порции. Не вы ли говорили о реальной политике? Это и есть реальная политика, выражающаяся формулой *tertius gaudens*.

Но, может быть, этот третий проиграет, если один из дерущихся окажется победителем? Может быть; но невероятно! Во-первых, он уже выиграл и продолжает выигрывать за счет борющихся; во-вторых, в такой борьбе не бывает победителей — бывают только побежденные, и даже выжившему придется долго зализывать раны. В-третьих — реальные политики думают о настоящем и ближайшем будущем, которое история запишет на их счет; отдаленное сокрыто от нас туманом, о нем будут думать наши дети и внуки. Наконец, на крайний случай, можно добить лежачего и выиграть на этом, разом разрешив «русскую загадку».

Только не ждите от реального политика никаких моральных жестов! Политика разума исключает мораль. Как быть с провозглашенной высокой идеологией? Во-первых, идеология — надстройка, во-вторых, не эта ли идеология отвергалась «моралью» Европы? Не она ли осуждена? Не с нею ли боролись? Кто же может теперь настаивать на ее последовательности?

Много на свете загадочного. Мы живем под новым созвездием — Вопросительного Знака. И в этом хаосе, в этой путанице и неразберихе, единственно-просто решается только пресловутая «русская загадка».

Это, конечно, не должно нам препятствовать важничать, рисоваться и отвечать туземцам:

— Как вам сказать, всё зависит от того...

**« П Е Р С О Н А Л И З М »**



(17. 1. 41)

Кончится война — что будет дальше? Какое-то внешнее переустройство Европы неизбежно. Возможно ли, нужно ли и внутреннее переустройство общественной жизни? Дело не в государственных границах, не в национальных распределениях; дело в человеке, в его труде и его легком дыхании.

Война — плохое время для социальных опытов. Но когда она кончается, эти опыты рождаются сами собой, не справляясь о том, подготовлены ли к ним умы и общественная обстановка. Что-то, следовательно, должно быть обдуманно и взвешено заранее.

Прошлая война имела своим последствием опыт коммунистический, не оправдавший ни своей идеологической сущности, ни своего названия. Подавив частный капитализм, заменив его государственным, коммунизм одновременно уничтожил и свободу личности, даже в той мере, в какой она была в строе прежнем.

Из этого печального опыта параллельные ему течения, фашизм и нацизм, взяли целиком его отрицательное и, в некоторой части, его положительное: была подавлена свобода личности, но и свободе экономической, источнику социального неравенства, был положен некоторый предел. Эти три новые идеологии, образовав дружественную «ось», столкнулись со старым, демократическим строем и вызвали его крушение в Европе.

Сейчас наметилась новая общественная идеология, уже получившая кличку «персонализма». Ее основные положения таковы. Свободы общества индустриального, капиталистического, основанного на противоречии интересов, приводят к войне, — внутренней или международной. Эти «свободы», экономическая и личная, между собой непримиримы. Свобода обогащения означает право немногих лишать миллионы людей воз-

возможности сносного существования; в плане международном это приводит к подавлению малых национальных группировок. Следовательно так называемая «экономическая свобода» должна быть обуздана. Одновременно с этим свобода личности, т. е. свобода быть личностью, иметь все права и возможности всестороннего личного развития, — эта свобода должна быть утверждена и обеспечена. В масштабе международном это означает право народностей на самоопределение и самостоятельное существование.

Теоретически это просто, практически потому сложно, что эти «свободы» не только противоположны, но и взаимно переплетены; не два противника, стоящие друг против друга, а сцепившиеся в борьбе за жизненные интересы. Чтобы этот клубок распутать, нужно пересоздать общество, воспитав его в ином понимании принципа «свобод», в сотрудничестве, в дружбе, в любви.

Теория не новая, но она впервые поставлена в масштабе международном. В ней призыв не к бунту, а к сознанию, не к диктатуре, а к защите прав личности, отрицающих диктатуру вождей, как и диктатуру масс.

Она утопична, как все общественные идеологии. Вряд ли в этом можно видеть ее недостаток. Ее достоинство в том, что она ставит неколебимым принципом свободу человеческой личности — без всяких оговорок. До сих пор именно этот принцип прежде всего нарушался послевоенными новаторами, обесценивая и уничтожая все их возможные достижения.

Персонализм сейчас в особой «моде» в Англии, что и понятно: только там, в развитой общественности, возможен призыв к сознанию, а не только к страстям.



**НА ТУ ЖЕ ТЕМУ**



(17. 1. 41)

Если бы опросить всех людей, чем они готовы сегодня пожертвовать, чтобы через сто лет человечество сделалось счастливым, — я не думаю, чтобы сбор добровольных жертв оказался внушительным, даже если люди поверят, что их жертвы не будут напрасными. И, однако, почему-то предполагается, что благополучие будущих поколений важнее благополучия настоящих, и что можно разрушить мой маленький дом с дровяной печуркой и выгнать меня на мороз, утешив тем, что мои правнуки будут жить в гораздо большем доме с центральным отоплением. При этом меня не только не спрашивают о согласии, но даже не спрашивают, есть ли у меня дети и готов ли я признать грядущие поколения за своих потомков. Не спрашивают меня и о том, верю ли я в утешения и полагаюсь ли на обещания утешителей. Больше того: я отнюдь не думаю, чтобы центральное отопление давало больше счастья, чем согревающая меня примитивная печурка.

Таковы в сущности, все планы и проекты устройства человеческого счастья: выигрыш в будущем ценою несчастья в настоящем, вечное жертвование реальными благами ради призрачного благополучия предполагаемых единиц или масс, которые будут в свое время приглашены поступить так же. Теория искупительных жертв, которая, сама по себе, могла бы быть весьма высокой и достойной, если бы за нею не стояло принуждение.

Есть, вероятно, какой-то внутренний порок в построении подобных проектов. Предположим, что лично я ничего не имею против самопожертвования, тем более, что жертвовать мне, в сущности, нечего, кроме жизни, которая достаточно использована и никакой ценности больше не представляет; не «счастье будущего человечества», до которого мне нет никакого дела, а

простое любопытство может легко поощрить меня добровольно прыгнуть собственной персоной в кружку мирового сборщика. Но я буду отбиваться руками и ногами, если меня обяжут это сделать или предпишут мне верить в чужую выдумку и считать ее непогрешимой истиной. Никакая чужая истина, хотя бы на ней были вышиты голубым бисером ангелы, для меня не обязательна; при надобности, я найду свои истины уже тем самым лучшие, что я не назову их непогрешимыми и никому насильно не навяжу. Мало того, я буду защищать и всякого другого, над кем захотят учинить такое же насилие, — если он помощь мою примет или ее попросит. Впереди всех идеологий, религий, учений, политических и экономических теорий, всех обычаев и законов, впереди всего, о чем мы можем договориться или на чем разойтись, — примат свободы моей человеческой личности, которою я не поступлюсь ни ради чего и ни во имя чего.

Это не эгоизм; это — естественное человеческое право, попранное и попираемое одинаково диктаторами и проповедниками социальных теорий, ищущими компромисса прав личности и коллектива. Компромисса быть не может, — его последствием всегда будет насилие и война. И именно поиски компромисса довели Европу до настоящего заката, — не красочного и печального, а отвратительного и грозного, сулящего те же переживания и всему так называемому культурному миру, — миру людей, опутавших себе ноги обожествлением воли коллектива, глотающего личность, как лягушка комнатную муху.

**PEKA**



*(Между 4 и 12. 2. 41)*

Начало февраля, вторая волна холодов во Франции. Эта вторая волна мягче, снежнее, и не грозит затянуться. «Ужасная погода» — говорит укутанная в тряпки и шали соседка и подтверждает почтальон, едва справляющийся на снегу с велосипедом. Я их понимаю, но думаю про себя: «какая прекрасная погода, почти настоящая северная зима». Если, конечно, просто любоваться и дышать, без гражданских мыслей о топливе, расстройстве транспорта и поломанных ногах.

Сегодня, повидимому, начало оттепели. На обильно выпавшем за ночь снеге уже образовалась вкусная хрустящая корочка, шины проехавшего грузовика оттискивают на темной мокрой полосе бесконечный ряд белых крестиков. На двор прилетают птицы, ища чего-нибудь, ну хоть чего-нибудь поклевать, потому что в лесах и полях найти нечего.

Во всякое время года красива и разнообразна только река, и я осторожно, с остроконечной палкой, в резиновых сапогах, спускаюсь к ней по скату боковой улицы; сейчас огородами пройти к ней нельзя — всё затоплено водой, просочившейся сквозь почву, так как река отгорожена высокой дамбой. Дорожка ведет к мосту мельницы, стоящей на острове, и с дорожки можно свернуть на дамбу, чтобы прогуляться у самого берега реки.

Вода затопила и остров и «немецкий берег». Стволы деревьев стоят среди воды, украшенные снизу кружевом ледяной манжетки. На нижних ветках кустарников груды стеклянных подвесок. Вода идет и возвращается, в бурных местах образуя воронки. В снежных берегах она кажется почти черной. С деревьев падают хлопья и стекляшки. Ни одной минуты река не одинакова, и не узнать в ней ни летней, ни осенней, не найти знакомых насиженных рыбацких местечек. Не-

гатив природы летней: темное стало светлым и наоборот. Я помню снег в Риме — большое событие! Фонтаны казались черными, и в садах из снега торчали многоцветные левкои. И еще помню ледоход на реке Каме, — но об этом вспоминать не стоит. Французская река, на которой я живу, хоть и мала, но так хороша, что мне кажется, будто она говорит по-русски.

Вы не любите природы? Вам милее большой город? В городах тревожно, в городах слишком много знают и потому не могут жить спокойно. Лучше всего жить отрезанным от остального мира снежным заносом, когда даже почта спотыкается и теряет по пути газеты. И даже радио вчера извинялось, что из-за снежных бурь оно вынуждено не распространяться о том, что делается на севере и на экваторе. Собственно отсюда и мое лирическое настроение, вызвавшее прогулку на берег реки и подкрепленное этой прогулкой.

Старый человек, свидетель многих катастроф, говорю вам: цените часы и дни бесшумные и бесцветные, когда ничего не случилось и истории нечем похвастаться! Чем бледнее событиями жизнь — тем она внутренне светлее и ярче, тем она плодотворнее. Богатство переживаний рождается в духовных лабораториях, а не в уличных схватках, не в международных столкновениях. Бури ломают сознание, калечат любовь, губят человечность. Важно произрастать, а не кидаться из стороны в сторону, теряя в суматохе и суетне добытое в тиши. Скучно? Значит, вы еще не знаете величайшей скуки, к которой приводит бесконечная повторяемость истории, кажущейся новой в отрезках, а в длительности лишь повторяющей свои обезьяньи ужимки.

Только река во всякое время года прекрасна бесконечным разнообразием: в ней никогда не бывает двух одинаковых всплесков бегущей и невозвращающейся воды.



**СЧАСТЬЕ ИЛИ СВОБОДА?**



(Между 4 и 12. 2. 41)

Какова конечная цель человеческой жизни: счастье или свобода? Вопрос ставится и обсуждается в стране, лишившейся свободы. Вопрос, конечно, неправильный, уже одним тем, что одно понятие включает другое, что оба они неопределенны и слишком субъективны, что они не в одной плоскости. Но французское счастье (*bonheur* — добрый час) не имеет нашего всеохватывающего смысла; мы бы перевели это слово «благополучие», его содержание слишком матерьяльно. И всё-таки, раз вопрос ставится, нужно на него ответить.

Ставится он не без хитрости. В этой формуле подсказывается, что основной девиз поколебленной гражданственности не может быть самоцелью и не такая уж ценность. Цель жизни, конечно, достижение счастья, т. е. полного удовлетворения потребностей. Нужна ли для этого свобода, личная, политическая? Если несвободный человек может достигнуть полного матерьяльного благополучия, — зачем ему нужна свобода? Но этого мало: подлинно ли она нужна ему для полноты благополучия духовного, не в ней ли, напротив, лежит постоянный источник неудовлетворенности?

Свобода мысли и действий, предполагает ответственность за них; тем самым она связывает волю. Если вам предлагается общественный порядок, при котором вся ответственность перелagается на органы власти, за вас законодательствующие и управляющие, и если этот порядок действительно обеспечивает ваше благополучие, — разве это не прямая для вас выгода, не достижение жизненных целей? Вы можете сказать, что не верите в такой строй. Но это уж иной вопрос, практический; мы же рассуждаем чисто теоретически.

Впрочем — разве нет примера идеально развитой государственности, где все равны в бесправии, все

удовлетворены и никто не ропщет? Науке известны войны муравьев, но муравьиная революция ни разу не наблюдалась. Между тем в муравейнике нет, повидимому, ни свободы личности, ни свободы мысли, ни даже трудового самоопределения: всё намечено и установлено строжайшими и вечными законами, не допускающими никаких уклонов. Все поголовно рабы коллектива, в жертву которому принесены даже запросы пола. Счастливы ли муравьи? Во всяком случае они удовлетворены этой жизнью, так как за тысячелетия и даже за миллионы лет протеста не выражали. Пример полного отсутствия свободы, окончательной механичности движений, безропотной преданности государству. Не есть ли это — идеальный строй? В нем даже нет особой стоящей власти, есть только символ власти — коллектив.

Свобода личности может быть средством, но может ли она быть самоцелью? В этом центр вопроса.

Вопрос политический, мизерно поставленный, нашептанный в полицейских целях, внезапно вырастает в религиозный. Ответ на него может быть только один. Если без свободы не может быть счастья, то это значит, что свобода есть высшее человеческое устремление, отказаться от которого он не может никакой ценой, но в жертву которой может быть принесено всё, всякое материальное и духовное благополучие. Иными словами, она выше человеческого, она — элемент божественного в человеке. Возведенная на такую высоту, она не может быть сравниваема с таким земным понятием, как *bonheur*, как человеческое счастье, и самый вопрос отпадает.

Это не значит, конечно, что так именно и отвечают на него философствующие литераторы, обычно понимающие под «свободой» право голосования, а под «счастьем» — ренту или достаточный служебный оклад. Они не столько отвечают, сколько уклоняются от ответа: разве можно угадать заранее, какой ответ наиболее обеспечит *bonheur* завтрашнего дня?

**ПАРАДОКСЫ**



То, что мне хочется сегодня сказать, настолько просто, что, при привычной предвзятости и усложненности наших представлений, чрезвычайно трудно выразить даже образами, лучшим в таких случаях приемом.

В какой-то счастливый момент мы чувствуем загрязненность тела и запыленность мысли, ощущаем жажду чистоты и обновления. Мы берем ванну, одеваемся во всё чистое, разрешаем парикмахеру превратить нашу голову в ароматный мандарин. Тот же, и в то же время совсем другой человек, очистившийся от всякой скверны и дышащий полной грудью; главное — не ощущающий влияния и запахов вчерашнего прокуренного дня и обязательных мнений. Нет больше этой липкой паутины привычно-заученных слов, взятых из передовых статей, нет оскомины кислосладкой злободневности и нет склонности к коктейлю патентованных истин. Чистый воздух, солнечный свет, свежесть во рту и свобода суждений.

Обычно мы до крайности опутаны разными обязательствами: обязательствами быть на одной из сторон в международных столкновениях, обязательством определенности политических идеалов, такой, а не иной оценки исторических или современных деятелей, — вообще бесконечным рядом нами принятых и подписанных договоров, которыми и определяется в чужих глазах наша личность. Даже то, что мы серьезно считаем независимостью суждений, обычно не более, чем легкое отклонение от мнений принятых и господствующих, некая ересь в пределах одной и той же церковности.

Я, кажется, начал настолько издали, что к звонку не доберусь до дому, поэтому попробую перейти к примерам. Вот читаем мы о происходящих военных операциях в Африке. Лично я читаю о них с тем большим

интересом, что в дни триполитанской авантюры жил в Италии и читал восторженную политическую дребедень Габриэле д'Аннунцио о героических завоеваниях колодцев, которых было некому и нечем защищать. Но не в том дело. Мы — соответственно направлениям нашей нейтральности — сочувствуем успехам англичан или итальянцев, совершенно упуская из виду, что человека здорового, не искривленного политикой, должно поражать совершенно другое, что дело происходит не в Англии и не в Италии, а как бы два подравшихся субъекта ворвались в чужой дом и там переколотили мебель и посуду и убили и поранили непричастных к их ссоре хозяев. Дерутся европейцы, страдают от этого африканцы — эфиопы, негры, арабы, люди, законно ненавидящие всем пылом своих цветных сердец обе воюющие стороны. И именно в этом и весь смысл и весь ужас происходящего, и именно об этом мало кто думает.

Пример другой — и из совсем другой области. В силу ли «национальной революции», или просто по счастливой мысли догадливого человека, рушится и заменяется своей противоположностью государственный строй в какой-нибудь стране (что мы сейчас наблюдаем, приблизительно, дважды в месяц).

Политики до мозга костей, мы объясняем это соотношением общественных сил, внешними причинами, торжеством такой-то идеи, гениальностью или наглостью таких-то деятелей. Между тем легкая прогулка по всеобщей истории культур привела бы здоровое и не зараженное предвзятостью сознание к мысли о природных качествах материала этого самого человеческого сознания, о способности этого материала уставать, как устает всякая материя, в том числе и металл (это известно всякому технику). Без видимых причин начинает плохо работать машина; если дать ей отдохнуть, она, без всякой починки может работать дальше, будь это мотор автомобиля, карманные часы, стило, ножицы, лезвие бритвы. Не усталостью ли материала сознания объясняется то, что народ, сегодня преданный



определенным политическим идеям, завтра с полным равнодушием посылает их к чорту, чтобы послезавтра к ним вернуться? Иначе было бы невозможно объяснить, почему, например, в странах, защищающих или готовых защищать оружием идею демократии, в целях этой защиты прежде всего уничтожаются все основные виды приложения этой идеи на практике (свобода слова, печати, собраний и проч.), причем это принимается, как естественная и идеи не нарушающая мера, это — почти не вызывает удивления?

Ясное и здоровое, отдохнувшее, обмытое, обритое, одетое в чистое сознание должно отметить в приведенных примерах их внутреннее противоречие, их кричащую нелепость. Но сознание усталое, прокопченное политиканством, замусоренное обрезками и опилками обязательных суждений, назовет (и не без права!) наши соображения парадоксами. Я говорю «не без права» потому, что парадокс есть логическое умозаключение, не совпадающее с умозаключениями господствующими, но не менее их приближающееся к истине. Но сверх того парадокс есть бродило, сила движущая и направляющая, без которой мысль обречена на застой и умирание. Коперниково вращение земли было парадоксом. С другой стороны, господствующая аксиома «прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками» чуть было не убила точнейшую из наук, нашедшую спасенье только в метафизике.

Что касается до цели этих простейших рассуждений, то она также проста. Хочется удержаться от других от соблазна умственной партийности, от нашей отвратительной привычки, предстоя тысяче возможных решений, обращать внимание только на два, предложенные в готовом виде: «за» или «против», оставляя остальные без рассмотрения, быстро становясь в ряды новобранцев одной из сторон и с тупой добросовестностью проделывая всю установленную гимнастику движений по чужой команде. Это раньше можно было делить мир на черное и белое, на левых и правых, из-

бирая себе подходящий цвет и желанную сторону. Сейчас, сокрушив всё положительное и всё отрицательное, мы стоим в центре многопутья под многоцветной радугой, — и ни один путь, ни один цвет не заказан для свободного и пытливого искания. Только скопцы мысли перетаскивают с собой трухлявый багаж через сухопутные границы и океаны, — и штаны, и жилетку, и титул заслуженного журнала, и запах трупного разложения, и напетую дудочку девизов. Для кого всё решено, тому почетное место в покойницкой. Кто хочет жить, тот должен снять все путы с ног и за исходную точку принять великое сомнение, здоровое и полное зерно всякого знания.

Потому что, если что-нибудь завело нас в тупик, то именно слепая и ленивая вера в дважды-два-четыре, в политические и социальные таблицы умножения, напечатанные на внутренней обложке ученических тетрадок. Читающий да разумеет!

**О НАЦИИ, О ЧЕСТИ И ПРОЧЕМ**



Очень долго будут говорить (а ведь еще и историки есть!) о том, как могло случиться, что гордая недавним прошлым Франция вдруг оказалась разбитой на голову в какой-нибудь месяц.

Говорят об этом и сами французы, и, нужно признать, судят себя строже, чем судят их посторонние. Я сказал бы даже: слишком строго и не всегда справедливо. Самообвинение, самобичевание, доходящее (в печати парижской, т. е. не совсем французской) до самооплеванья, — должно иметь свои основы и свои границы; иначе это перестает быть не только благотворным, но и пристойным.

Границы должны быть и в самозащите, порою вызывающей изумление. Когда, например, защищая французскую нацию, утверждают, что она, вопреки внешности, «дисциплинирована и легко доступна управлению, раз ей представляется возможность следовать за вождем» (выражение газеты «Кандид»), — то подобная защита может звучать и оскорблением, хотя бы потому, что и вожди бывают разные, и стадность — не высокое национальное качество. Если бы французский народ действительно был «легок для управления», то задача немцев, оккупировавших половину страны, была бы разрешена; к счастью, это не так.

Вообще нет ничего условнее и спорнее характеристики национальных качеств народа, в особенности такого, как французский, образовавшийся из ряда последовательно наводнявших страну народностей, которые трудно даже исчислить: сканны, иберийцы, лигуры, кельты, кимвры, римляне, вандалы, гунны, франки, норманны, — и это только до конца первого тысячелетия по Христе. Много ли общего между эльзасцем и провансальцем, между жителями Нормандии и, например, басками, происхождение которых до сих пор

остаётся неустановленным? И можно ли исключить из понятия «нация» туземное население обширных французских колоний?

Во всяком случае, если единство французского народа в дни тяжких испытаний бесспорно, единство выдержки надежд и мечтаний, то не следует делать отсюда вывода о «легкости управления», о рабском смирении и готовности подчиниться любому политическому игу. Такие «похвалы» можно объяснить только боязнью слишком поспешных преждевременных проявлений духа свободной гражданственности, всегда отличавшего французскую культуру.

Отыскивая причины военного поражения, нередко проводят параллель между нравственным состоянием Франции 1870 года и Франции современной, ссылаясь на «дурное управление» и полную военную неподготовленность. Но Вторая Империя была уничтожена не войной, — она хотела себя спасти войной; ее близкое падение было неизбежно вне всяких внешних осложнений. Уже в шестидесятые годы Франция была разложившимся государством, внутренне прогнившим. Этого никто не может сказать про Францию перед нынешней войной, имевшую свои внутренние пороки, но вполне жизнеспособную. Несомненно преувеличивается и военная неподготовленность Франции наших дней. В 1870 году поражение было обеспечено полным отсутствием всякой подготовки, созревшими изменами, грандиозным прусским шпионажем, корень которого был в императорском дворце, а разветвления опутывали все правительственные учреждения. Франция нынешняя оказалась слабой в борьбе с врагом, уничтожившим в целях вооружения, всякое проявление гражданской свободы в своей стране, подавившим всякую возможность дыхания, создавшим беспримерный строй рабства. Чтобы быть «подготовленной», Франция должна была сделать у себя то же самое или большее; этого она не сделала и не могла сделать, не отказавшись целиком от лучших своих традиций; но было сделано многое,

если не всё, что могла сделать страна, не теряя своего лица, не превращаясь в деспотию и военный лагерь.

Вероятно, с точки зрения государственной, это было ошибкой. Всё несчастье в том, что государственность не имеет ничего общего ни с понятиями нравственности, ни с вопросом о достоинстве нации и ее духовных качествах. Военный примат Германии не подлежит сомнению. Но доказывает ли это, или докажет ли в будущем, примат духовный германского народа? Кающиеся и самобичующие слишком торопятся в самоосуждениях. Даже война еще не кончена, тем более не завершен исторический период Европы, нами переживаемый. Суд не произнесен — и приговора мы угадать не можем.

Между силой и правдой — вековечный спор. И когда вопрос ставится о чести народа, — он решается не победой оружия.

---

Если я позволяю себе касаться вопросов, как будто политических и военных, то только потому, что в беседе о них особенно отчетливо подмечается предвзятость наших ходячих суждений, условность и путаница таких выражений, как страна, государство, нация, народ, как и понятий об их чести и достоинстве. Человек, подвергшийся нападению бандитов и оказавшийся слабее их, чести, как будто, не теряет; к нации отношение почему-то иное: ищут сейчас же признаков ее вырождения. Страна высокой старой культуры, поработанная силой оружия, должна ли каяться в том, что она не принесла эту культуру в жертву богу войны?

Я не хочу быть пристрастным к одной из воюющих сторон, — хотя пристрастие и не считаю пороком. Итальянцы пока не отличились стратегическими доблестями и не проявили военных успехов, — осуждать ли за это итальянский народ, видеть ли в этом его духовную слабость? Англичане выказали необычайную военную стойкость и героизм, признаваемый даже их

врагами, — разве это лучшее, что можно сказать об англичанах, как нации? Немцы считают себя накануне завоевания не только Европы, но и целого мира, — дает ли это им право на звание лучшего в Европе и в мире народа? Не было ли в Германии чего-то гораздо большего и ценного, чем ее нынешняя военная мощь? Россия проявила змеиную мудрость в столкновении народов, — неужели именно этого рода мудростью мы должны гордиться? И Италия — не Дуче, и Германия — не Фюрер, и СССР — не товарищ Сталин. Подобные упрощения не только национально-обидны, но и мыслительно слабы.

Присутствуя при петушином бое, мы естественно учитываем прежде всего боевые качества петуха. Но люди всё же не петухи, и старинная формула «мужчина — воин, женщина — утеха воина» с течением времени должна была подвергнуться сомнению. Если бы мы могли быть вполне смелыми в суждениях, мы ставили бы вопрос: в чем больше достоинства и человечности, в победе или в поражении? Вопрос не такой уж нелепый, если вспомнить хотя бы о толстовском «непротивлении злу» или о евангельском совете подставления левой щеки на смену правой. Я этого вопроса не ставлю, не чувствуя себя достаточно добродетельным, или просто по робости; но уже самая трудность его постановки указывает на степень опутанности наших суждений обязательными подходами и предвзятыми понятиями, преодолевать которые мы почти бессильны. В данном случае бессилие и непротивление никак нас не оправдывает, так как в области идеологической оружие не смертоносно.

Такие темы не современны, это — темы будущего. Ставит их не текущий день, а культурное сознание. Что касается их развития и ответа на них, то это лишь постольку спешно, поскольку завтрашний день не сулит нам повязки на уста и смирительной рубашки на случай проявления так называемой «свободной гражданственности».



**О ВОЙНЕ, ВОЛЬТЕРЕ И ПРОШЛОМ**



Половина мира воюет, другая половина готовится к войне. Весь мир жаждет окончания войны. Когда война окончится, весь мир будет готовиться к новой войне.

Немцы начали войну, требуя для себя «жизненного пространства»; заняв оружием пространство, которое они себе требовали, они завоевали также жизненные пространства других народов: австрийцев, чехов, поляков, норвежцев, датчан, голландцев, бельгийцев, французов и румын. Русские, не нуждаясь в пространствах, тем не менее отняли их у поляков, литовцев, латышей, эстонцев, румын и финнов. Англичане, защищая права и пространства других народов, рискуют потерять свои; французы уже потеряли. Итальянцы, в погоне за новыми колониями, потеряли старые. Греки, испугавшись потерь, неожиданно сделали приобретения. Эфиопы, к которым их пространства возвращаются, видят их пока занятыми англичанами. Балканские славяне остаются в неуверенности, приобретут ли они чужие, или потеряют свои пространства. Японцы завязли в пространствах Китая и не знают, как им выбраться. Америка, стоя в стороне от европейской всеобщей свалки, обращает себя в неприступную крепость.

И всё-таки мир, писавшийся раньше через «и» десятиричное, несомненно жаждет мира через «и» восьмиричное; страстно жаждет, и делает всё противоположное своим желаниям. И будет делать впредь.

Раньше рассуждали так: войны хотят единицы: правители, капиталисты, авантюристы; войны никогда не хотел и не хочет ни один народ.

Всякий раз, как это сознание делалось всеобщим, происходили революции, и власть переходила к народу.

Пересоздав весь строй своего управления на новый лад, народ прежде всего создавал новую армию — для новой войны. Такова великая французская революция; такова великая русская. Таковыми будут, конечно, и предстоящие в близком или далеком будущем революции во всех странах, сейчас втянутых в войну.

Что же такое война? Рок? Отрицание свободы человеческой воли? Или она, действительно, «гигиена мира»? Или извечное проклятие?

Сотни великих мыслителей говорили и писали о войне, и ни один из них не мог ни указать на ее внутреннюю причину, ни найти ей оправдания или простого объяснения в человеческой природе. Есть много животных, которых природа снабдила орудиями защиты и нападения: клыками, когтями, жалом, клювом, ядовитыми железами; и всё-таки в мире животных «война всех против всех» — только человеческая выдумка, плод неглубоких наблюдений: животный мир не знает войны в пределах одного вида; сомнительное исключение — муравьи. Человеческий организм совершенно лишен смертоносных орудий; он приспособлен лишь для мирного труда. Каким образом человек стал кровожаднейшим из животных? В то же время мы придумали слово «человечность» (гуманность), чтобы этим высоким качеством выделить себя из остального животного мира.

Нужно ли ставить себе эти вопросы? Есть ли хоть какая-нибудь надежда на их разрешение? Работает ли в этом направлении наш разум? Делается ли «человечнее» наше сознание?

И что можем прибавить мы к словам Вольтера, сказанным по поводу войны почти двести лет тому назад: «Во что обращаются понятия — и что мне за дело

до человечности, добродетели, скромности, терпимости, нежности, мудрости, милосердия, — когда полфунта свинца, брошенные в меня с расстояния шестисот шагов (!), разрушают мое тело, и когда я в возрасте двадцати лет умираю в невыразимых страданиях, среди пяти-шести тысяч умирающих, в то время, как глаза мои, открывшись в последний раз, видят разрушенный огнем и железом город, где я родился, и мои уши слышат последние звуки — крики женщин и детей, гибнущих под развалинами».

Что изменилось с той поры? Только — расстояние орудийного выстрела!

---

Мы, пишущие, знаем многое, чего не знают только читающие. Мы знаем, например, что строки, подобные цитированным, считаются и разумными, и честными, и человеческими, и уместными, пока нет войны; когда она приходит — те же строки, без изменения единой запятой, внезапно превращаются в неуместные, вредные, антипатриотичные, почти бунтовские.

Христианская церковь осуждает убийство; государственные законы карают не только убийство, но и покушение, но и подстрекательство, но и восхваление убийства. Детям в школах внушают не разорять птичьих гнезд. Затем та же церковь благословляет оружие и идущих в бой; тот же законодатель карает за отказ идти на войну, за подстрекательство к отказу; та же школа заставляет детей изучать «славные страницы» исторических побед и завоеваний.

Всё это говорилось и повторялось тысячи раз в самых убедительных, сильных, негодующих выраже-

ниях, самыми блестящими и смелыми людьми. Пусть опять говорит Вольтер о войне:

«Всего изумительнее в этом адском предприятии, что каждый главарь убийств благословляет знамена и взывает к Богу, прежде чем идти истреблять своих ближних. Если ему счастливо удалось убить только две-три тысячи людей, он Бога не благодарит; но если огнем и мечом он истребил их тысяч десять и, в виде милостивой добавки, он разрушил и стер с лица земли еще какой-нибудь город, — тогда на все голоса поется песня в честь всех сражавшихся и особо о каждом акте варварства».

Какая сила слов, какая неподкупность мысли! И тот же Вольтер, великий фернейский старец, писал изящнейшим стилем приветствия Екатерине Второй, по случаю ее побед над турками.

С обидой и негодованием отшвыриваю томик Вольтера — какая непоследовательность!

Затем, отложив в сторону и это, мной написанное, и погрузившись в мысли о происходящем сейчас в Европе и Африке, думаю:

— Как было бы хорошо, если бы вот эти поскорее наколотили этим! Да так бы наколотили, чтобы...

---

В какой-то день, и да будет он благословен, война окончится. В какой-то очень светлый день, когда перемирие, истощение или революции взорвут враждебную напряженность. Пророчествовать не стоит, но этот день желанен.

Едва ли на тысячу людей найдется десять таких, которым конец войны не представляется началом воз-

врата к прошлому, к тому, что было и что, как будто, не ценилось достаточно: освещение по вечерам, распахнутые окна, спокойный сон, семья в сборе, громкие голоса, неискажающие лицо улыбки. Для огромного большинства война прежде всего — утрата прошлого; только для немногих она — становление перед будущим, лица которого не видно.

Мы даже не можем сказать, что это будущее счастливо для победителей, несчастно для побежденных: в современных войнах экономически выигрывают только страны, оставшиеся в стороне от бойни. Официальные победы укрепляют и замораживают в странах-победительницах их политический строй, препятствуя естественному ходу его развития; обратное — в странах, потерпевших поражение, где случившееся несчастье побуждает искать его причины и вынуждает к полному пересмотру отношений общества к власти. Прошлая война дала этому достаточно примеров, нынешняя, конечно, даст еще больше.

Река в половодье выходит из берегов, затапливает поля и леса, иногда причиняет большие бедствия. К лету она войдет в свое русло, — но это уже не та река, и не те берега. Прежней Европы не будет ни при каких условиях. И не будет прежней жизни, на чьей бы стороне ни осталась официальная победа. Прежними могут остаться — и остаются обычно — только человеческие ошибки и заблуждения, и первая из них — уверенность, что оружие может что-то созидать; но его разрушительная сила бесспорна.

Война вспыхивает в один день; ее последствия расщиваются десятками лет. К сожалению, у человечества плохая память, — она исчерпывается в одном поколении. Мы, свидетели истории, можем тысячи раз повторять себе, что эта война будет последней; для

мальчиков, сейчас играющих на улице в солдатики, всякая новая война будет первой, — мы не можем внушить им горечи и силы пережитых нами испытаний.

---

Есть один старый, общепризнанный и в корне своем неправильный образ: бесконечная дорога, по которой идет человек; глаза его смотрят в будущее, за его плечами — законченное прошлое.

В мире реальном происходит совсем иное. Реально только прошлое, и то, что мы называем «прогрессом», есть накопление прошлого. Так как будущего нет, то не к нему, а к прошлому обращены наши глаза; к будущему мы повернуты спиной. Поток прошлого не отстает от нас, а вечно теснит нас, и вся история есть борьба с его непрерывным накоплением. Мы не идем вперед, а вынужденно отступаем, и в неведомую даль уходит не то, чего нет, а то, что было и отмирает в памяти, что уже перестают видеть наши глаза.

Именно поэтому мы не создаем нового, а лишь пересоздаем и приспособляем ранее использованный материал, так как создавать из ничего невозможно. Точнее — мы бессознательно противимся нарождению новых реальностей, природа которых нам неведома, новых комбинаций, никогда нами не испытанных и еще не существовавших; они появляются помимо нас и делаются реальностью лишь в тот же момент, как становятся прошлым — в момент своего рождения. Поток истории стремительно несется от будущего в глубь прошлого. Это сказано слишком давно, чтобы быть только парадоксом.

Отсюда наша привязанность к прошлому, наше воображение, что оно может целиком возвращаться. Даже



самые смелые новаторы строят свои идеалы лишь по готовым образцам истории. Коммунизм идет не дальше Коммуны, социализм — первобытного христианства (в его предполагаемой окраске), фашизм избрал эмблемой связанные прутья римских ликторов, наци хотят быть нибелунгами. Французская «национальная революция», о которой так много сейчас говорят, хочет зачеркнуть «ошибки демократии», т. е. весь последний исторический период; если можно — также и 1789 год; недаром смельчаки именуют нынешние реформы — реставрацией. Никакое повторение целого отрезка прошлого невозможно, как невозможно и избежать его повторения в новых комбинациях. Всё предстоящее уже было в зародыше в прошлом, — как тысячелетняя жизнь эвкалипта уже содержалась в семени, из которого вырос его ствол.

---

Будущее, как мы его понимаем, может возбуждать любопытство и питать надежды; но, не будучи реальностью, оно не может ни восхищать, ни вызывать негодования; соблазняя ум, оно никогда не говорит сердцу. Только прошлое может нас очаровывать, и секрет его очарования в его невозвратности и неповторяемости в пережитых нами формах, что не мешает ему оставаться бессмертным.

Мы не испытываем ничего, кем-нибудь раньше не испытанного, и не говорим ничего, до нас не сказанного; но пережитое нами светится вдали особым, неповторимым огнем, и нами сказанное слово, самое обычное, только раз произнесено этим голосом и только в этот момент, — и уже никогда так сказано не будет.

Будут войны — но никто не испытает того и так, что и как пережили мы; будет мир — но он не может

вернуть нам того, что было до войны и что в нас самих ею разрушено. Вероятно, поэтому наш личный опыт не убедителен для наших потомков; если бы он хоть в малой мере мог быть для них убедительным, они брали бы из нашего опыта только лучшее и с ужасом отбрасывали худое. Но человек, как щенок, рождается слепым и сам пытается творить свой мир заново. И мы ничего никому не можем обещать, никого ничему не можем научить. И если мы станем мудрыми, то только для себя.

Может быть, это справедливо. И, может быть, такая жизнь интереснее.

**ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА**



(28. 2. 41)\*

Очень хочется петь весеннюю песню, и так трудно шевелить синими губами. Простите, всё-таки, если я займу вас сегодня не откликами французской жизни, а лирикой. В моей хибарке, заменившей ограбленную культурным народом парижскую квартиру, расцвели на подоконнике в банках хилые гиацинты; в огороде, где никак не может прорасти посеянный рано горох (и, конечно, укроп — не может русский человек обойтись без укропа!), появились в междурядьях и под кустами первые подснежники, те самые, прелесть цветенья которых в зеленоватых прожилках их слабых колокольчиков. Уже подстрижены кусты роз, культура которых не высока в этой полосе Франции, так что я, большой любитель ухода за ними, оказываюсь учителем и хожу по соседям подстригать прошлогодние побеги на три и пять глазков. Но это еще не весна, даже не календарная, и мартовское солнце слишком часто умывается ледяной водой. Еще нужен уголь, еще дымят сырые дрова, еще щемит пальцы на ногах, покалеченных холодом каменного пола, еще не тянет на берег с удочками.

Мы могли бы, конечно, как неисправимые патриоты, поговорить о весне нашей и сравнить ее со всеми веснами всех прочих стран, — не к выгоде последних. Но я боюсь, что это говорено и переговорено много раз. Мало-помалу выветривается самоварный и сарафаный патриотизм в скитаньях по свету без верного пристанища, и уже можно любоваться чужой приро-

---

\* Этим числом помечена автором, но закончена, повидимому, в первых числах марта.

дой, находить удовлетворение в чужой жизни, даже не сделавши ее своей. Разбежавшись мыслью — делаю прыжок через океан и попадаю в городе незнакомом в среду людей, завершивших все этапы странствий, предначертанных нашему поколению для небезропотного, но честного выполнения. Кажется дальше идти уже некуда, дальше возможен только возврат в землю отцов, или... вообще в землю: «ибо прах ты, и в прах обратишься».

Годы проходят и прошли — как год единый. Тоже и у нас было свое ожидание весны и свои ранние подснежники. Выпускала береза сережки, в полях появлялись проталины и черные грачевые островки, шумно пролетали в выси пернатые самолеты из теплых курортов в места родного гнездованья, великий Художник выдавливал из кубиков зеленую краску на потребу природы, пока только для фона, а там будет многоцветная роспись; и люди улыбались и ждали: вот она, весна, теперь всё пойдет по-новому!

Но весной опасны утренники для слишком спешных посевов, так что было не мало разочарований. О чем жалеть? Было в этой нашей спешке много красивого, и уж если сожалеть, то лишь о том, что больше стало нечем очаровываться и не в чем ошибаться. Иллюзии повреждены морозом. Очень мы стали мудрыми, мудрее всех, и право же нет в этом никакой радости.

Мудрыми стали, конечно, не сразу и не все. Присматривались, прицеливались, оправдывали, объясняли, великодушно прощали, самоотверженно отступали, давая дорогу и новым людям и новым идеям, пока не догадались, что меняются только костюмы и украшения, а люди всё те же, и истины их стоят не дороже наших. Приятно всё же и сейчас видеть убежденных

староверов, для которых все случившееся объясняется только ошибкой перстного сложения и сугубой аллилуйей. Собираются в зарубежных своих молеельнях перед темными от времени и лампадной копоти иконами старого письма, выполняют в строгости поясное метанье и пальцами, длинными и худыми, перебирают четки и лестовки установленных канонов. Из седых висков надергивают волосики для кисточек, уставно мажут на проваренных в масле досках лики прежних святых, издают журнальчики под прежним девизом объединяющихся пролетариев и в борьбе обретаемого права. И это почтенно, и это трогательно, потому что всё дело в силе веры, а не в ее содержании, и достойно молиться любому пенью, только бы не с ленью. Тоже и протопоп Аввакум сидел в срубе на цепи пятнадцать годов — а не сдался, не захотел простить тайных римских шишей, богоборцев и прилагатаев, напитавших народ аспидовым ядом, казнил словом Никона, дьяволова сына и овчеобразного волка.

Да, была и у нас своя весна, и за весной как полагается, наступило лето. Вы не подумайте, что я ищу непременно параллелей между временами года и политическими этапами нашего бытия. Это может выйти случайно, а говорить хочется просто о природе, без скрытых мыслей. Лето — трудное для поэзии время года; для него не придумано столько испытанных шаблонов, как для весны или излюбленной Пушкиным осени. В моем саду под Парижем лето приносило мне всегда не мало разочарований. Для него заготовлялось с весны в посевных ящиках и на грядках множество цветов, но больше двух третей пропадало не высаженными от тесноты, засухи, простуды, насекомых и, может быть, от излишне-любовного ухода. Когда к июлю доцветали первым цветом розы, жасмины, кончались тюльпаны и белые лилии, — вдруг оказывалось, что

горячим летом нечем заменить пышности весеннего цветения. Да и любоваться некогда, всё время уходит на поливку, на мотыженье, на последнюю пикировку, на борьбу с вредителями. Только деревья в эту пору утешают пышностью и тенью, а плодовые — сочными и сладкими дарами. Летом хороши большие леса — где их найдешь в оголенной Европе? Нам, людям уральским, угодить трудно по этой части. Но там, где есть река, в реке есть рыба, по берегам кусты, — там лето благостно, и о лете последнем, проведенном здесь, страшном и трагическом, я вспоминаю без проклятий: природа уже изгладила тягость пережитых впечатлений, как умеет делать только она, только ее божественная сила.

В юности счет жизни ведется по прожитым веснам («ее семнадцатая весна»), в зрелые года — по летам («сколько вам лет?»); осень засчитывается только одна — последней любви; зима вспоминается лишь для украшения речи («сколько лет, сколько зим не видались!»). Образ весны для меня ясен. Это, конечно, не бесплотная девица Боттичели, расшвыривающая срезанные цветочки, а ледоход и несущаяся по полю задрав хвост корова. А вот лето — его образы для меня спутаны обилием чужих картин. К прохладе только в верхушках раскаленного леса, к волнам тончайшей смолы, к этому хвойному богатству и счастью примешивается в памяти отравленный воздух европейских столиц, так много раз сменявших одна другую: Рим, летом пахнувший пригорелым маслом, Париж — вареным асфальтом, Лондон — копченой кожей, Берлин — капустной сигарой, столицы Скандинавии — свежей рыбой, столицы Балкан — жареным поросенком и базаром. Российские поля золотой ржи, французские виноградники, болгарские долины роз, норвежские фьорды, итальянские апельсиновые сады, лондонские парки, затоптан-



ный Булонский лес, серые оливы средиземного побережья, каштановые кудри Тосканы, голые скалы Черногорья, — все это, как будто под одним, но всюду разным горячим летним солнцем спуталось в памяти и слепит своим калейдоскопом. А ведь еще бывает лето мне неведомое, под разными тропиками рака и козерога, и еще там, где люди будто бы ходят не вверх ногами, а тоже понашему. В детские годы лето казалось мне баржей, груженной арбузами, с которой матросы ловко, из рук в руки, кидали на берег зеленые в белую полоску шары. Или на реке Каме мелью, на которую села трехсаженная белуга. Или на два-три месяца загоревшейся от неразбросанного и незатоптанного костра лесной полосой; и небо тогда туманно-тяжелое, и воздух тяжел для дыханья, и медно-красное солнце смотрит угрюмо и зловеще.

Потом, с неумолимостью бега времени, желтеет и багрянеет лист, птицы учат детей далеким полетам, зверь отъедается и перешивает пальто на зимнюю шубу, поэты начинают понимать, что одной поэзией не проживешь, печники знать не хотят никакой безработицы, пахнет яблоком и кочерыжками капусты, откашливаются перед сезоном драматические актеры, средне-европейское время переводится на час не разберешь в какую сторону. Земля густо усеяна семенами трав и деревьев, пауки записываются в летчики, мухи предпочитают сидеть дома; на фронтах спешно доколачивают друг друга и уже начинают ссылаться на плохую видимость, обещая продолжение в следующий теплый сезон, вожди, окружив себя телохранителями, произносят речи, объясняя народам, за что они, народы, их, вождей, так любят. Телохранители бурно рукоплещут, народ безмолвствует. Так идет дело до первого снега или до слякоти, заменяющей белые звездочки в теплых странах.

Остается, в порядке той же лирики, преодолеть зиму, и это, клянусь, не представило бы трудности, если бы белые поляны давних прекрасных воспоминаний не были завалены мусором позднейших, уже чисто европейских впечатлений, в частности — если бы не последняя зима, с которой всё еще не может справиться заново почищенное и до блеска натертое мартовское солнце, — я пишу в самых первых числах этого военного и по имени, и по обстоятельствам месяца. И если бы — следует прибавить — снег таял не только на вершинах гор, а и на запорошенной им голове.

Круг замкнут, движение продолжается. Мы опять предстоим лучшему времени года — весне, пробуждению жизни в природе, — и только человек может соединять с нею надежду истребить как можно больше себе подобных.

Нынешней весной перелетным птицам придется изменить свой обычный, вековой маршрут — западное побережье Европы, двойной огиб берегов Британии, Северным и Балтийским морем в скандинавские страны и дальше к ледяным полям. Этот путь будет прегражден для них огромными механическими птицами, страшными хищниками. Закрыт для них путь и из Африки через Сицилию, Капри, Албанию, по линиям пляжей и течению больших рек к центру Европы и в Россию. У них отнимается воздух, как отнимается море у рыб, миллиардами гибнущих от взрыва мин и от морских сражений. Редко кто думает и мало кого занимает, какое количество животных всех пород, от диких до домашних, от слонов до белок, от птиц до рептилий и рыб, погибает нечаянными и невинными участниками человеческих безумств. Не знают об их паническом бегстве, их попытках массовых переселений. Стоит ли думать о них, когда гибнут люди! — какая простая и легкая логика! Не из жалостливости говорю, а от великого нашего стыда.

---

Четыре времени года отчетливо различает только сельский человек, самый сейчас модный, самый в почете, всех прибежище и надежда.

Всё, чем мы бедны и чем богаты, производится и питается землей. И когда все усилия обращены на разрушение, жизнь поддерживает только земледелец.

Отсюда к нему такое внимание и почтение, что даже в пролетарском государстве, на руководящем съезде бюрократов, земно кланяются крестьянину и грозят кулаком пролетарию. Белые рабы, военнопленные, отправляются в чужие для них поля замещать воюющих хозяев и батраков, и в этой работе они не видят ни позора, ни измены своим, хотя, казалось бы, помогают врагу. На их завоеванных и занятых родинах посылают в поля городских юношей и подростков, приучая их к единственно бесспорному и благороднейшему труду, к общению с землей, всеобщей кормилицей, источником всех благ. Возвращаются крестьянину почет и привилегии, его обхаживает законодатель, ему улыбается горожанин — за хлеб, за вязанку хвороста, за курочку и весенние яйца; ему тащат всякое свое барахло, зная, что деньгами его теперь не купишь, денег у него достаточно, а покупать на них нечего. Нам, жителям полудеревенского местечка, всё это видно. И, копаясь на своих огородах, мы чувствуем себя как бы участниками в торжестве признания земли, в отдаче ей забытого долга. Только бы, в почтительных заботах, не дошли до чрезмерности, до несносной опеки! Земле нужно не покровительство, а усердное соучастие в ее труде; а уж как, с чем управиться — она сама знает.

Вместе с почетом крестьянину возвращен почет и его ближайшим помощникам, лошади, корове, козе, барану, курице. За моторную машину не дают тысячи, за лошадь платят сорок тысяч; машина ржавеет в га-

раже — нечем пустить ее в ход. Лошадь стоит в теплой конюшне, хотя бы мерзли сами хозяева. И за телушкой уход почтительнее и внимательней, чем за женщиной в родильном приюте.

Еще холодна земля; но молодые белые корешки уже сосут соки. Выползают букашки, вывинчиваются из земли коробочки слизняков, червяк греется у корня трав.

Что бы ни случилось в мире — всё не в счет и ни к чему, если на поправку наших ошибок не придет в своей доброте и благосклонности весеннее солнце, не зачинит наши заплаты и не простит нас если не с любовью, то с высоким своим равнодушием:

— Живите дальше и ешьте друг-друга, если ничего более мудрого не можете извлечь из мною рожденного вашего бытия!

**ТОСКА И РОССИЯ**



Всякая затянувшаяся трагедия время от времени переходит в скуку. Невозможно жить в вечном напряжении — колышки струн сами ослабляются. Очень возможно, что это унылое рассуждение совпадет как раз с грохотом обвалов, с фейерверком самых решительных событий, — но всё равно, они тоже пресекутся полосой тоски и тяготы. И чтобы уйти от них, нам нужен каждый раз большой заряд наркоза.

В часы европейской оскомины усиленно думается о России. И невольно, и с охотой. Чужих мыслей угадывать не хочу, а сам скажу, что Россия мне кажется сейчас единственной страной, где стоило бы жить. Самой интересной и самой, конечно, незнакомой. Она не для нас одних такова; для всех загадочна и преисполнена возможностями. Проще и понятнее всего ее иностранная политика, самая реальная и самая догадливая, чтобы не сказать мудрая: ждать, пока не истекут кровью, золотом и бензином все воюющие народы, а когда это произойдет, подсчитать доходы и явить себя благодетельницей усталого человечества, указав ему, каким образом наживается капитал с соблюдением невинности. Русским патриотам предоставляется на выбор: или, рассуждая государственно, признать, что пока что российская политика безошибочна и единственно мудра: или же, воздев очи к небу, вынести этой политике нравственное осуждение, — но уже тогда отказаться от всякой государственной державной идеологии. Есть, пожалуй, еще и третье решение: не давать в себе патриотизму заглушать человеческое чувство; но это трудно, очень трудно. Нужно для этого долго проскитаться по свету, забыть о кровных и родственных связях, научиться любить землю вообще, человека вообще, возрастить в себе и бесстрашие и беспристрастие, национально оскопиться. Такое достижение не

радует, оно опустошает душу; но возможно, что оно необходимо, хотя столь же возможно, что оно только своеобразный защитный цвет. Сверх того — твердо знаю, что именно оно и есть главный источник той тоски, которая время от времени пересекает и преодолевает нашу взволнованность событиями дня.

Нужно быть откровенными. В своих суждениях о нашей родине мы связаны тысячей условностей. Основная из них — ощущение обиды, у каждого своей и за себя. Обида, конечно, в том, что мы исключены из русской жизни, и, по внутреннему ощущению, исключены несправедливо. Казалось бы, в такой огромной стране не только каждому должно найтись место, но и каждое мнение могло бы быть ценным и учитываться, как в любой другой стране, где уживаются и рядом работают люди резко несходных взглядов, и именно их сотрудничество создает необходимую и благотворную для страны среднюю. Страсти, в сущности, давно потухли, и для очень многих, при том для самых в прошлом заядлых противников российской революции, ее нынешний строй, с крепкой властью, с великодержавностью, с душком монархического нового «Боже, царя храни», с национальными устремлениями, с восстановлением почти целиком прежних границ, утраченных при «похабном мире», — такой строй должен быть и приемлемым и соблазнительным. Остается только вопрос об именах и лицах, старая и острая к ним неприязнь, да полинявшие неприязненные знамена. Так для огромного большинства. И это большинство могло бы там превосходно ужиться. Затем идут слои чисто беженские, случайные, ушедшие в свое время испуганной толпой, малым отличной от такой же толпы, там оставшейся и легко приспособившейся к жизни. И только для десятков или немногих сотен их непримиримость принципиальна и неистребима, не с коммунизмом, который давно выродился и выдохся, а с «тоталитарной» государственностью, не желающей признавать моральных надстроек, для кого — наивных, а для



кого первоначущих и главенствующих в их политическом мировоззрении, без которых они вообще не мыслят жизни, но борьба за которые сейчас в России явно немислима.

И есть еще одно. До сих пор России, стране не-свободы, политического террора, противопоставалась Европа, где личность человека уважалась, убеждения не преследовались, была возможна духовная работа, общественная деятельность, где были живы традиции, в которых воспитывались поколения и русских интеллигентов и которыми был подточен и разрушен прежний деспотический строй. Всё это было, конечно, относительно, и многие отдавали себе отчет в том, что социальный строй Европы и непрочен и не заслуживает прочности, что русская революция, политически неоправданная, в других отношениях дала миру урок, который без последствий не останется. Во всяком случае в Европе русский эмигрант, как и неполноправный гражданин, мог жить и работать с известной гарантией независимости его личности и его убеждений. Это исчезло, этого больше нет. Нет ни старой Европы, ни ее свободных учреждений, ни личных гарантий, ни так называемого «гостеприимства», ни национальной терпимости, ни прежнего «легкого воздуха», ни простого уюта и безопасности. Война вынудила всех иностранцев разойтись по домам, — всех, имеющих свой дом; только политические беженцы остались в разных странах сучками в чужом глазу. Ощущение необходимости иметь свой дом сейчас сильнее, чем когда-нибудь. При том, при сравнении своего с чужим, преимущества чужого в значительной степени утратили свою прежнюю привлекательность. И если уж безразлично, где «пропадать», то лучше пропадать дома, среди людей родного языка, на земле, с которой связали воспоминания детства и события взрослой жизни. В конце концов — история блудного сына, который, вероятно, вернулся в отеческий дом по подобным же причинам. Тяга домой сейчас обуяла многих русских, и как нельзя

было прежде, так тем более странно было бы теперь выносить им за это какое-нибудь осуждение. И оправдания этой тяге не к чему придумывать: она естественна и, как всё естественное, тем самым законна. Другой вопрос, чем эта тяга завершится, благополучным ли возвратом или напрасным унижением, обиванием официального порога.

Взгляды могут не совпадать. То, что одним представляется возвратом на родину блудного сына, то другие назовут его возвратом на блудную родину. Русские всегда были строги к своей стране. Тот язык, которым говорят об СССР его теперешние граждане — в газетах, в публичных выступлениях — явление новое, прежним поколениям незнакомое; язык ура-патриотизма и самовосхваления. Нам была знакома противоположная крайность неудовлетворенности и самобичевания. Но никакой патриотизм не вытравит из души одного убеждения, точнее — логического довода: не может быть ни великой, ни счастливой, ни совершенной та страна, часть граждан которой находится в вынужденном или добровольном изгнании. Во все времена можно было по количеству политической эмиграции судить о несовершенстве строя той страны, которая лишила их возможности жить и работать на родной почве, лишила священнейшего из человеческих прав. Эмиграция, какова бы она ни была, всегда — самый страшный и самый несомненный укор, самое неопровержимое свидетельство гибельных внутренних недочетов, прежде всего — политической деспотии, отсутствия гарантий свободы личности и свободы мысли. За два последних десятилетия демократические страны Европы переполнились беженцами и изгнанниками России, Италии, Испании, Германии, стран «вождества», сменившего прежние монархии. Сейчас мировая путаница прибавила к этому эмиграцию военную, типа иного, более мешаного, но вызванную всё тем же явлением — торжеством насилия. И нет никакой разницы в том, изгоняют ли коммунистов или это коммунисты изгоняют

инакомыслящих; в обоих случаях политический барометр одинаково показывает «повышенное давление» и, следовательно, нестойкую и дурную погоду. Тут не может быть никаких оправданий, никаких ссылок на временность и государственную необходимость; государство — отвлеченное понятие, и только гражданин — реальная и живая единица, источник и мерило прав.

---

Всё это, конечно, «рассуждения», тем более напрасные, что менее всего мир интересуется положением многочисленных эмиграций, как бы ни была трагична их судьба.

В частности его взгляды обращены на СССР — единственную неослабленную в Европе силу. Предполагается, что в какой-то, далекий или близкий момент, СССР сочтет своевременным выполнить свой мудрый и хорошо обдуманый план выступления, и одна из чаш весов подбросит другую к потолку. Может быть, это и случится, но гаданья на такую гигантскую тему не входят в задачи моих незначительных бесед. Хочется отметить здесь другое, маленькое, но очень любопытное явление, при том весьма поучительное для тех, кто пытается давать событиям нравственные оценки.

До какой степени всё в мире переменилось! С какой быстротой и внезапностью была забыта «измена» России в мировую войну. Правда, для такого забвения имеются достаточные поводы, и особенно неудобно говорить о веревке в доме повешенного, а свежешповешенных уже двое, и есть, повидимому, еще кандидаты. Нужно при этом сказать, что оба случая «измен» из позднейшей истории далеко не вызвали такого решительного осуждения, каким была клеймена Россия, хотя и принеся жертвы несравнимые и неисчислимы. Суд не равный и истории придется сделать смягчающую поправку к прежнему приговору, слишком поспешному и партийному. Но слово презрительного осуждения бы-

ло сказано, клеймо было положено, и нам, русским, пришлось его носить. И вот прошло немного лет, и к прежнему изменнику тянутся руки и улыбки, его сочувственного взгляда ищут, несмотря на всю недвусмысленность его поведения, и если о чем мечтают, то именно о новой его измене, за которую ему простили бы всё прежнее и возвеличили его в будущем.

Какая страшная месть истории! И какая справедливая месть! И еще — какое крушение нравственных оценок и критериев! Как это поучительно для наивных, полагающих, что воюющие государства руководятся мотивами морали и справедливости, а не интересами мирового господства, или, мягче выражаясь, не жизненной необходимостью. Лирика еще не вышла из употребления, и прежние высокие термины еще пестрят в речах политиков. И если случится то, чего столь многие ждут от России, если и она выйдет из выжидательного покоя, — ту же лирику мы услышим в ее мотивах, при том безразлично, чьи надежды она оправдает и к каким склонится объятаям. Но если современная война, во всех ее настоящих и предстоящих этапах, внесет в человеческое сознание хоть каплю здорового, то вся эта лирика быстро переведется на рубленную прозу. На прозу страшную, обличительную для мирового обмана, в котором купаются народы. Но только вряд ли в «тьме горьких истин» мы обретем больше счастья, чем нашли в «нас возвышающем обмане».

---

Издали мы даем России, ее политике, ее международному поведению зарубежную оценку, судим о ней, как европейцы или как американцы. Что уцелело бы из этого нашего к ней отношения, если бы мы жили «дома»?

Вот вопрос, ответить на который никто не может. Мы не знаем даже границ нашего незнания России. Это всё возрастающее незнание мы можем сравнивать

только с такой же, а может быть, с еще большей неосведомленностью российских граждан в сути происходящего за пределами Союза. Если наши предположения не свободны от страсти и непотухшей обиды, — там понятия и оценки преподносятся готовыми и не могут быть проверенными. Нужно поставить себя на место людей, давно искусственно отрезанных от общения с миром, отвыкших от этого общения, смотрящих в окошечко гигантской берлоги сквозь искусственно окрашенные окна, искажающие и внешние очертания событий и их внутренний смысл. К незнанию привыкают, с ним сживаются, как с часами, неверно показывающими время, как с суррогатом точного измерительного прибора.

Вряд ли можно сомневаться в том, что, живя в России, мы с половинным интересом следили бы за происходящим в остальном мире, радуясь, что наша хата с краю и наша позиция полна неисчислимых выгод. Пожар в доме соседа — зрелище, а не несчастье, пока, конечно, нет прямой угрозы, что огонь перебросится и на нашу крышу. Из всех нейтральных стран Россия единственная, которой не приходится бояться вынужденного участия в мировой войне, во всяком случае в ближайшем будущем. На ее долю выпала счастливая возможность таскать из огня каштаны с полной безнаказанностью и полной уверенностью, что отнять их обратно ни у кого не хватит сил. Всякие моральные осуждения — только пустые слова, и кто может сомневаться, что сильному простится всё по первому его угрожающему жесту или за первую им обещанную поддержку? И кто оспорит, что такая позиция не может не быть источником национальной гордости и была бы им в любой стране? История выносит порочащие приговоры лицам, но никогда — странам. В политике морально то, что приводит к конечной победе.

Живя в России, мы, вероятно, забыли бы многое, что нас здесь волнует и что делает партизанами одной из борющихся сторон. И это было бы естественным.

В то же время в этом сознании есть что-то оскорбительное; во всяком случае оно, не уменьшая тяги «домой», не уменьшает и тоски, перемежающей живое чувство отклика на события, — тоски, которую не преодолевает, очевидно, никакая перемена мест, никакой опыт откровенной с самим собой беседы.

---

Как чужды, как психологически непонятны нам сейчас причины и мотивы крестовых походов или европейских религиозных войн, варфоломеевской ночи, длительной и кровавой борьбы католичества с протестантством! Вряд ли можно сомневаться, что нашим потомкам будет столь же странной и психологически чуждой наша эпоха борьбы демократий с авторитарностью, этих двух разделов политического фанатизма, двух преходящих религий, от которых со временем останется только дымный и кровавый исторический след. Историк попытается и там и тут ввести решающим экономический фактор; нет ничего легче, как попросту зачеркивать трудно объяснимое. Но и этот фактор — экономическую борьбу — не сделает ли будущее столь же мудреной психологической загадкой, изжитым фанатизмом? Каким новым «паспорту» придется заменить нынешний всеотмыкающий марксистский ключ? Отмыкающий всё, кроме тайников человеческого духа.

Смена понятий, смена терминов, смена толкований. А в общем столь ли уж подлинно велико расстояние от пунических войн до вчерашних столкновений на африканском побережье?

**НЕЙТРАЛЬНЫЕ**





В эту войну впервые появилось, в применении к некоторым нейтральным странам, выражение «невоюющие». Не участвуя непосредственно в вооруженной борьбе, иногда даже не прерывая нормальных дипломатических отношений, государство не скрывает своего сочувствия одной из воюющих сторон и оказывает ей открыто поддержку. Такова Россия, с начала войны выразившая сочувствие и оказывающая помощь нацизму и фашизму, такова Америка, энергично помогающая в борьбе демократиям.

В положении невоюющих стран есть оттенки; так вынужденное «сотрудничество» Франции, кормящей не только германскую армию, но и гражданское население Германии, нельзя, конечно, признать за проявление подлинного сочувствия, как и болгарское соучастие в войне не может быть признано добровольным и основанным на естественных склонностях (пишу эти строки в дни вступления в Болгарию германских войск).

Нейтральными, а иногда лишь «невоюющими» являются и отдельные частные лица разных подданств и национальностей, в зависимости от степени их сочувствия и рода их деятельности. Остаться в своих чувствах действительно нейтральным может только человек, по своему развитию или по своей удаленности от мира совершенно не отдающий себе отчета в происходящем, на судьбе его никак не отражающемся: ребенок, дикарь, слабоумный, житель необитаемого острова. В разгар прошлой войны в России, на севере, были поселения, где никто не слышал о войне, не слышал даже и о предшествовавшей войне с Японией. В прошлую же войну, зимой 1914 года, я имел счастье встретить в Неаполе только что приехавшего из экспедиции русского ученого, который, выйдя с парохода на берег, с удивлением узнал, что обычного проезда из Италии

в Россию нет. — Но почему? — Из-за войны. — Какой войны? Кто с кем воюет? Как? И Россия тоже? — Но это был не нейтральный, а просто счастливый человек.

Вот я пишу, и я уже не нейтрален, я лишь невоюющий, мое сочувствие одной из сторон сомнению не подлежит. Поскольку наша деятельность, хотя бы самая малая, направлена на защиту наших взглядов, мы тем самым оказываем посильную помощь стороне, которой наше сочувствие отдано. Немыслимо полное бесстрашие для живого и мыслящего человека, даже если ненависть к самой войне, к кровавой и преступной человеческой бойне, к подобному способу решения человеческих споров, уравнивает в его глазах обе стороны. Какой-то оттенок в невольных оценках всегда скажется и проявится, если не в отношении к государствам, понятиям отвлеченным, то в отношении к живым единицам, их образующим, к их отличительным национальным качествам. Никакая рассудочность, никакая идеологическая холодность и неумолимость не уравниют чаши весов нашего суждения, пока в груди нашей не замерзло чувство, не обязанное считаться с логикой.

Но есть особого рода духовный нейтралитет, основанный не на принципе «моя хата с краю», не на расчете выгод такой позиции и не на двустороннем холодном умствующем отрицании, а на совершенно противоположном: на равном человеческом сочувствии и сострадании живым единицам, от имени которых правители государств совершают преступление, именуемое войной. Этот нейтралитет не ищет виновного, не вмешивается в спор, не производит оценок. Внеразумно, сверхлогично, слушая только голос чувства, видя только страдания, он со всей искренностью не хочет и не может делать никаких национальных и иных различий между жертвами войны, никогда и ничем самой войны не оправдывая.

На этом принципе построена идея краснокрестной помощи, аполитической, анациональной, помощи чело-

века человеку. Международный Красный Крест в свое время сделал ошибку, попытавшись вмешаться в самые методы военных действий и определить границы недопустимого; тем самым он как бы оправдал то, что оправдания иметь не может. Так, например, появилось осуждение разрывных пуль, при допущении разрывных артиллерийских снарядов и бомб, — одно из величайших и очевидных лицемерий. В бесчеловечном напрасно искать степеней и оттенков и вышедшая из употребления сабля была ничем не человечнее иприта. Если в нынешней войне до сих пор не применялись удушливые газы, то не потому, что стороны считают их применение слишком жестоким, а только потому, что они его одинаково боятся и не придумали достаточной защиты; изобрети одна из сторон идеальный противогаз, — она немедленно расторгла бы молчаливое соглашение. Если взятых в плен не расстреливают, раненых неприятельских солдат не приканчивают, гражданское население занятых областей не вырезают поголовно, его имущество до конца не расхищают, и если иногда, потопив судно, спасают экипаж, — то и это всё делается не по чувствительности, а по прямому расчету, ожидая такого же поведения противника. Единственный сдерживающий мотив в войне — боязнь реванша, и когда граница считавшегося недопустимым перейдена и реванш последовал (бомбардировка мирных городов и частных зданий), никакими призывами к милосердию не остановить дуэли противников.

Не дело «духовного нейтралитета» определять и утверждать степени бесчеловечности. Прикрывая своим символическим знаком полевой госпиталь или поезд, Красный Крест, в условиях войны тоталитарной, уже не достигает цели, — защиты раненых; скорее он навлекает пущую опасность, так как его знаком пользуются для камуфляжа в особо важных случаях, и он может служить лакомой приманкой. Это, конечно, печально, это ужасно, но это и совершенно естественно, потому что выделение раненых в особую неприкосно-

венную группу, при всей понятности и высокой человечности этой попытки, в своей основе нелогично: чем вы докажете, что убивать людей здоровых менее жестоко, чем убивать тех, часть которых всё равно обречена на смерть, а часть на жизнь калеками. Следовательно, вопрос нужно ставить иначе: убивать этих несчастных для противника бесполезно. Но если именно это отмечается защитительным символом, то тем самым он как бы решается утверждать законность убийства тех, на кого не простирается его защита. И из этого порочного круга никогда не выбраться, пока ищешь законное в незаконном, человеческое в жестоком.

Что же делать? Не помогать, не облегчать страданий, не пытаться воздействовать на человеческие совесть и чувства? И в чем же тогда действенная роль духовного нейтралитета?

Вероятно нужно делать то, что до сих пор делалось, и даже так, как делалось: залечивать раны, ампутировать ноги, добиваться освобождения пленных инвалидов, кормить детей разоренных стран, равно относясь к народам стран враждующих, невоюющих, нейтральных. Вероятно нужно пытаться ограничивать военные жестокости договорами, соглашениями, посредничеством, работой лиг, крестов, съездов, всеми возможными мерами. Но наверное нужно что-то иное и гораздо большее, согласованное с сознанием, что все эти меры и все эти действия — только боязливая отписка нашей совести, только уплата за сомнительное право не причислять себя к разряду диких зверей, а именоваться царями природы.

Что такое это «большее», я не мог бы высказать словами рассуждения, и признаю свое бессилие выразить образами, хотя и думаю, что это — единственный верный способ. Какой-то взрыв мирового протеста, какое-то «восстание ангелов». Или, может быть, рождение гениев, сошествие нового богочеловека, ослепительный свет, понтонный мост на одну из ближайших

звезд. Или что-то гораздо более простое и скромное, — эпидемия доброты и благости, превращение плотоядных в питающихся воздухом, всеобщая атрофия воинствующих чувств. Не всё ли равно, к каким нелепым или хитрым образам прибегнуть, и разве это хуже, чем истерически крикнуть: «взорвем всё, что грозит взрывами, уничтожим всё, грозящее уничтожением!» При таком призыве прежде всего встает перед нами образ... городского, поднятой палочкой прерывающего течение чересчур смелых мыслей.

---

Я потому говорю о «духовном нейтралитете», что именно сейчас Франция ждет американской помощи детям, — и в Марсель уже прибыл первый пароход. Скажем так. Если бы иногда люди не позволяли себе роскоши красивых и благородных поступков, стало бы жить вообще невозможно. Даже в швыряньи воробьям ненужных кухонных крошек есть много утешительного. В Гибралтаре живет особая, мавританская порода обезьян; их осталось лишь до сотни, и о них заботятся солдаты, усердно их подкармливая и не позволяя обижать; разве, прочитав об этом, не делается немножко легче дышать? Вот уже два года, как швейцарские крестьяне и маленькие буржуа берут на прокорм детей из воюющих стран, французов, немцев, итальянцев. Франция кормила детей испанских и лишь недавно, сама оскудев, вернула их на родину. Этих детей содержали рабочие и масонские организации (последние теперь распущены за «вредность»).

Я помню голодный 1921 год в СССР и помощь АРА в пострадавших губерниях. Она не всегда была нам понятна. Как общее правило, она оказывалась «способным выжить», так как всех удовлетворить, конечно, не могла. Вероятно так нужно, так правильно; меня такое деление детей на «живучих» и «нежизнеспособных» приводило в ужас, но мы все были тогда

нервны и не соглашались считаться с логикой вещей. Здесь, во Франции, не будет, конечно, такого деления. Нельзя даже отдаленно сравнивать французское недоедание с ужасами, царившими в СССР в голодный год, когда смерть так косила деревни и села, что между ними зарастали травой дороги, когда людоедство перестало быть случайностью, и выработалась даже особая кулинария, — начинали есть всегда с головы, которая скорее портилась. Полная повесть об этой године еще никем не написана, счет еще не предъявлен, — и уже это время забывается и забыто. Тогда от голода умерло в Поволжье пять миллионов людей — плевое дело для многомиллионной России. Люди считали себя счастливыми, когда находили «питательную глину», особенно жирную, которая давала ощущение некоторой сытости и не сразу убивала. Я сохранял образчики хлеба из лебеды, коры, навоза, с примесью той же глины, — как жаль, что они погибли и не украсили музея. Отбросив политику, люди «духовного нейтралитета» ринулись на помощь голодающим, — наивные люди. Далее следует поголовный арест этих «нейтральных», долгая тюрьма, ссылка и, для некоторых, остракизм — жизнь за границей. История не написана, но она должна быть написана; не хотелось бы умереть, ее не дождавшись. Знает ли мистер Хувер, какое счастье не быть арестованным и не ждать расстрела за организацию помощи голодающим? Вряд ли это когда-нибудь приходило ему в голову!

Аполитичной, бесстрастной, нейтральной должна бы, кажется, быть чистая наука. Пользуются образом Архимеда для выражения равнодушия к проходящим событиям: «Не тронь моих чертежей». Правильно ли? Легенда говорит только о его равнодушии к смерти. Но та же легенда утверждает, что Архимед был первым из ученых, позволивших себе определить науку на службу войне; ему приписывается изобретение системы стекол для воспламенения солнечными лучами неприятельских судов. Хотелось бы оправдать Архимеда:

пусть он изобрел только зажигательное стекло, достаточное для закуривания тогдашних папирос, — предполагая, что люди его времени не были лишены удовольствия сладкого самоотравления. И еще — бесконечный винт, зубчатое колесо и систему подъемных блоков. Сохраним уважение к науке.

Образом бесстрастия мне скорее представляется земледelec, один из тех, которые сейчас, ровно и методично налегая на заступ деревянными сабо, переворачивают ком земли книзу зеленой молодой травой, или заботливо остригают виноградную лозу, оставляя, по здешней системе, только один-два побега на низкой толстой культияпке. В молчаньи весенних полей — одинокие фигуры, к которым невольно чувствуешь величайшее почтение. И больше старики — молодежь французская в плену, а юношество, только что мобилизованное на сельские работы новым декретом, еще не организовано и не отправлено на помощь отцам и дедам, — декрет слегка запоздал к пробуждению природы. — О чем эти люди думают? О возможности летней засухи или, наоборот, лишнего изобилия дождей? О скудости фосфатов для удобрения и трудности достать бордосскую жидкость для борьбы с вредителями? И хотя в наших пограничных краях небо не перестают бороздить германские военные самолеты, но мысль крестьянина не занята их полетами. Только иногда подымет голову, неодобрительно взглянет — и снова копает, мотыжит, приводит в порядок прошлогоднюю лозу. Ему нет никакого дела до Балкан и до среднего Востока; нет ему дела и до расовых вопросов или замены фригийского колпака Марианны — диктаторской «франциской» и маршальским жезлом. Кстати, франциска, боевой топор, была в одинаковом употреблении у франков и у германцев. Очень подходящий символ для сотрудничества.

Крестьяне — единственная порода людей, знающих истину если не абсолютную, то во всяком случае неизменившуюся с тех пор, как период кочевой и скотоводческий сменился оседлым и земледельческим. Исто-

рия катается по полям тяжелым обозом, но следы ее колес всякий раз перекапываются и сглаживаются. Самое большее — плуг наткнется на осколок снаряда; пахарь наклоняется, подымает его и швыряет на межу; на минуту какая-то беглая мысль о современном чиркнет по бороздкам его мозга — и опять зароется в комья влажной весенней земли.

Образы могут и обманывать. Но это не важно; важно, чтобы они действовали на нас успокоительно. И чтобы хоть иногда пробуждали в нас надежду на то, что «всё минется, одна правда останется».



**ПРОТИВОРЕЧИЯ**



Стараясь разобраться в происходящем и определить свое к нему отношение, мы пользуемся упрощенными понятиями. Обычно мы прежде всего присоединяемся к одной из борющихся сторон и ей приписываем все качества, которыми наше присоединение оправдывается. В дальнейшем мы доверяем ей, лишая всякого доверия сторону противную. Такое упрощение удобно тем, что оно не вызывает в нас внутреннего разлада. Люди партии, нации, страны легко делятся, как на страшном Суде, на овец и козлищ, на добрых и злых, дружественных и враждебных нашему строю идей, на служителей Бога и сторонников дьявола.

Это, конечно, неправильно. Между днем и ночью бывают предрассветные и предзакатные сумерки; добро и зло имеют формы переходные и смешанные, и огромное большинство людей принадлежит к типу среднему между ангельским и демоническим. И правды единой нет, как нет незыблемой истины. Кроме того, при нравственных оценках, мы с трудом отличаем злую направленность воли от ошибок разума и заблуждений совести. Если относительно себя и данного времени возможны ясные и обоснованные заключения, то в отношении человечества и его будущего мы бродим в потемках, так как будущее не реально, лишено всякой плоти, и мы не можем знать, что станет благом и что злом для наших потомков. Так, например, одни искренно считают, что человек будущего оправдает свою жизнь полной уступкой прав своей личности коллективу, в то время, как в глазах других это было бы величайшим несчастьем и источником страданий и личности и са-

мого коллектива. И что считать счастьем, что несчастьем для человека? Счастлив ли рабочий муравей, лишенный целого ряда естественных органических потребностей и не сознающий этого лишения? Если, как в утопическом романе покойного Е. Замятина «Мы», хирургически устранять у человека его тягу к проявлению личности, — назовем ли мы это счастьем и пожелаем ли такого счастья для себя?

В мире происходит кровавая борьба двух идей, кажущихся нам отчетливыми и резко противоположными, и каждый определяет их по-своему. Одним война представляется спором между демократией и диктатурой. Для других она — столкновение рас германской и англо-саксонской с участием на каждой из сторон сочувствующих или вынужденных. Третий вам объяснит, что это междоусобица двух империализмов, борющихся за господство на суше и на море. В бесконечных официальных толкованиях мотивов войны одна сторона твердит, что она борется за свободу и за мир народностей, отстаивающих свое право на самоопределение и самостоятельность жизни, другая доказывает, что это — мощный протест молодых и жизнеспособных народностей против засилия выродившихся народов, захвативших все богатства и жизненные пространства. И еще иные скажут, что это последний бой между статикой и динамикой, между золотом и трудом, принципом равенства и принципом иерархии, идеей свободы и идеей авторитета. Примечательно, что большинству происходящая схватка кажется явлением новым, небывалым и впервые ставящим перед человечеством ряд сложнейших вопросов, решение которых сделает мир иным, чем он был прежде.

Буря и неясность этих вопросов, утомляющих сознание, вызывают естественное желание свести их к

упрощенным представлениям, поделить все на черное и белое, правду и неправду. Но стоит взглядеться и вдуматься пристальнее, и правда станет спорной, в неправде появятся оттенки законных оснований. Демократия борется с диктатурой, — но первое, что вынуждена делать демократия, это — ограничивать себя и давать власти исключительные полномочия, близкие к диктаторским; нельзя, с другой стороны, отрицать, что диктатура, утверждаясь насилием и террором, в дальнейшем держится всё же признанием и поддержкой большинства населения (Германия, СССР). В какие-то моменты народы, воспитанные в принципах демократии, с необычайной легкостью и почти без протеста принимают единоначалие, устраняющее их от всякого участия в управлении страной; достаточен пример Франции, с полным равнодушием принявшей перемену конституции, отмену выборного начала, уничтожение парламента и сената, политическую цензуру и ряд ограничений гражданской свободы, приведших к тому, что в полосе, занятой неприятелем, в некоторых отношениях (например, в смысле свободы передвижений и сношений почтовых), стеснений оказывается гораздо меньше, чем в полосе свободной. Что касается до «главы государства», который облечен всеми правами и возможностями диктатора, то его популярность и безграничное к нему доверие не подлежит никакому сомнению, — правда, относится это не столько к системе, сколько к личности диктатора. Во всяком случае это — факты, мимо которых нельзя пройти, над ними не задумавшись и не попытавшись найти им объяснение.

Старые народы утверждают, что они хотят свободы и мира и потому подняли оружие против системы, опирающейся на насилие и грабеж. Молодые народы возражают, что они задыхаются без жизненного про-

странства и протестуют против захвата народами старыми власти над миром. Кто прав? Война в разных ее этапах подтвердила беззастенчивость «системы насилия», уже уничтожившей мирное существование целого ряда европейских государств во имя жизненного пространства. Но в том, что жизненное пространство необходимо Германии и Италии — этого «старые народы» не отрицали, как нельзя отрицать и того, что Англия была настоящей владычицей морей. С другой стороны — почему народы германский, итальянский и даже японский должны считаться молодыми, а их противники — старыми? Это только словесная игра, не имеющая никакого подлинного смысла. Югославия, недавно создавшаяся, имела, конечно, больше прав на звание государства «молодого народа», чем Германия, и можно ли называть, например, канадцев старым народом... И не новый ли мир, Соединенные Штаты, дает пример образцовой демократии? Кто старше, Япония или Китай, на жизненные пространства которого она покушается?

С той же демагогической легкостью Германия, страна капиталистическая и жадно стремящаяся к империализму, выступает против капитализма и империализма Англии. Стремление «нести культуру» в страны колоний, т. е. уничтожать их собственную культуру и фактически истреблять черные расы, — не обще ли это для обеих борющихся «идей»? Кто поработитель и кто освободитель африканских народов, чье иго для них предпочтительнее. Внутри самой Европы, всегда под знаменем света и свободы, насильственно освобождаются народности от прав на самостоятельное существование, при чем одна сторона благодетельствует их огнем и мечом, другая, во имя их спасения, играет их судьбой, не будучи в силах оказать им настоящую помощь.

Борьба труда и капитала. Но вот частный капитал исчезает и на смену ему приходит капитализм государственный. Приносит ли это труду хотя бы раскрепощение? В СССР, накануне двадцатипятилетия гигантского социально-экономического переворота, рабочие лишены права свободного выбора «хозяина», права передвижения, и условия их жизни несравненно хуже, чем в Европе и в Америке, в странах капиталистических. Там же до сих пор применяется труд принудительный, рабский. Война, несущая освобождение труду, прежде всего опутала его ограничениями. Германия живет сейчас трудом поработанных ею народностей, вынужденных помогать ей против своих соотечественников. Там, где нет прямого законодательного принуждения, оно предписывается обязательством «патриотизма», чувства прекрасного, когда оно свободно. Наци называют себя социалистами, — что может быть лицемернее такой игры соблазнительным словом? И кто не играет другим, еще более соблазнительным словом «свобода»?

Борьба рас? Редкий из народов Европы не представляет из себя такой путаницы кровей, в которой не разберется ни историк, ни микроскоп. Французы, которым приходится, во имя сотрудничества, обзаводиться германскими эрзацами, пытаются определить свою расу, являющуюся производным от скрещенного ряда прошедших через Францию народностей; в результате они приходят к убеждению, что они... французы, т. е. жители определенной территории, объединенные общей историей и прочными навыками; большего никто сказать не может. Недавно один искренний исследователь высказал соображение, что для охраны французской расы необходимо бороться против фабрикации ангелов (абортов), против сифилиса, алкоголизма, ввоза кокаина, ухода сельской молодежи в

города и распада семьи. Справедливо и нечего возразить, кроме того, что «раса» тут непричем, что всё это чрезвычайно нужно и полезно семье негра, женатого на польке, бабушка которой была еврейкой, а прадед эфиопом. Но если то, чем считают себя славными немцы, есть результат чистоты расы, то можно ли не пожелать им скорейших усиленных скрещений с кем угодно, за исключением человекоподобной обезьяны, которая не внесет больших изменений в их расовые признаки. И если две расы, будь то германская и англо-саксонская, борются одним оружием, стараясь лишь превзойти друг-друга его убийственностью, если цель у них одна — ослабить, уморить голодом, истребить друг-друга, то вопрос должен ставиться не о преимуществах одной из них перед другой, а о том, какое между ними можно найти различие, в чем оно выражается, какая система стекол даст возможность его усмотреть.

Борьба права и силы? В этом противоположении заложено самое большое недоразумение. Всякое право создается, санкционируется и защищается силой; когда оно бессильно себя защищать, оно перестает быть правом. Народ, страна, имеют право на самостоятельность, пока она у них не отнята. Здесь нужно говорить не о праве, а о справедливости, понятии порядка нравственного, никого не обязывающем, для каждого своем. Старый мир верил в законы человечности, новый мир смеется над ними, хотя злоупотребляет их соблазнительными формулами, всё в тех же демагогических целях. Вообще же нет такого нравственного положения, которое каждый не мог бы истолковать в свою пользу — со всеми практическими выводами.

При любой степени скептицизма всё же нельзя не признать, что война, причины которой многосложны и глубоки, могла быть избегнута, если бы ее не вы-



звала вспышка чувства справедливости, резко поруганного; отрицать это могут только те, кому необходимо, ради вульгарного упрощения понятий, всякое историческое событие объяснять материалистически. Возможно даже, что нам довелось присутствовать при последнем случае проявления человеческой коллективной совести, не считающейся с благоразумным расчетом, при акте рыцарства, который уже никогда более не повторится, чем бы ни закончился кровавый спор. Но, став на эту точку зрения, нам, свидетелям не только подвига, но и разгула низких страстей, захватничества, ударов в спину слабым, пришлось бы делить все народы Европы на совестливые и бессовестные, венчая эллинов и сербов лаврами, предавая презрению русских и венгров. Кто осмелится на такой огульный суд? Он был бы такой же ошибкой, как осуждение Франции, сложившей оружие не по прихоти правящих лиц, а общенародному требованию, что не помешало ей остаться преданной идее защиты нарушенной справедливости. И почему тогда весь мир, с негодованием отнесшийся к политике СССР, продолжает явно или тайно возлагать на него последние надежды, сознавая при этом, что за такую помощь идее «справедливости» пришлось бы заплатить прежде всего признанием и утверждением произведенных Россией захватов?

Такова сложность и путаница антагонизмов, среди которых мы живем и вынуждены мыслить. Но напрасно думать, что они — принадлежность только нашего времени. Они стары, как мир, и не могут быть разрешены, так как их источник — не только несовершенство человеческой природы, но и несовершенство правды и справедливости, их временность и относительность. В прошлой истории мы не только оправдываем, но и возводим в подвиг то, что для своего времени возмущало коллективную совесть, если, конечно, можно называть этим

термином мнение культурного большинства. И никто не предугадает, какую оценку современным нам событиям дадут наши потомки, на чьей стороне они усмотрят правду. Это, конечно, не значит, что мы должны предугадывать их суд и, применяясь к нему, отказываться от наших оценок и свободных мнений. Если и нет абсолютной правды, для всех времен годной, то нашей сегодняшней правды это ничем не умаляет; для нас она священна и единственное мерило всякого проявления человеческой деятельности.

**О С К О Л К И**



Читаю во французской газете:

«Наша страна, по своему географическому положению, самая красивая в мире...».

Перечитываю, вдумываюсь. Почему это он, собственно? Пишет человек, который много путешествовал, значит видал не мало. Франция — приятная страна, и красивых мест в ней не мало, хотя ее «географическое положение» ничем не замечательно. Можно сказать «красивая страна» про Италию, про Испанию, про Швейцарию, — но не прибавляя «в мире». Потому что еще есть Норвегия, есть Далматинское побережье, есть Которский залив, есть Япония, есть остров Таити, есть еще сотни красивых и красивейших мест; я не говорю: «есть Россия», хотя в ней можно найти всё красивое, встречающееся в других странах... и на этом месте мои думы прерываются догадкой: знаю, почему он так пишет!

И Гоголь потому же писал в знаменитом своем отрывке: «Чуден Днепр при тихой погоде... и т. д. Редкая птица долетит до середины Днепра».

Тоже — преувеличение необъятное. Курица, конечно, не долетит, но курица не птица. Воробей не то что не долетит, а просто не полетит, это не его дело. Любая же перелетная птица перережет, не заметив, «голубую зеркальную дорогу, без меры в ширину (до километра), без конца в длину (2146 километров)». Справки: Волга — 3400 килом., Иртыш — 3712, Енисей — 4300, Лена — 4599. Но учтите любовь человека и его невольное прекрасное увлечение! Я, например, утверждаю и всегда буду повторять, что Волга — приток Камы, впадающей в море. Ибо я родился на камских берегах.

Все армии называются обычно «доблестными и непобедимыми», а итальянская сверх того «покрывшей себя неувядаемой славой», хотя не существует в Ев-

ропе армии, которая хоть раз в истории не была бы поколочена; за исключением ватиканской, вооруженной аллебардами, а в последнее время ружьями столетнего образца. Все национальные литературы — величайшие, даже литература народов Коми и Мари, обижающихся, когда их соответственно называют зырянами и черемисами. Один москвич возмутился, когда иностранец сказал ему, что в Париже есть метро. В бытность мою в Черногории, еще самостоятельной стране, я спросил черногорца: есть у вас знаменитые художники? Он только свистнул — и повел меня знакомить. Я сказал: — Здравствуйте, П.! — Мы с П. вместе писали голую натуру в Римской свободной школе; я кое-как сдал экзамен, хотя я бездарен и едва держу в руках уголь; П. провалился и уехал на родину расписывать потолки. Люблю повторять рассказ про мою знакомую нижегородскую девицу, которую спросили за границей: а сколько в Нижнем Новгороде жителей? Она, не колеблясь, ответила: — Кажется, около четырнадцати миллионов. — Неужели? — А что вы думали? — Правда, она сказала это по неопытности, сама точно не зная, но уж раз сказав, твердо стояла на своем и впредь. Потому что она была, чорт возьми, настоящая патриотка, как черногорец, как Гоголь, как москвич, как житель географически прекраснейшей в мире страны.

Когда вы читаете военные бюллетени, вам ведь не нужно справляться об источнике сообщения, вы и так догадываетесь, по характеру текста, кто его писал. Если наш налет, то удачный, если их — сущие пустяки, т. е. разрушен госпиталь, церковь, музей, убиты женщины и дети. И это — ложь лишь на две трети, на третью треть патриотизм.

«Творческий гений нашего народа», «великие традиции нашей страны». Был я однажды в русском губернском городе, где только что замостили булыжником главную улицу. Городской голова, вынув из кармана клетчатый платок и приготовившись, спросил меня:

— А что, скажите, вы вот катались по заграницам, — видали вы там такую мостовую?

Я с ужасом ответил, что не видал.

Тогда он громко прочистил нос и сказал:

— То-то и есть. Вот и напишите об этом в газетах.

Я забыл и не написал. Теперь вспомнил и добросовестно записываю.

---

История двух германских солдат. Я согласен предположить, что они не немцы, а чехи, поляки, вообще славяне, взятые в Австрии по набору. Они, со своим отрядом, несли охранную службу на границе полусамостоятельного государства. Они не были достаточно проникнуты германским патриотизмом. Им, сверх того, не хотелось умирать, а их отряд должны были скоро отправить на линию боя. Здесь, на временном отдыхе, они знали, что пограничную линию переходят беглые военнопленные, бельгийцы, французы, англичане, поляки. Раз перейдя, эти беглецы уже спасены, — их не выдадут. На их совести были случаи, когда они могли бы выслужиться, задержав слишком неопытных или слишком дерзких смельчаков, — но они не сделали этого. Они испытывали острое удовлетворение от сознания, что благодаря им люди спаслись и теперь вне опасности. Болтать об этом нельзя, но можно, стоя на дежурстве, смотреть в сторону, где нет войны, так утомившей и тело и душу. Дезертирство не казалось им преступлением, — война ведется против интересов народа, к которому они принадлежат по крови; они участвуют в ней, как рабы, а не как убежденные. Пусть их интернируют, это всё же лучше, чем кормить собой рыб где-нибудь в Ламанше или кончить самоубийством. При таком настроении им всё равно не выдержать долго и не миновать военного суда.

Сговорившись, они решили бежать, и это было очень просто, гораздо проще, чем пробраться через

границу военнопленному. Бежать решили под утро, перед рассветом. На той стороне не скрываться, а просто явиться к местным властям и признаться во всем откровенно. Они не хотят воевать и готовы на всё иное, вплоть до тюрьмы. Но если уж воевать, то не на той стороне, которая одела их в солдатскую форму. Их должны понять.

План побега оказался слишком сложным: всё вышло еще проще, чем они думали. Рано утром они были на той стороне, на улицах пограничного города, где первый же встречный, поняв, что это — беглецы, указал им, куда они должны явиться. Поблагодарив, они легко вздохнули и вошли во двор дома, который им указали. Там было много солдат, были и беглые военнопленные, их соотечественники. Их расспрашивали, им дружески жали руки. Затем их провели к начальству, которое допросив и составив протокол, отправило их под арест. Но ведь это только для формы?

На заре другого дня, когда на улицах еще не было прохожих, их отправили под конвоем тех солдат, которые жали им руки. Солдаты были смущены, мрачны и не говорили с ними. Солдат должен исполнять, что ему приказано, что бы ни говорила ему совесть. Их довели до германского поста и взяли расписку в получении. Они не сопротивлялись, были бледны и ничего не понимали. Они даже пробовали улыбаться, — всё это было так похоже на шутку. Их дальнейшая судьба неизвестна.

Конвойные вернулись, между собой не говоря. Не отвечали и на расспросы товарищей. Да и расспрашивали их мало и не настойчиво.

Так рассказывали в нашем городке; мужчины молчали, женщины ахали. У нас ходит много разных рассказов, часто невеселых.

---

Когда я выхожу в огород, прополоть кудрявую морковь, промотыжить гряду лука — растущее богат-



ство, на нижнюю ветку вишни вспархивает откуда-то зяблик и кричит мне на своем языке непонятное, вероятно угрозу, что — в случае чего — он проявит чудеса героизма и самоотвержения. Должно быть у него поблизости гнездо. Мы мало-помалу знакомимся и я, продолжая заниматься полезным делом, вступаю с зябликом в беседу. Я разъясняю ему, что ничто на свете не прочно и что в какой-то момент он может так же легко потерять гнездо, как я потерял свое, гораздо более солидно устроенное. Он отвечает, что наши военные дела его совершенно не касаются, и он нейтрален. Тогда я рассказываю ему историю.

Эта история — один из многих случаев. Что такое зяблик? Хрупкая пичуга. А существуют львы, тигры, леопарды, медведи — звери сильные и страшные даже для человека. В городе Бельфасте, в Ирландии, они сидели в зверинце по клеткам, или отделенные от зрителей глубокими рвами. Они тоже считали себя нейтральными, хотя в действительности были пленными. Когда же, однажды, на Бельфаст случился налет бомбовозов, директор зоологического сада обеспокоился — и еще больше испугались городские власти. Ведь если бомба упадет в саду, она может не только убить зверей, — это еще полбеды, — а может освободить их, что представляет большую опасность для жителей города. Сделать для них подземные убежища? Но им невозможно внушить скрываться всякий раз, как завоют сирены, — а держать их всегда под землей — верная и медленная для них смерть.

Особенно было жаль директору бенгальского тигра — огромный и редкий экземпляр. Да всех, в сущности, жалко; жалели их и сторожа, приставленные к зверям и давшие каждому кличку.

После совещания были приняты меры. Их выполнить решили при последней кормежке. В клетки зверей принесли по изрядному кусу свежего мяса, и сторож, просунув сквозь толстые прутья решетки порцию больше обычной, сказал ласково тигру:

— Ну, Томми, уже поешь в последний раз.

Как всегда, звери бросились на мясо с жадностью и рычаньем, а сторожа отошли в сторону, чтобы лучше уж не видеть; дикие звери были для них словно бы как дети, особенно бурый медведь, хоть и великан, а существо, в сущности, добродушное. Яд был очень сильный, и ждать пришлось не долго.

Так что вот, зяблик, какие дела. Кстати сказать, и птиц сейчас сильно посократили повсюду — очень дорога кормежка, и людям самим зерен недостает. Летай себе, пока, свободно, а за будущее никто поручиться не может. Летая, оглядывайся на кошку.

Он присмирел и перестал насвистывать свои любовные и свои военные мотивы. Страшна кошка — люди страшнее.

---

Это — как бы сказочки для детской хрестоматии, где всегда не мало места отводится делам военным — подвигам героев, гению полководцев, патриотизму, защитных шинелей, рвущихся в бой. Вряд ли в новые учебники внесут и новые сюжеты, характера мирного трудового, человеческого. Был, между прочим, проделан в одной семье опыт внушения детям ужаса и отвращения к войне, насилию, убийству. Им рассказывали — даже без необходимого смягчения — о том, как шальной снаряд калечит и убивает мирных людей, детей и женщин, как разрушаются многоэтажные дома и под развалинами гибнут целые семьи, иногда смертью медленной, как вообще ужасна война, сколько она приносит бед и несчастий и побежденному и даже победителю. Дети слушали с вниманием величайшим и были взволнованы, — многое, очевидно, запало им в душу. После между собой шептались, что-то такое соображали, и на другой день старший мальчик попросил отца:

«Купи мне, папа, ружье, мы будем играть в войну, и я буду офицером».

# **ПЕЩЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК**



Провал человека современного ставит на очередь вопрос о восстановлении чести первобытного человека. Это чувствуется, и иные ученые люди уже начинают признаваться в несправедливом к нему отношении. Он сумел завоевать место в истории искусств, и не только блеснул техникой рисунка и архитектурными талантами, но и успел создать школу художников, преклоняющихся перед ним до слепого подражания. Ему может позавидовать любая художественная и ремесленная историческая знаменитость, так как ничьи произведения, удавшиеся или бросовые, законченные или только в наброске, хорошо сохранившиеся или пришедшие в полную ветхость, при том никогда не подписанные, не собираются с такой тщательностью, как его, будь то рисунок, каменное орудие, наконечник стрелы или точило для бритвы, или просто удобная подставка для ноги, когда первобытная женщина делала себе педикюр. Высок и интерес к его физической личности. Черепа великих мыслителей и деятелей, разбивших или покалечивших десятки тысяч себе подобных, покоятся в склепах и саркофагах или, чаще всего, долетают в земле, — черепа людей первобытных собираются, как высокая ценность, нумеруются, изучаются, вымериваются и сохраняются в великом почете, защищенные впредь от натиска неумолимого времени. И нет большего огорчения для археолога, как если берцовая кость, им найденная, оказывается, на проверку, отбросом ближней скотобойни, подкинутым его соперником по университетской кафедре.

Нам знакомо уже очень отдаленное от нашего времени искусство. Исследователи горных недр, в особенности течения скрытых ручейков и потоков, открыли тайные пристанища (если только не художественные студии) пещерных людей, без центрального отопления и

следов мягкой мебели, но с необыкновенной росписью стен за двадцать и более тысячелетий до нашей эры. Вся прелесть, конечно, в бездоказательности, так как не каждый обитатель пещеры, чувствуя приближение смерти и заботясь об установлении точной ее даты, догадывался класть рядом с собой труп или кости зверя своей эпохи, мамонта, пещерного медведя или, хотя бы, ангорской кошечки, которую так любила его жена. Мог в пещеру забраться ученик местной приходской школы и, на досуге, начертать на камне перочинным ножом портрет знакомой коровы, впоследствии удачно сошедший за слона, бывшего предметом поклонения и религиозного культа. Но, шутки в сторону, рисовали эти пещерные люди поистине замечательно, лишь не соблюдая перспективы, так как их единственной перспективой было — поразить будущее человечество.

Чего мы совершенно не знали, это — нравственного облика отдаленных наших предков. Исходя из намеков на преклонение их перед крупным зверем, из отсутствия у них лампадок, кружек для бедных и морализующей литературы, мы приписывали им чувства скотские и поступки противообщественного и даже уголовного характера. В этом было много недодуманного и непроверенного. В иных пещерах находили нагромождения человеческих костей, частью раздробленных, словно бы из них высасывали мозг. Но, дело в том, что такие же и много большие скопления костей будут найдены со временем под развалинами зданий нашего времени, в братских могилах, в отложениях земной коры и морского дна. И будут нашими потомками выведены нелестные о нас заключения, тоже, пожалуй, вплоть до людоедства, между тем как пока это еще не в ходу, хотя и внесло бы разрешение в продовольственный вопрос.

В общем мы до удивительности ничего не знаем о жизни наших доисторических предков. Только показатели внешние. Пещерный человек несомненно прятался, и очень тщательно, — как прячемся и мы при первых

завываниях сирены, прячемся гораздо тщательнее в любой час дня, а не только ради покойного ночлега. Кто может сомневаться, что в дальнейшем ходе нашей культуры города переселятся под землю, где будут заводы, продовольственные склады, музеи, детские приюты и дома для тех, кого мы не без смелости называем умищенными. Будут там, конечно, и улицы, всё ниже и ниже, в соответствии с развитием военной техники. Пещерный человек защищал себя от диких зверей, которых мы теперь содержим в зверинцах, воплотив их образ в ближних и дальних наших соседях, от которых приходится защищаться. Пещерный человек, повидимому (хотя доказательств нет, ибо всё тленно), презирал одежды, во всяком случае нашего фасона и материала. Но был иным климат, и он чувствовал себя не более несчастным, чем в нашу зиму дама в тонких чулках и короткой юбке. Пещерный человек не знал автомобиля и самолета, — но он мог не иметь в них и надобности, не чувствуя ни спешки, ни утомления и совсем не желая портить воздух бензиновым перегаром. У пещерного человека не было литературы — и здесь я натягиваю вожжи нашей расказакавшейся мысли: что такое литература?

Недаром сказано в первых строках священной книги: «В начале было Слово». Печатный станок убил искусство письма, как оно в свое время убило камень. Камнем было первое слово, оставленное для потомков человеком, когда впервые он почувствовал потребность продлить в веках свою мысль. Камень на камне, притесанные или только приложенные, были уже понятием или фразой, пока здания не стали поэмами. Моисей в пустыне видел эти записи прошлого, нагромождения каменных знаков, еще «не связанные железом», как свидетельствует Библия. Еще без начертаний, эти каменные строки, грубые по виду иероглифы, стали произведениями мудрой мысли, пока пирамиды, своим пространством, счетом глыб, соотношением с миром звезд, тысячей нам до конца неизвестных намеренных услов-

ностей, не представили книгу астрономии, философии, счета, точных мер и постепенно исполняющихся пророчеств. В них начала геометрии, в них почил чистая поэзия. Вплоть до изобретения печатного станка, сбросившего мысль с ее подзвездных высот, литературой была каменная и деревянная архитектура — ее остатки, от времен древнейших, живы в мерзлотах Сибири, как и в пампасах Америки. Доисторический писатель был вольным каменщиком, — горе современному, им быть переставшему. Та азбука нами забыта, и мы наивно и неверно читаем пещерные рисунки, древние циклопические постройки, долмены, позднейшие пагоды и храмы. Слово, вначале бывшее, потеряно в веках, — и нам искать его, а не говорить, что не было литературы у косматого предка; у него не было только наших военных бюллетеней, писанных для толпы дешевыми и лживыми иероглифами.

Он был поэтом неизмеримо выше монпарнасских, не возбуждая себя ни кофеем, ни кокаином и не подписывая стопки тесаных плиток своим именем, которое никому не нужно — нужна лишь векам завещанная мысль. Из этих каменных стопок выросли впоследствии парфеноны и готические соборы, — как же мог он, еще в пещерах владевший дивным резцом, быть зверем, как мы хотим его изобразить? Он мог убить ближнего, нуждаясь в его самке, нашей пра-пра и т. д. бабушке, но не кидал зря многотонной скалы на головы тех, кто не делал ему зла. Его самка вылизывала своих детей, а не истребляла их на фабрике ангелов. И он жил свободной особью, не путая себе ног своими же законами и не ставя никого командовать и управлять собой и судьбой своей семьи. Мы несправедливы к пещерному человеку, и неправильно толкуем лицевой угол и кости его черепной коробки.

Поэзия и нравственность тесно связаны с религией; и мы говорим, попрежнему ничего не зная: он был грубым язычником, первобытный человек, он мо-



лился им же поставленной каменной глыбе, он превращал в богов всё, что его страшило или было недоступно его пониманию: солнце, стихии, небесные явления, зверя, дерево, огонь. Ему неизвестно было единобожие и единый нравственный закон. Так говорят величайшие многобожники и поклонники самодельных идолов, ведущие за них кровавые войны. Идол — золото, идол — нефть, идолы — политическая идея, государственный строй, демократия, раса, нация, право, закон, суд, полиция, общество, пролетариат, футбол, портрет вождя и кинематографическая звезда. У нашего предка был бог один — природа в ее красоте, силе и необъяснимости человеческим разумом; там, где кончается знание, начинается вера и посвященное постижение творца, поэта, мыслителя, и в какие это выльется формы — второстепенно, каждый создает свои символы и дает им свое толкование, и свою веру каждый вправе облечь и украсить своим ритуалом. И кончается вера там, где ее изъявления штампуются машиной для всеобщего обязательного потребления, продаются в публичной лавочке и, как случилось с иероглифом, превращаются в бездушную букву. Обращаясь в штандарт, вместе с верой умирает и нравственность, из вольного порыва, своего у каждого, делаясь обязательством. И если пещерный человек был иным, чем мы, то он мог быть только цельнее, чище и выше нас во всех проявлениях своего духа, — как цельны и чисты линии мамонта, нанесенные им на пещерный камень и кость кабаньего клыка. Живя в самое бесцензурное время, в самых свободных условиях, он возмущенно бросил бы палицу во всякого, кто попытался бы начертать на стене не только «воспрещается», но и смягченнее: «просят не курить и не плевать».

Такова наша защитительная речь в пользу напрасно обижаемого и несправедливо судимого отдаленного предка, не пугавшегося родства с обезьяной, но отвергшего бы, конечно, всякое родство с современным человеком. Его история теперь тщательно изучается, и это правильно и может принести неистощимую пользу:

может быть, именно в далеком прошлом мы и найдем указания: как устроить свою жизнь и свои взаимоотношения, чтобы создать преграду надвигающемуся на нас с такой неумолимостью, вождями обещанному социальному блаженству?

└ **У Д У Щ Е Е**



(2. 5. 41)

Стараясь предугадать будущее, которое пока еще туманно, но уже вырисовывается грозным силуэтом, я не думаю о тех мыслителях и деятелях, веривших каждый по-своему в прогресс, которым предстоит перевернуться в гробах, — я мысленно вижу тех, кому придется стать перевертнями живыми. При самом большом оптимизме, при исполнении самых основных наших желаний, — всё равно придется поставить крест на прошлых наших умонастроениях, на понимании целей, на всем обиходе жизни.

Ветер на свои круги возвращается, но разбитая на мелкие куски посуда, как ее ни склеивай, служить не будет. Это — при высоком оптимизме, оснований для которого не много. Но позволь себе на минуту усумниться в том, что на свете есть справедливость и что зло побеждается добром, — и тогда придется готовиться к самому худшему, какое посылно создать наше воображение. И признак этого наихудшего уже готов схватить за горло людей нашего поколения, воспитанных если не в условиях, то в принципах уважения к свободе личности, в мечтах о социальном равенстве, в уважении к нравственным заповедям, в неприятии мирового господства грубой механизированной силы.

В полной картине трудно себе разом это представить, но каждый в своей личной жизни уже без особого труда предугадывает, один со смущенным недоумением, другой с настоящим ужасом. Прахом пойдет труд, которому отдана лучшая часть жизни, станут

или уже стали негодными и неосуществимыми планы дальнейшей работы, и многие, чья жизнь и деятельность немислимы без совершенно определенной идейной установки, окажутся у края пропасти, через которую не перешагнешь и не перелетишь никаким напряжением воли.

Не всякий способен уйти в себя или свое подполье, тем более, что будущее сулит нам не только препоны действиям, но и гонения на творческую мысль. Когда-то думали, что это не так важно, что мысль остается свободной, даже если тело в оковах; но это не верно, она так же ломка, как и человеческая воля; и речь здесь идет не о героических единицах, а о среднем человеке.

Что же будет? Будет самое печальное. Будет то, что сила вещей перегнет и переломит совесть. Произойдет сначала робкое и застенчивое, затем спешное и усердное перекрашивание, нам, русским, хорошо знакомое по нашей недавней истории. Мы называли это приспособлением. Осуждая, мы забывали или не хотели помнить, что приспособление — естественный закон, в явлениях природы подмеченный Ламарком, развитой Дарвином, в истории общественной подтвержденный итогами многих политических переворотов. Я не настаиваю на точности параллели, — пришлось бы сделать слишком много оговорок. Но — действительность перед глазами. С какой быстротой народы, гордившиеся своими свободными учреждениями, своей высокой и доказанной терпимостью к различиям национальным, религиозным, расовым, своим признанием свободы любого искреннего убеждения, — вдруг, испытав удар силы внешней, идеологически чуждой, или только опасаясь ее натиска, отказываются от всех недавних священных ценностей или, по меньшей мере, заявляют себя нейтральными, как будто в вопросах искания истины и справедливости возможен и допустим нейтралитет. Не все, — и в

истории народов еще остаются золотые страницы; не все, но огромное большинство, и не слабейших, а способных на наибольшее сопротивление. Не слабейшие ли, напротив, являют пример массового героизма? И не их ли клич «свобода или смерть» звучит еще прекрасным анахронизмом?

Судить народы — не наша задача; для этого нужно слишком хорошо и близко знать их жизненные условия и возможные силы их сопротивления. Но перед нами отдельные люди, высоко подымавшие голову, говорившие пламенные речи, призывавшие к «борьбе до конца», — и слинявшие с поспешностью, далеко превысившей инерцию полученного ими удара. И стыден не испуг (нет солдата, который не боялся бы бомбы), стыдна рождающаяся на лицах приветственная, хоть и кривая улыбка, первый жест перестраховки. Вторым этапом будет отказ от прежних связей, сознание «ошибок» в прошлом, пока, наконец, бунтарь не пойдет на поклон новому хозяину положения, который, подражая Ленину, скажет «в большом хозяйстве всякая дрянь может пригодиться». Раз сдавшись, человек прежде всего старается оправдать свою сдачу, объяснить ее не человеческой слабостью, а искренностью, обдуманностью, зрелостью мысли. Если есть возможность, он найдет в своем прошлом все данные для настоящего своего поведения, если это слишком уж неправдоподобно, он признает себя некогда совращенным и ныне прозревшим. И этот человек будет самым жестоким хулителем своих прежних сподвижников, их самым пламенным врагом, и самой верной собакой простившего его барина.

Как будто такой строгий суд не согласуется со словами о том, что на прошлом, каково бы ни было предстоящее, придется поставить крест. Придется. Нет истин неколебимых, нет методов безошибочных. Только застывшая мысль превращает в идолов ею же созданные ценности. Лучшее враг хорошего, и нет по-

ложения, которое бы не подлежало пересмотру, если сама жизнь подвергает его сомнению. Но есть разница между сознательным и свободным отказом от того, что могло казаться неприкосновенным, и изменой ему по чужому приказу, по боязни занесенной над головою палки, по соображениям корысти или просто — ради внешнего жизненного благополучия. В вечном творческом искании истины, в постройке здания лучших человеческих отношений, камень подбирается к камню, и строитель дорожит не канонами, — а общей гармонией, верностью основной руководящей идее, не опрокинутой рядом испытаний, оставшейся целью строительства. Природа, в своей эволюции, цели не знает, или она от нас скрыта, и приспособление происходит бессознательно; так, по крайней мере, говорит нам наука. В создании человеческого общества мы хотим руководиться ясным сознанием, тем отличая себя от всего остального живого мира. И, меняя методы приспособления, мы оставляем неприкосновенными высокие цели, во имя которых всё это делается, — тратится столько усилий и, порой, льется столько крови, всегда напрасной.

Будущее грозно. Оно может отбросить нас далеко и надолго по уже пройденному пути, как это много раз случалось в истории. То, что нам предлагают, как новый домысел, как последнее достижение социального творчества «молодых народов», может оказаться на проверку возвратом к формам изжитым и доказавшим свою негодность. Техника уничтожает пространства, но она же возрождает средневековые стены между странами и нациями, заставляя их оберегать себя стальными бронями и не только углублять города в землю, а и добиваться наилучших воздушных заграждений. Люди мечтали об общем, всем понятном языке, даже создавая его искусственно; но общим оказался только язык вражды и орудий, и напрасно пропали опыты международных предприятий, ученых съездов, широких мирных договоров, обмена духовными достижениями, выставок промышленности и искусства. Совершенно в



таком же положении оказывается и человеческая личность; ее призывают жертвовать своими правами коллективу, но этот коллектив не единение свободных личностей, а стадо, гонимое самоставленными пастухами. Это уничтожает и жажду и смысл жертвенности. И ей остается замкнуться в себе, как раку-отшельнику, найдя или создав себе неприступную известковую крепость, чтобы смотреть оттуда на сторонний мир с недоверчивостью и боязнью. Создается не трудовое общество, не пчелиный улей, символом которого так часто злоупотребляют, а в лучшем случае колония полипов, существование первобытное, неизмеримо далекое от того, каким наше будущее рисовалось лучшим умам и сердцам благородным. Значит, опять годы и годы, может быть века должны быть затрачены на то, чтобы из этого состояния низших существ переходить к более развитым формам, затрачивая на это энергию целого ряда поколений. Есть от чего идеологам прогресса перевернуться в своих гробах!

Как остановить этот новый откат нашей истории в средневековье? Его хотят остановить, выставив против силы силу, против кулака — кулак более тяжелый и сокрушающий. Трагедия нашего сознания в том, что мы не видим другого способа, чем этот, подсказываемый чисто-животным нашим состоянием, хотя и пытаемся исповедовать религию духа, побеждающего внешнюю силу — образ Георгия Победоносца. Только этот способ кажется нам единственным без потери времени, без отступления «на заготовленные позиции». Но мы знаем, что он может оказаться просчетом сил. И тогда перед нашими мечтами встанет образ другой, победы Давида над Голиафом, последней судороги слабых и уставших народов, которая также не раз решала слишком затянувшиеся споры, доказывая, что «король был гол».

По учебникам международного права, войны кончаются мирными конференциями. Учебники могут оши-

баться — или недоговаривать. Что бы ни произошло, прошлое, каким мы его знали, вернуться не может, и даже откат в века не был бы прошлым. Он был бы только показателем круговращения истории, вернее — ее спирального бега из неведомых нам времен — к временам еще более неведомым.

**ПРОТИВ РЕЧИЯ НА ТРЕНИИ**



(17. 5. 41)

В связи с войной вносится в человеческий быт так много изменений, что какие-то из них могут оказаться полезными и несколько смягчат общий отрицательный итог. Так, например, горожанин-европеец стал дышать лучшим, чем обычно, воздухом. Относительно Парижа, в котором нет автомобилей и не отапливаются дома, вычислено, что зимой 1941 года уличный воздух содержал почти вдвое меньше пылевых частиц, чем в 1939 году (60.000 против 112.500, при норме средних городов 34.000 и деревни 9.500). Оскудение продовольствия в городах вызвало отлив некоторого процента их жителей в деревни, к работам на земле, — что также способствует укреплению здоровья, во всяком случае смягчает последствия недостачи питания, но и ограничение питания само по себе оказывается полезным для тех, кто злоупотреблял жирами, сахаром, мучной пищей, в особенности пряностями; вынужденное вегетарианство также имеет хорошую сторону. Еще большее значение имеет трудность добывания спиртных напитков и дорогих, исключительно вредных, сортов табаку. Исчезли некоторые другие наркотики, как кокаин, морфий, опиум и проч. В том же Париже ограничена до крайних пределов ночная ресторанная жизнь, для здоровья губительная; во многих странах Европы перевод времени на два часа вперед дал выигрыш в пользовании дневным светом. Введение потребительных карточек создало известную степень социального поравнения, а общность переживаемых несчастий укрепила начала взаимопонимания и взаимопомощи. При добром заряде оптимизма можно найти еще много полезных последствий войны, ускользающих от внимания (например, рост познаний в области географии), но отрицательные следствия слишком подавляют зна-

чение положительных, служащих к ним лишь весьма слабой поправкой.

В области роста умственного сознания — вопрос очень спорен. Если даже считать это сознание независимым от принуждения и от разнообразных видов пропаганды, о его нормальном развитии говорить нельзя уже по одному тому, что лично испытываемые несчастья отклоняют мысль от заключений и выводов характера общего; неблагополучие и беспокойство духа — самые плохие учителя. Философское бесстрашие сейчас такая же или еще большая редкость, как чашка настоящего ароматного мокко. Вполне «не от мира сего» только люди, потерявшие память от ран и контузий. Государства еще могут называть себя нейтральными, но отдельный гражданин — сообразно своему умственному развитию, своим нравственным запросам, или по расовому и национальному родству, или по личным интересам, — неизбежно на стороне кого-то, кому он желает успеха и победы. Это сказывается и на его отвлеченных суждениях. Но — продолжая держаться линии оптимизма — одно полезное следствие натиска событий на сознание отметить можно; это — крушение косных уверенностей и пробуждение здоровых и плодотворных сомнений, антитез, без которых немислимо синтетическое мышление.

Сейчас очень затруднены наблюдения в больших масштабах; между европейскими странами, большинство которых лишено самостоятельной жизни, нормальное общение или невозможно или до крайности затруднено. Нет ни свободной, ни даже полусвободной печати, уста замкнуты, никакой «подсчет мнений» (на манер американского) невозможен; нет даже представительных учреждений, прежде дававших если не верную картину, то некоторый намек на эволюцию настроений в разных странах. Даже в пределах одной страны наблюдения могут быть только случайными и выводы из них весьма спорными. Мы живем в обстановке искус-

ственно создаваемых информации, когда за голос страны принимается ряд утверждений, рекомендуемых стране к принятию и руководству лицами, которых случай поставил во главе управления. Чтобы осведомиться о действительных мнениях, нужно в этой стране жить и почерпать их из непосредственного общения с ее населением, преимущественно сельским, как более численным и менее поддающимся случайным сторонним влияниям.

Франция представляет из себя сейчас любопытнейшую картину кажущихся противоречий. С одной стороны, ее объединяет общность перенесенного ею внешнего поражения, — удар по национальному самолюбию, полная неопределенность будущего, которое строится вне ее участия, жестокие экономические испытания, вплоть до голода, связанность инициативы. С другой — некоторая тень самостоятельности, какой другие покоренные страны лишены совершенно, слабая возможность договора с победителем и отстаивание своих жизненных и политических прав. Разделенная на две зоны, занятую и свободную, она в разной степени испытывает натиск чужой воли. В зоне занятой это чувствуется непосредственно и остро, в свободной в форме отраженной и несколько смягченной и пассивным сопротивлением и обычной чиновничьей волокитой. В тех случаях, когда какой-нибудь пункт «национальной революции» или «сотрудничества» носит явные признаки навязанности, его применение тормозится, может быть, и помимо прямой воли французских властей, проявляющих полную лояльность в исполнении условий перемирия. Такое различие условий быта создает оттенки в психологии населения разных зон. Эти оттенки проявляются в том, что в зоне оккупированной разложение общественной мысли сказывается резче и определеннее, в особенности в таком остром вопросе, как «сотрудничество» (в самом широком понимании). Для обывателей сельских районов, уже достаточно обобранных, не может быть двух мнений об экономи-

ческом сотрудничестве; для центров промышленных и городских вопрос стоит иначе, и шаг от примиренчества к действительному сочувствию для них тем более естественен, что война явно затягивается и ни на какое «чудо» рассчитывать не приходится; что касается до мотивов «чести», «патриотизма» и проч., то в противовес им давно уже выработано достаточно условных формул и хитроумных толкований, способных не только оправдать, а и возвысить до подвига любой недвусмысленный жест. Несколько иначе обстоит дело в зоне, именуемой «свободной», где давление извне передается отраженно, в скрытом виде и несколько смягченной, во всяком случае внешне, форме, и где остается некоторая иллюзия самостоятельности и возможности возврата к трудовой жизни во имя интересов личных и интересов Франции, а не ее завоевателей. До последнего времени незанятая часть Франции пользовалась — пусть в слабой степени — привилегией общения с внешним миром (почта, телеграф, даже иностранные газеты) и, как более осведомленная часть страны, могла окрыляться тайными надеждами на неожиданный поворот событий. Даже принципы «национальной революции», как бы к ним не относиться, представлялись продуктом внутренней, домашней политики делом самозащиты, а не смиренного подчинения. Правда, это положение меняется как раз в то время, как пишутся эти строки (официальное принятие «сотрудничества» со всеми последствиями, запрет иностранных газет и проч.). Во всяком случае здесь, в незанятой зоне, раскол общественного мнения не так резок, хотя также происходит преимущественно по линии деления на город и деревню.

Было бы чрезвычайно трудно с большей или меньшей точностью учесть степень приспособляемости и степень естественной оппозиции; еще более трудно в данных условиях об этом говорить и писать. Истекший год внес изменения в психологию населения, и усталость от лишений может действовать в двух противо-



положных направлениях, — как это и происходит на деле. Но нужно всё-таки помнить об общности испытаний двух Франций и общности источника ее бед. Малейший поворот во внешних военных событиях меняет временное соотношение общественных мнений, далеко не установившихся.

С дальнего расстояния наблюдатель-иностранец никак не поймет, что же это за страна, население которой повидимому без малейшего протеста, с полным внешним спокойствием соглашается на отмену демократических традиций, завоеванных борьбой поколений в целом ряде революций? Где прославленное французское свободолобие, расовая и религиозная терпимость, и духовная независимость, где привычка к свободе слова и печати, где навыки выборного самоуправления, недоверие ко всяким неограниченным полномочиям власти, где, наконец, простая гражданская гордость? Даже учитывая силу испытанного в поражении нравственного удара, ослабившего сопротивляемость и направившего внимание на экономические недомогания, учитывая боязнь открытого вмешательства победителей во внутренние дела, — всё же можно было, как будто, ожидать хоть каких-нибудь внешних проявлений недовольства, яснее выраженной оппозиции, сверх подпольной коммунистической, которая ни в какой степени не выражает настроений широких слоев и подчинена директивам зарубежным. И наблюдатель недоумевает. Но он должен прежде всего учесть то, что мы назвали «крушением уверенностей» и «рождением сомнений». Оно может и не касаться основных традиций, несколько туманно выраженных прежним государственным девизом «свобода - равенство - братство», но понимание и практическое осуществление этих принципов несомненно поколеблено в гражданском сознании, уже тем одним, что демократические учреждения в их реальной форме себя не оправдали. Нужна какая-то коренная их реформа, хотя, может быть, и не совсем та, или даже совсем не та, что предлагается сейчас под

титолом «национальной революции». Но если естественно немедленное крушение старого, то для строительства нового время еще не наступило, — и это сознает всякий; торопливость нужна только тем, кто боится упустить время и не воспользоваться замешательством страны для осуществления под сурдинку или явным натиском, под покровительством чужеземной силы, своих старых реакционных мечтаний. Широкие слои населения готовы терпеть любые опыты в этом направлении, лишь бы как-нибудь просуществовать стране в эпоху безвременья, определяемого длительным состоянием «перемирия», своеобразного висения в воздухе, которое никакая перемена во внутреннем строе преодолеть не способна.

Таким образом, с одной стороны — ощущение временности и непрочности внутренних реформ, с другой — полная неизвестность, сколько еще времени придется оставаться в том же положении, вызывают противоречия настроений, в которых разобраться очень трудно. В конце концов люди привыкают ко всему, даже к рабству; если не привыкают, то приспособляются. И никто не предскажет, в каком состоянии умов застанет Францию окончание войны или, хотя бы, освобождение ее территории от загостившегося бывшего неприятеля, пригласившего ее к сотрудничеству во всяком случае не из чисто-гуманистических побуждений.

**УДУЩИЙ ПЕРЕДИТЕЬ**



(17. 5. 41)

В затянувшейся и грозящей затянуться еще на года борьбе между Германией и Англией всё более выясняется лицо будущего победителя: СССР.

Не России, которой эта победа не нужна, и не Сталина, мудрость политики которого в выжидании и подзуживании. И не коммунизм победит, потому что уже давно нельзя называть коммунистическим государственный строй СССР. Победит символ, икс, неизвестное, последняя надежда усталых европейских народов, и не одних европейских. Всё испытано, ни в чем не найдено спасенья: ни в демократии, ни в правлении вождей, ни в помесях социализма с капитализмом, ни даже в религии военной силы. Остается неиспытанным только то, что дал русский опыт, и что, по его огромности и непонятности, до конца не изучено и, для незнающих его, полно соблазна. Пока это было страшным — потому что страшен и кровав русский опыт! — оно отпугивало многих и привлекало таинственностью и красотой обмана только людей социально-обездоленных, которым нечего терять; но когда пришлось пережить не менее страшное — нынешнюю войну, сокрушившую повсюду и гражданскую свободу, и устойчивость быта, и все крепости личного благополучия, когда сокрушились все кумиры и удар испытали все общественные классы, — стало всем нечего терять, и русская соломинка выросла в глазах многих в спасительное бревно. Побеждает не реальность, побеждает предположение, загадка, заманчивость надежды. Хорошо ли это, плохо ли, — не в том дело; важно, что это ново и не испытано, следовательно не опровергнуто. Не может завершиться обычной «мирной конференцией» борьба на истощение. Она окончится истощением и всем тем, что за ним неизбежно воспоследует, какие бы временные подкрепления ни ставились, каких бы марио-

неток ни сажали на вакантные престолы, какие бы ни подготавливались обновленные географические карты. И тогда СССР, огромная страна, сохранившая и людей и силу, внезапно окажется оазисом в мировой пустыне, сохранившим и людей и силу, единственным победителем, к которому и сейчас уже протягиваются руки и устремляются чаяния.

Можно этому сочувствовать или не сочувствовать, можно видеть в этом выход или конечное крушение, — дело вкуса и политических взглядов. Одно не нужно забывать: в «русском опыте» убито не мало исторических чаяний, и принципы великой французской революции, создавшей современную демократию, и иллюзии парижской коммуны, давшей имя коммунизму, и даже весь строй политических идей, подготовивших великую революцию русскую в том виде, как она представлялась поколениям ее идеологов, — но в том же опыте разрешено не мало вопросов, в клубке которых запуталась и завязла современная европейская мысль: вопросы расовый, национальный, религиозный, и все, сопряженные с господством капиталистического строя, разрешены несовершенно, но во всяком случае решительно и необратимо; нерешенным, или, справедливее сказать, утвержденным в его жесточайшем виде, остается только вопрос о свободе человеческой личности, вообще — о политической свободе, тот самый, который был пробным камнем предшествовавших европейских «буржуазных» революций и который сейчас, в дни второй мировой войны, вообще снят с очереди и повсеместно, даже в лучших демократиях, отдан под надзор и сомнение. Таким образом, до известной степени уравнившись в минусах, СССР прежде всего притягивает и соблазняет внимание масс отчетливо выраженными, всё равно действительными или кажущимися плюсами своего социального строя.

Это не частное мнение, основанное на тех или иных личных взглядах, сочувственных или не сочувственных; это лишь сводка беспристрастных и авто-

ритетных заключений европейских политиков самых различных направлений. И в этом источник трепета перед СССР и его как будто двусмысленной политикой в войне. О «русской загадке» пишут сейчас всюду, и в выводах сходятся и те, кто боятся, и те, кто возлагают надежды. В сущности загадка давно разгадана, и нет в том ничего удивительного, потому что она была загадкой для детей младшего возраста. Нет ничего более простого российской внешней политики, самой откровенной из существующих, как и самой из них «внутренней», рассчитанной не на ход военных событий, а на ход настроений утомленных народов. Эта политика целиком «аморальна», аморальнее даже тоталитарной германской, — и в том вся ее сила, в окончательном отвержении всяких нравственных надстроек, потерявших смысл и уважение в волнах окутавшей мир лжи. Там, где слово предоставляется оружию, евангелие может спокойно лежать в кармане, иначе оно будет мешать верности прицела. Признают это, конечно, все, но признаются в этом немногие; и, повидимому, больше практической мудрости в откровенности, чем в лицемерном кощунстве. Тому, что идеалистам кажется (и не напрасно) глубоко отвратительным, реальные политики не могут не рукоплескать. И СССР заслуживает аплодисментов, которые уже раздаются.

Пророчество о том, что в борьбе воюющих держав победит невоюющий СССР — тоже не частное мнение. Едва ли не лучше всех это понимает и предчувствует Италия (называя страну, приходится понимать под ее именем правящие круги). Италия имела коммунистический опыт. Она очень боится распространения военного пожара, которому явно способствует Россия. Спешно устраивая свои будущие «пространства», аннексируя взятые с помощью Германии территории, назначая царьков, она хотела бы как можно скорее всё это закрепить за собой прочно, и ей нужен скорый мир, так как ее потери значительны, а самостоятельные силы скомпрометированы. Тем страшнее ей русская

опасность — повторение прошлого. В кругах ватиканских, отличных от правительственных, также опасаются «мировой революции», на которую метит Россия. Там высказывают мысль, что СССР сознает свою военную слабость, доказанную походом на Финляндию, и теперь прилагает все силы, чтобы продлением и расширением войны ослабить всех, выиграв на этом. Естественно опасается политики СССР и Англия, против которой Советский Союз весьма склонен поднять восточные народы, что и доказывается как будто необъяснимым обещанием оказать поддержку Ираку. Сложнее отношение Франции, вообще менее всего знающей и понимающей СССР. «Национальной революции» СССР не может не быть враждебен в виду ее не только политической, что для СССР безразлично, а и социальной реакционности; что касается населения, не только рабочей, но и обывательской массы, то она продолжает возлагать упования не столько на Англию, сколько именно на Россию, на ее выступление в какой-то момент, и на освобождение от непопулярного и унижительного «сотрудничества». Это не означает склонности к коммунизму, которым в форме примитивнейшей, полной противоречий, Франция заражена; это — жажда отмщения и спасения чести, — надежда, если и наивная, то во всяком случае понятная. Любопытно, что те же пророчества о конечной победе СССР можно услышать из уст германских офицеров в оккупированной области, и нет ничего удивительного в том, что часть военнопленных в Германии поставлена на работы по укреплению на границах с СССР. Чем дальше война затягивается, тем более укрепляются и надежды, и опасения. Отличное понимание положения дела высказывают, например, газеты швейцарские, для которых «русская загадка» уже исчерпана.

Пророчества не всегда сбываются; но и сбывшись, они могут иногда оказаться неточными и непредусмотренными в деталях. Не нужно обладать исключительно пылким воображением, чтобы представить себе после-



военную и естественно, послереволюционную Европу, пересозданной не по германской схеме и не в форме соединенных штатов, от которой многие ждут спасения, а в форме уничтожившего границы обширного советского союза, во всяком случае на первых порах. Ничего поразительного в этом не было бы, нравится это кому или не нравится, раз определится предположенный нами победитель. Но форма — одно, а другое — содержание. У Европы была в прошлом своя история и были свои навыки, которые бесследно не исчезают. Нынешний советский строй вышел из рабства и низкой культуры страны; и рабство и относительная невысоота культуры в нем остались непреодоленными. Трудно себе представить, чтобы до подобного уровня могла спуститься Европа, как ни скользит она по наклонной плоскости. Следовательно в целом советский строй, каким мы его знаем, к ней не приложим, и заранее ясно, в чем должна выразиться к нему поправка. Основной вопрос в том, считать ли сущностью этого строя политическую диктатуру, или коренную ломку отношений социальных. И к первому, и, отчасти, ко второму Европа достаточно подготовлена, но если второе не может не быть всеобщим, иначе никакой «союз» не осуществим, первое мыслимо не только временно, но и в разнообразных оттенках, во всяком случае не в форме «диктатуры над пролетариатом», как это случилось в СССР; европейский пролетариат на такой форме остановиться не может. При том верховенство Москвы возможно в период подготовки переворотов, но длительно оно, конечно, неосуществимо. Здесь и начинаются сложности, которые могут предполагаемую «победу СССР» превратить в поражение основ «октябрьской революции», и прежде всего в самой России. Достаточно подумать о том, каким не только откровением, но и потрясением явилось бы для нынешнего Советского Союза открытие двери в Европу, до сей поры наглухо запечатанной. Последствия этого трудно учесть даже приблизительно.

Могут показаться фантастическими такие рассуждения; но они не фантастичнее того, что произошло с Европой и что уже вышло за ее пределы. Кассандр было не мало — но ни одна из них не договаривалась до таких пророчеств. То, что высказано выше и что сейчас обсуждается многими, не выходит за пределы логики событий и их последовательного развития, в противоположность уже случившемуся, низвергнутому не только логику, но и простую математику. Может ли кто-нибудь думать, что Европа, повоевав, восстановится лишь с некоторым изменением государственных границ и с выходом из строя некоторых держав, сохранив в остальном радугу политических и социальных оттенков. И кто согласился бы на этом помириться? И кто не знает, что за внешними войнами следуют войны внутренние с неумолимостью рока. Только фанатики могут строить план будущего на основании вчерашнего победного бюллетеня, не учитывая совершенно глубоких психических изменений в тех народных массах, с которыми в дни войны не считаются, так как они еще не проявились наружу и недостаточно определились. Будущее для нас закрыто — но сомневается ли кто-нибудь, что оно чревато «великими возможностями»?

**0 1 1 1 Т И**



(23. 5. 41)

Когда в 1918 году Россия заключила с Германией отдельный мир, она была названа предательницей, ее мир — похабным. Не было бранных выражений, которыми бы не заклеили ее поступок, несмотря на то, что мир был заключен совсем новыми людьми, не имевшими ничего общего с теми, которые обещали союзникам верность; несмотря на то, что потери России были огромны, что ее военное участие сыграло решающую роль в конечной победе союзников, что русским наступлением был в свое время спасен Париж, что предшествовавшее миру «братанье» на фронте и самая революция много способствовали разложению германской армии, что от заключенного сепаратного мира пострадала территориально только Россия. Осуждение было таким безусловным, что еще в прошлом году, незадолго до взятия Парижа и заключения перемирия Францией, в одной парижской газете крупный и влиятельный журналист, сейчас занимающий важный официальный пост, напечатал статью с историческими справками (не будем их приводить и оспаривать) о постоянных предательствах России на всем протяжении ее истории.

Осуждали мир и сами русские, во всяком случае те из них, которые, оставив пределы России, не знали и не видели, что дальнейшее участие России в мировой войне было немыслимым: никакая сила не могла воссоздать армии, превратившейся в полчища людей, стремившихся как можно скорее, в поездах, на крышах вагонов, пешком, побросав оружие, разойтись по домам и своим деревням, так как под «революцией», всем населением принятой и одобренной, под объявленными «свободами», они прежде всего разумели прекращение войны, смысла которой они не понимали, — если вообще есть смысл в человеческой бойне. Быть дома в

дни, когда этот дом пылает, им было необходимо. Революция обещала им землю; в этом было ее основное значение; и они торопились эту землю занять. Нужно было видеть эту днем и ночью катившуюся с запада вглубь страны солдатскую лавину, чтобы понять, что остановить ее невозможно и судить ее смешно, что этот уход был следствием не разлагающей пропаганды (и она, конечно, сыграла свою роль), а того душевного состояния, которое всегда владеет солдатской массой и сдерживается только суровыми мерами военной дисциплины, угрозами суда и расстрела. Нет армии, будь то германская, солдаты которой не разошлись бы немедленно по домам, если бы дисциплина на минуту прекратилась. Впрочем то же случилось и с армией германской накануне всеобщего перемирия.

То, что произошло тогда в России, повторилось в прошлом году во Франции, с тою только разницей, что было вызвано не революцией, а всеобщим сознанием немыслимости дальнейшего сопротивления. Но война была прекращена здесь не солдатами, нарушившими дисциплину, а командующими верхами; не случайно всплывшими лицами, а старыми политиками, пользовавшимися доверием, в несомненном согласии (как и в России было) с большинством населения страны. К Франции мировое общественное мнение отнеслось гораздо терпимее, хотя уход ее с военной сцены сразу дал неприятелю огромнейший, до сих пор длящийся перевес, при том в самый критический и решающий момент, чего в русском случае не было. Россия была лишена чести, — у Франции честь не отнята, и даже ее бывший союзник, Англия, не объявила ее народа предателем и врагом. Чтобы закончить параллель, нужно отметить, что внутренний российский переворот, во всяком случае в его первичной форме свержения самодержавия, вызвал приветствие союзных стран и явился угрозой Германии, — во Франции произошло обратное; и нужно подчеркнуть, что сепаратный мир России не повлек за собой даже отдаленной мысли о каком-ни-

будь «сотрудничестве», с бывшим врагом, а пункты мирного договора не предусматривали никакого оказания экономической или военной помощи.

Франция перенесла трагическое несчастье, но чести не потеряла; поражение не есть потеря чести, и даже заведомая военная слабость не может быть упреком стране, имевшей перед собой более важные жизненные задачи, чем непрерывное вооружение. Во внешней силе нет почета, в уступке этой силе нет национального унижения. Утверждая это со всей убежденностью, мы тем самым утверждаем и ненарушенную честь других пораженных народов, которые были вынуждены сдаться на милость победителя или впредь сдадутся; и мы, конечно, уже не услышим больше прежних упреков русскому народу, так свободно раздававшихся и почти не встречавших возражения. В писанных историях придется сделать некоторую поправку, иначе угрожает опасность упрека истории, которая пишется сейчас.

Но что же такое «честь», о которой сейчас так много и так охотно говорят. Возможно ли вообще распространять понятие чести, чисто личное, на поведение народов, в лучшем случае выражающее только волю большинства, в обычном случае — тактику правительств, а в некоторых даже лишь мысль одного человека, обладающего безграничной властью. О степени чести можно говорить только там, где народное волеизъявление ничем не ограничено — где найти сейчас такую страну? Основана ли на велениях чести так называемая «реальная политика», точный учет внешних и внутренних сил и обстоятельств во имя выгод географических, экономических, политических своей страны, — выгод, как их понимает сегодня правящая власть. Если да, то тогда всякая политика страны, приносящая ей немедленную выгоду, должна быть оправдана. Тогда никакого значения не имеют так называемые «права наций на самоопределение», на

покойную трудовую жизнь, на какое-нибудь своё место в пространстве, на свой язык, свои обычаи, свое искусство. Тогда понятие чести уравнивается с понятием преобладающей силы, и напрасно и смешно поднимать вопросы о верности договорам или об изменах, — эти выражения теряют всякий смысл: честно то, что выгодно или кажется выгодным.

Так и приходится рассуждать, если в основу человеческих отношений класть соображения частных государственных организаций. Но человек неисправим: ему всё кажется, что из созданных им для себя законов нравственного поведения можно делать выводы общие, пригодные для семьи (честь семейная), для общества (честь общественная), для государства, даже для союза государств (принципы Лиги Наций). Заблуждение основано на предположении существования вечных, неизменных и ко всему приложимых законов морали; современный философ нам скажет, что у каждого индивидуума своя мораль, так же в целом неповторимая, как не повторима личность человека, и вообще любого живого существа, вплоть до микроорганизмов. Но в этом заблуждении была и остается своя красота и своя оправданность. Мы, например, отлично знаем, что нынешняя война вызвана рядом сложнейших причин, преимущественно экономического порядка, что в ней отразилась и борьба за мировое господство, мировые рынки, что она обусловлена крайне неудачным и искусственным мирным договором, завершившим войну прошлую, что известные элементы «правды» есть с обеих сторон, как обе стороны не безгрешны и в обмане, — но можно ли отрицать присутствие и чисто гуманистических побуждений в том «неблагоразумии», с которым явно неподготовленные к войне страны выступили — и не могли не выступить — на защиту малых народов, самостоятельность которых была подвергнута жестокому испытанию. Какими бы «реальными» соображениями ни руководились политики, — их поддерживало



моральное одобрение мыслящих слоев их стран, требования национальной чести, отзвук идеалистических чувствований. Это совершенно несомненно, и обидно слышать, когда во Франции, сводя счеты с прошлым, констатируя неблагоприятие начавших войну правителей, отрекаются от лучшего в этом недавнем прошлом: от настойчивого веления совести. Возможно, что эта война — последняя, в которой мотивы моральные действительно играли некоторую роль, — впоследствии будут на них лишь лицемерно, по привычке, ссылаться.

Честь человека есть признание соответствия его поступков велению его совести и высказанных им убеждений. Честь семьи, общества, нации — верность общеизвестным их традициям. Понятие о чести приложимо только к свободной личности или к коллективу свободных единиц. Говорить о чести государства, искусственной организации принуждения, не имеет смысла. Когда правитель страны, говоря от имени нации, требует доверия, ставя залогом свою личную честь, он тем самым утверждает, что всё, им предпринимаемое, будет в полном соответствии с установившимися традициями народа, к которому он сам принадлежит; но это не есть обещание несомненных материальных выгод, — лишь гарантия чести, и лишь в пределах ее нерушимости могут быть заключены выгодные для страны соглашения. Мы сейчас присутствуем во Франции при таком торжественном обете, — и весь мир внимательно следит, до каких пределов понятие чести растяжимо, и где оно может перейти в «реальную политику», то есть в прямое свое отрицание. Это уже не деятельность государства, это — действия определенной личности, ползующейся до сих пор почти безграничным доверием вследствие ее высоких душевных качеств и большого жизненного опыта. В то же время это ставка на честь национальную, на верность традициям, которые могут казаться пошатнувшимися, но в конечном счете должны себя оправдать, — иначе честь, не поколебленная внешним поражением, была

бы утрачена в иных условиях, уже не оправдывающих. То, чем кончится этот опыт, определит, конечно, и внутреннее состояние страны, когда ее население получит возможность более самостоятельного распоряжения своими судьбами, от чего оно сейчас добровольно отказалось. Но, отказавшись от действий, оно оставило за собой суждения и оценку действий передоверенных. В дни, когда пишутся эти строки, никакое точное и последнее суждение не может быть вынесено, ни французским народом, ни наблюдающим за его судьбами мировым мнением. Нужно учитывать и случайность колебаний и неточность информации. Нужно не забывать и характер партнера, с которым Франции приходится договариваться. И еще нужно помнить, что в судах чести требуется величайшая выдержка, осторожность и внимательность и к крупному, и к кажущимся мелочам, от которых иногда зависит характер выносимого приговора.

**МАЛА ПЕЧАТЬ**



(30. 5. 41)

Ежедневная печать, даже зависима, остается большой силой. Читатель или верит, или не верит газете; в обоих случаях он находится под ее влиянием. Не веря, он руководится ее заключениями, делая из них противоположные выводы. За время войны читатели газет изучили условность языка официальных сообщений и довольно сносно в них разбираются. Официальные утверждения, свои и чужие, обычно на веру не принимаются, так как их содержание может оказаться лишеным всякой почвы; но официальные опровержения читаются всегда с живейшим вниманием, так как они беспочвенными никогда не бывают; раз что-нибудь понадобилось опровергнуть, значит оно в какой-то мере произошло, чем и были вызваны «неправильные» частные сообщения. Читатель может и ошибаться, но в общем его рассуждения логичны. Раз он находится под опекой, значит от него скрывается всё, что могло бы доставить ему огорчение или вызвать его неодобрение; поэтому он ищет замолченное между строк и равнодушен к самому тексту сообщения. Положение ненормальное, как ненормальна и сама опека.

Макрокосму большой прессы соответствует микрокосм провинциальных газеток, и нет ничего любопытнее, как наблюдать эволюцию их настроений под влиянием перемены политики в верхах и соответствующих инструкций. Большая пресса старается сохранять свое лицо и известную дозу самостоятельности суждений; ее аудитория более требовательна и может сужаться и расширяться в зависимости от степени доверия и интереса. У местных маленьких газет аудитория постоянна, так как газета скорее доходит до читателя и необходима ему для справок хозяйственных, особенно сейчас, когда каждый день чем-нибудь дарит, то объявлением о выдаче продуктовых карточек, то изменением базар-

ных цен: без местной хроники не обойдешься. В то же время маленькая газета не так искусна в применении условного языка, она не всегда угадывает настроения и часто проговаривается. Обычно ею руководит один опытный журналист, выходец большой печати, иногда неудачник, не сделавший карьеры и успокоившийся в провинции. Его разговор с читателями интимен, он всех знает, его все знают, и ему нельзя с олимпийским величием не отвечать на письма и запросы своих читателей, с которыми он в гораздо более близких отношениях. В то же время он ощущает важность своей роли просветителя общественного мнения и политического «порт-пароля». Он естественно хочет, чтобы его суждения имели вид самостоятельных и независимых, и при обязательстве слишком крутых поворотов его ноги несколько заплетаются и фразы делаются беспомощными. Не безличный, как труба большой прессы, он должен сам отвечать за всё и за всё краснеть. Вчера, не угадав воздушных течений, он вложил весь свой энтузиазм в защиту позиции, которая сегодня оказалась или преждевременной или решительно осужденной; и он, сам себя сегодня опровергая, вынужден пустить в ход все доступные его таланту словесные выкрутасы, чтобы доказать, что он остается последовательным и верным себе, — а это, конечно, не всегда возможно. При том, сверх лояльности и послушания, сверх желания (и необходимости) быть агентом высоких предначертаний, у него есть, все же, и своя совесть, наконец могут быть в той или иной степени собственные мнения, как пережиток времен прессы свободной. Его задача чрезвычайно трудна, и в нем происходит вечная борьба дерзанья и робости, отражающаяся в каждой дюжине строчек.

Живя в глухой провинции Франции, я прилежно читаю местную газетку и наблюдаю ее усилия в течение года оправдать и пояснить свою эволюцию, свершающуюся не по-геометрически правильной кривой, а с причудливыми зигзагами. Нелегко, например, от выс-

пренного восхваления союзников, от восхищения их огромной и быстрой помощью, от клятвы в вечной им верности, за такое сравнительно короткое время перейти через равнодушие к враждебности (это, при меняющихся внешних обстоятельствах, допустимо), и к доказательствам того, что никакой помощи они не оказывали и что из начал истории до сего дня они были самыми явными врагами. Еще труднее, пожалуй, вчерашнего смертельного врага, по адресу которого не экономились выражения негодования и презрения, не то чтобы искренне полюбить, а признать чрезвычайно симпатичным человеком, с которым и приятно и выгодно поддерживать деловые отношения, в виду его доказанной порядочности. Значительно проще обстоит дело в области идей и девизов. Священные традиции обычно выражаются символически, но и слова и символы подлежат свободному толкованию. Один остроумный французский мыслитель сказал, что единственно правильное определение понятия «свободы» заключается в том, что личность не обладает в коллективе никакими правами. Это слишком откровенно, но можно то же выразить гораздо мягче и не менее убедительно. Всё искусство заключается в том, чтобы, оставив слова и символы по возможности неприкосновенными, дать им сначала ограничительное, затем обратное толкование, при том сделать это с неменьшим пылом, чем тот, который проявили разрушители Бастилии. В школе политического журнализма эти приемы проходятся на младших курсах. И не вина маленького провинциального журналиста, если его путают неясными директивами. Ему, например, указывают, что «священные традиции» остаются священными, и что, поэтому, намечаемая «революция» произойдет в формах своеобразных, согласующих историческое прошлое с реальным настоящим. Тема восхитительная, и на такой канве легко расшить прекрасные узоры. Утверждается благородство принципов великой французской революции, поминается добрым словом Лафайэт, переправивший эти принципы в

Америку. Вслед за тем оказывается, что 1789 год взят под сомнение, а Лафайэт прав лишь постолько, поскольку он помогал Америке против Англии. Единственный выход из неудобного положения — признать, что благородные принципы хороши лишь в том случае, когда есть военная сила, способная их защищать; раз силы этой нет — должны быть отвергнуты и принципы. Так и поступает смущенная газетка, ссылаясь на то, что логика выше принципов, и реализм отвергает напрасную сентиментальность.

Это несколько грубовато, если не приходит в голову подходящая иллюстрация, например рассказ Марка Твэна о благородном юноше, который, увидав, как большой парень бьет мальчугана, и руководясь принципами доброго воспитания, бросился на насильника; но насильник закатил юноше такой удар, что вынудил его обратиться в бегство. И нет надобности называть Югославию или Грецию. «В некоторых идеологиях нет ни логики, ни единства», — заключает усердный журналист, не совсем разбираясь в философии и не ожидая этого от читателей.

Но читатель суетлив и надоедлив, его духовный строй не отличается большой гибкостью. Он засыпает редакцию письмами и протестами, и не отвечать ему совсем нельзя, так как он, всё-таки, хозяин положения, от него зависит благополучие печатного слова. Если он пишет анонимно, ему можно указать, что такая борьба не равна и некрасива. Но если у него хватает храбрости подписаться (по нашему времени это — несомненная храбрость), то ответ нужен. И вот тут маленький мальчик прячется за большого. «Вы упрекаете меня за высказанные мысли. Да, я сам воспитан в уважении к старым традициям и великим принципам. Но не забывайте одного: всё, что я пишу, прошло через контроль и одобрено теми, кому мы с полным доверием поручили заботу о спасении нашей страны. Не забывайте, что мы — побежденный народ, а не нейтральный, что мы за-



ключили не мир, а только перемирие, которое в любой час может быть денонсировано. Сейчас время не рассуждать и не отдаваться своим чувствам, а доверять и терпеть». — Я цитирую здесь подлинные слова руководящей статьи маленькой газеты. Некоторый срыв, проговорка, излишняя откровенность, для газет больших недоступная. Так, в интимности, стряпается печатное слово. Но разве не тот же язык звучит иногда в высокоавторитетных заявлениях? Не было ли недавно заявлено, что «от исхода текущих переговоров зависит всё будущее Франции. Дело идет о том, чтобы выбрать между жизнью и смертью. Правительство выбрало жизнь».

Когда на большой дороге или ночью в глухом переулке вам вежливо предлагают на выбор «кошелек или жизнь», — выбор, в сущности, прост, и никто вас за него не осудит. Но можно себе представить и иной эквивалент жизни, более спорный. В примерах новейшей истории народов мы видели, что, по каким-то сложным психологическим причинам, и часто вопреки и логике, и благоразумию, народы выбирают смерть, спасая другие ценности, кажущиеся им ни с чем несоизмеримыми. Это можно констатировать, но нельзя выставлять обязательством, поскольку область духовная всегда остается свободной.

В режиме строгого контроля трудны и путаны только первые шаги; лишь только основная линия угадана, наступает время усердного забегания вперед (*plus royaliste que le roi même*). Так как выбор материала, особенно в газете провинциальной, невелик, то усердие сказывается в заголовках сенсационных известий. Заголовки — род краткой оценки; одна из важнейших приправ газетной кухни. Эволюция тона заголовков — любопытнейшая вещь. Приходится наблюдать, как от подчеркивания успехов одной стороны и неудач другой газета переходит постепенно (а порой и скачком) к противоположному пристрастию. И, собственно, толь-

ко заголовками и разнятся газеты в стране, лишенной свободной прессы. Если предположить возможность некоторой оппозиции или, хотя бы, сохранения тени независимости, то это выражается бесстрашием и нейтральностью заголовков; там, где на это решимости нехватает, заголовки уже не говорят, а поют; сейчас это наблюдается особенно ярко в прессе парижской, свыкшейся с положением и, может быть, находящей в нем немалую выгоду. Пенье не захватывает читателя, но кто может сказать, что оно совершенно не играет роли в воспитании в нем соответствующих сомнений и даже уверенностей. Не нужно создавать себе иллюзий духовной прочности общественных мнений; они подчинены общим законам эволюции, в особенности, когда дело идет о городских центрах, бытие которых всецело подчинено требованиям политического момента; деревня традиционнее и устойчивее.

Делюсь наблюдениями, на вид незначительными; но в них отражается иногда целый мир житейских противоречий, и они легче помогают разбираться в сложностях жизни страны, чем торжественные речи и заявления на то поставленных лиц. Маленькая газета глухой провинции может сказать больше своими оговорками, ошибками, своей местной интимностью и откровенностью приспособлений, чем большая пресса, привыкшая к условному языку, употребительному в любое время, — всё в тех же целях фабрикации общественного мнения, не имеющего способов себя проявить.

**Г Д В Щ И Н А**



Июнь для Франции — месяц трагического юбилея. Месяц страшных воспоминаний. Годовщина молниеносного поражения армии и страны, потери северных округов, всего западного побережья, восточных границ, города Парижа. Сокрушительный удар по национальному самолюбию, крах международного престижа, утрата самостоятельности. В плену два миллиона работников, силы которых частью пропадают напрасно, частью обслуживают хозяйство бывшего врага и его военные цели. Гордая страна на положении данника, которому диктуют его поведение, который вынужден пожимать повергшую его руку. Незаживающая рана поперечного разреза. Страстные попытки раненого стать на ноги, выпрямиться, уверить себя в том, что не всё кончено, что это только поправимая ошибка. Больные поиски виновных, самобичевание, осуждение прошлого, опыты перестройки сознания на новый лад, на тот самый, который это сознание с негодованием отвергало. Сверх внешнего — внутреннее поражение, несдержанное ликование темных сил, которым раньше не придавали серьезного значения, оценивали их низко или совсем снимали с учета национальных сил. Вплотную подошедший голод и перспективы еще пущих лишений. Полная неизвестность того, что думает страна, за которую думают и говорят явившиеся из небытия новые люди. Внешнее спокойствие — внутренняя сумятица чувств и мнений. Предстояние неведомому будущему.

Что в таких условиях могла делать Франция? Ждать и надеяться? Она надеялась и ждала; она продолжает ждать и надеяться. Но война затянулась и еще затягивается, возможно на годы. Никакой административный гений, никакая «диктатура сердца» не могут восстановить материальных и духовных сил страны в рамках той полусвободы, которая предоставлена пере-

мирием Франции, оставшейся незанятой неприятелем, не говоря уже о невозможности какой-нибудь общей политики для обеих зон. О верности традициям хорошо говорить и писать, но это — область поэзии, а не реальной жизни. Каждый отдельный человек может за себя решить лучше погибнуть, чем покривить совестью и потерять прежнее лицо; но напрасно ждать этого от целой страны и наивно — от ее правителей, не призванных считаться с так называемыми нравственными требованиями и естественными обязательствами. В международных отношениях, как и в области политики внутригосударственной, обычные моральные понятия неприменимы; они служат только для украшения речи и оправдания самых противоречивых действий. Каждый историк подтвердит, что количество соблюденных международных договоров ничтожно в сравнении с количеством нарушенных: неумолимый закон реальности. Франция, в отчаянном и безнадежном сопротивлении, могла, не сдавшись, потерять всю свою территорию и перекинуться в африканские колонии. Это увеличило бы число героев, спасло бы честь прежнего правительства и привело бы к положению, во много раз худшему, чем теперешнее, вряд ли увеличив шансы союзницы на конечную победу. Но, главное, это было совершенно невозможным не только по полному отсутствию сил сопротивления, но и психологически; в данном случае имел значение и «голос страны». Это сознавали и политические деятели Англии, и когда, на заседании верховного совета в Туре (13 июня) Поль Рено спросил Черчиля, что сделает Англия, если Франция заключит сепаратный мир, Черчилль ответил: «Мы не усугубим тягостного положения несчастного союзника. И если мы победим, мы без всяких условий обяжем себя содействовать восстановлению разрушенной Франции».

То, что год тому назад казалось невысказанным, сейчас уже никого не поражает, как еще годом позже мы можем оказаться свидетелями невероятного. Такова логика вещей, совершенно не считающаяся с на-

шими идеалистическими представлениями о праве и справедливости, о чести и бесчестии, о способности не только единиц, но и масс на героические выступления. Оспаривать эту способность нет надобности; но в решающие моменты политической жизни моралисты отходят в сторону и, умывая руки, предоставляют действовать более практически настроенным, успех которых они могут использовать для себя, не неся моральной ответственности. Так повсюду и происходит. В частности во Франции «сотрудничество» пользуется популярностью только в непосредственно заинтересованных кругах, преимущественно промышленных и финансовых; но временными выгодами, которые это сотрудничество сулит, пока, правда, незначительными, охотно воспользуются все, независимо от своего к нему принципиального отношения, тем более, что общеизвестными делаются только эти выгоды, тогда как расплата за них остается секретом соглашателей. По выражению Бисмарка (которое приписывается также и Меттерниху) в каждом договоре есть всадник и лошадь. Но ведь договоры пишутся всегда с кажущимся равенством сторон.

К числу «выгод» самых очевидных и подкупающих относится освобождение некоторых категорий пленных, а именно лишенных трудоспособности, отцов многочисленных детей и участников прошлой войны. Для Германии характерна расчетливость: отпускаемые военнопленные ей менее всего нужны, как худшие работники; в то же время она освобождает себя от их содержания. Для французских семей это — самые дорогие члены, отцы, старшие и пострадавшие. Правда, до сих пор речь шла только об отцах семейств в зоне занятой, где они будут, конечно, привлечены к работе на обслуживающих Германию заводах. Что касается «старых комбатантов», то их освобождение имеет особое значение для французского правительства, опирающегося на сочувствие и помощь союза комбатантов.

До сих пор промышленность и торговля обеих

Франций сильно тормозятся полным перерывом почтовых сношений между зонами. От разрешения свободного обмена товарами выигрывает больше Франция занятая, куда до сих пор разрешались только некрупные сельскохозяйственные посылки с ограничениями и в роде продуктов. Зона занятая вычерпана оккупацией, зона свободная еще дышит, хотя города уже оскудели. Облегчение частной переписки (открытые письма на двух отныне официальных языках, французском и немецком) есть также род психологического подкупа в пользу сотрудничества. Но нужно сказать, что гораздо лучшим подкупом было бы облегчение переписки в пределах «свободной» Франции, что не стоит в связи с соглашением. Любопытно, что в оккупированной Франции почта работает очень точно и почти освобождена от контроля. В зоне свободной, по причинам мало понятным (быть может, из опасения коммунистической пропаганды) контроль доведен до крайних пределов, при том организован настолько плохо, что вместо суток письма идут часто неделями и больше, даже между почтовыми отделениями на расстоянии нескольких километров. Контролируется, конечно, переписка с заграницей, при чем авионы из Америки приходят иногда с наклейками цензуры германской при марсельском штемпеле. У меня есть образцы контролей английского, германского и французского, иногда сразу двух. В то же время авионы из Америки порой получают скорее, чем простые письма, например, из Лиона в Монпелье или в Виши. Точно также затруднены переезды между пунктами «свободной» Франции, в частности для иностранцев (и, конечно, евреев), тогда как в зоне занятой передвижение (кроме запретной полосы) свободно для всех и не контролируется. Отмечаю это в виду оригинальности явления. Совершенно свободный проезд по обеим Франциям имеют только лица, снабженные в Париже германскими пропусками (в том числе и иностранцы). Единственное, в чем почтовые сношения чрезвычайно затруднены, это — письма и посылки военнопленным и



получение вестей от них. Несмотря на все реформы этого дела, три недели — минимальный срок получения, что вызывается, прежде всего, исключительным контролем, доходящим до разламыванья печенья и плиток шоколада.

Реальнее всех других «выгод» сотрудничества — понижение на одну четверть контрибуции, платимой Францией на содержание германской армии. Вместо 400 миллионов франков в день теперь будет платиться 300. Какая это тяжесть для населения, видно из простого расчета. До сих пор, при 40 миллионах населения, падало на каждого человека 10 фр. в день, 300 фр. в месяц, или 1.500 фр. на нормальную семью в месяц, т. е. выше среднего заработка рабочего. Одними прямыми налогами невозможно собрать такие суммы, и естественно вздорожание жизни на 100-200 процентов при всей несомненно удачной финансовой политике правителей. Население не производит этого простого арифметического подсчета и удивляется росту цен вопреки строгой таксировке продуктов. В занятой зоне этот рост значительнее, но и заработки повышены; свободная зона пытается довольствоваться приблизительно прежними ставками.

Сравнительно спокойное отношение к вопросу о «сотрудничестве» (во всяком случае — до сих пор) объясняется прежде всего тем, что пределы этого сотрудничества остаются не только неизвестными населению, но, повидимому, не выясненными и для высших сфер, поскольку переговоры не могут считаться законченными. Психологически любопытно, что широкие слои населения не свыклись с мыслью о поражении Франции и возможном окончательном поражении Англии; это в сознание французов не вмещается. Господствует уверенность, что всё это лишь временно, и последнее слово скажет то ли Америка, то ли Россия. Поэтому и ко всем мероприятиям и соглашениям большинство относится, как к временным мерам, вполне допустимым до терпимых пределов. Какой реакции можно ждать, когда «временное» окажется постоянным, никто предсказать

не может. Франция очень верит заявлениям главы правительства о том, что «честь страны» в его твердых руках, и это помогает постепенной подготовке общественного мнения ко всяким возможностям. Но если напрасны гадания, то напрасны и излишние уверенности: время работает лучше любого пропагандиста, хотя нет недостатка и в пропаганде. Психологические сдвиги, происшедшие за истекший год, очень значительны; во всяком случае прежнее единство мысли нарушено, и появились непримиримые оттенки, резко наметившие партийное деление на «голистов», «аттентистов» (от политики ожидания), соглашателей и проч. Задачу правительства это не мало осложняет. Зато не мало облегчает его задачу позиция Англии, повидимому, не ясно учитывающая эволюцию французских настроений, ей неблагоприятную. Для сохранения прочности симпатий нужны победы, иначе правой окажется другая сторона. За отсутствием побед, необходимо хотя бы осторожное и выдержанное, быть может даже преувеличенно, подчеркнуто сдержанное отношение к бывшему союзнику, который бессилен помочь, но может оказаться достаточно сильным, чтобы повредить.

Такова сложность отношений к моменту годовщины французского поражения. Всё дальнейшее зависит не столько от переговоров, сколько от непосредственных внешних событий, и предстоящее лето во многом может оказаться решающим.

**ЕВРЕ СКИ О РО**



Можно обсуждать разные мероприятия в целях «выправления» Франции, оправдывать их, возлагать на них надежды, или, наоборот, сомневаться в их нужности, отрицать их значение, осуждать их в целом или части; во всяком случае их можно понимать и ссылаться на их основания. Разочарование в представительном строе, недостатки парламентской системы, ее резкие отрицательные качества могут естественно толкать к опыту диктатуры нового типа, результаты которой скажутся только позже. Понятны и оправдываемы самые решительные, почти революционные меры в области хозяйственной, в особенности в связи с исключительным положением, в которое страна поставлена перемирием и блокадой. В области политической не трудно доискаться причин усиления полицейской централизации, расширения власти префектов, отмены выборности местных властей и проч. Еще понятнее стремление в особом духе воспитать подрастающие поколения организацией юношеских «товариществ», обязательными наборами в «лагери молодежи» и реформой учебных программ. Всё это связано не только с переходом власти к правым партиям, но и с действительными нуждами страны, мимо которых никакая власть не могла бы пройти. Что из всего этого получится — покажет будущее, мнения могут расходиться, но в каждом таком мероприятии есть внутренний смысл. Но есть некоторые меры, которые излишне даже обсуждать, настолько они ни с чем реальным не связаны, ничем не вызваны, ничем не оправдываются и являются лишь уступкой дурным партийным страстям и заблуждениям, отчасти требованиям «сотрудничества», никого оживить не способным. Эти меры стоят совершенно в стороне от общей намеченной линии «выправления» и от принципов объявленной «национальной револю-

ции», и было бы обидным и оскорбительным для французского народа предположить, что в какой-то мере их может одобрить общественное мнение, или что их с легким сердцем, единодушием и уверенностью проводят те, кому интересы страны и ее честь действительно дороги. Таковы, например, ограничительные законы и административные меры против лиц еврейской национальности.

В полосе оккупированной, где политически хозяйствует завоеватель, это понятно, во всяком случае, логично. Там уже осуществлены концентрационные лагеря для некоторых категорий евреев, ликвидируются еврейские предприятия, конфискуются имущества и капиталы, и не будет удивительным, если в Париже, на манер Берлина, появятся «желтые скамейки», или, на манер Варшавы, будет огорожено гетто и введены нарукавные повязки с соломоновой звездой. Это — прямой вывод из теории величия германской расы и вредности расы семитической; опыт прививки французам эпидемии нравственной болезни, которую до сих пор во Франции были заражены только немногочисленные слои населения, умственно убогие и нравственно вырождавшиеся. В той части Франции, которая называет себя «свободной», антисемитические проявления до сих пор сдерживались в рамках относительного приличия, нарушавшегося только некоторыми слоями чиновничества, забегавшими вперед в усердии. Даже то, что уже декретировано, применялось на практике с оговорками и, по возможности бесшумно, как бы стыдливо. В этой полосе Франции нет специальной антисемитической печати, какая благословлена на деятельность в Париже, в Брюсселе и в других центрах оккупации. Даже такие газеты, как «Кандид», проявляют некоторую сдержанность в дурного тона выходках, может быть, потому, что не получают поощрения свыше. Известно, что прямым приказом главы государства, никогда ни в одной своей речи не коснувшегося еврейского вопроса, были возвращены права некоторым во-

енным чином высокого командного состава, несмотря на их еврейское происхождение. Точно также возвращена французская национальность одному из Ротшильдов, временно ее лишенному. Не пришлось прочитать ни одного неуместного слова по поводу смерти знаменитого философа Бергсона, и вообще нельзя указать ни одной невынужденной статьи антисемитского тона на страницах сохранившейся большой печати, типа отнюдь не левой газеты «Temps». Лишь в самое последнее время, в связи с утверждением принципа сотрудничества, заговорили об объединении мероприятий по еврейскому вопросу в обеих зонах Франции, откуда не трудно вывести заключение о вынужденности этого шага. Не то что бы он не соответствовал «новому течению», это сказать отнюдь нельзя; в сущности не мало уже и сделано, и тысячи граждан, неудачно выбравших себе родителей, лишились заработка и сколько-нибудь обеспеченного в жизни положения. Но в новом государственном антисемитизме не было, так сказать, энтузиазма и уверенности. И «еврейский вопрос» остается до сих пор теоретически не развитым и практически не обоснованным.

Дело в том, что гонение на евреев не может быть во Франции популярным, разве что в некоторых профессиональных кругах, как врачебных, адвокатских, финансовых, где играет роль не антисемитизм, а радость устранения любой сильной конкуренции; те же круги заражены и шовинизмом. Широким французским массам не свойственна расовая кичливость, и они воспитаны в традициях широкой терпимости. Никаких разумных оснований обрушиваться на еврейство француз также не видит, и привести их никто не может. Нельзя же всё-таки вечно ссылаться на Леона Блюма, его пролетарские идеи, противоречащие личному крупному состоянию, или серьезно обвинять евреев в том, что их подстрекательством была вызвана война, приведшая к поражению: слишком явна голословность утверждения и слишком не согласуется с официаль-

ным «списком виновных». И де Голь, главное пугало, также в еврействе не повинен, как и никто другой из диссидентов. Сверх того есть одно соображение нравственного качества. Любой человек имеет право быть антисемитом, как и анти-кем угодно; но в известных случаях это право ограничивается голосом совести, и именно тогда, когда недоброжелательство направлено по адресу людей бесправных, гонимых и лишенных способов защиты. До сих пор «антисемитизм» был, так сказать, законен, так как евреи пользовались всеми гражданскими правами; сейчас, со введением ограничений в их правах, всякое проявление антисемитизма делается не только дурным тоном, но и свидетельством душевного неблагородства, ущербом чести. Хотя французы очень любят называть себя реалистами, но в действительности они очень чутки к некрасивому, к душевной кривизне, к явлениям идеологической извращенности и лжи. Можно бороться с противниками равным оружием, но нападать на лежащего... именно сейчас, больше чем когда-нибудь, француз знает, что значит быть лежащим. Недаром даже официозные журналисты, берущие на себя подготовку общественного мнения ко всем правительственным мероприятиям, высказываясь по еврейскому вопросу, неизменно начинают с того, что они лично не антисемиты, что нужно «уметь различать», что было бы смешно отрицать гениальные вклады еврейской нации в науку, в искусство, что еврейская беднота сама страдает наравне со всеми (что, впрочем, не мешает и гнать ее наравне с другими!) и т. д., и т. д., пока это словоблудие не завершается легендами то о крайнем милитаризме, то о прискорбном антимилиитаризме еврейской нации, кстати сказать не способной к земледелию (с умолчанием о палестинских опытах), с приведением примеров жульничества некоторых банкиров, комивояжеров и кинематографических деятелей. Наличие такого рода оговорок само собой показывает, что обращаться приходится к аудитории несочувствующей и, может быть,



осуждающей. Но если явное юдофобство вызывает отвращение, то осторожные и неубедительные речи произносятся впустую, — в них нет никакой основы и они никого не убеждают. Нужно при этом помнить, что католическая церковь в данное время проявляет большую осторожность в еврейском вопросе и от антисемитской пропаганды воздерживается; вообще при данном политическом направлении она занимает позицию не только примирительную, но и несколько либеральную, следуя директивам Ватикана. С «необходимыми реформами» создается положение довольно затруднительное, и особенной последовательности ждать от них как будто нельзя. Любопытно, что и в Италии, совершенно не знавшей антисемитизма, он принял на практике, при вынужденном применении, формы смягченные; правда, там положение было иное, не столь вынужденное, и Италия покривила совестью как бы из вежливости и ради удовольствия союзника, а не по прямому приказу.

Конечно, никакое «общественное нерасположение» не может быть сейчас препятствием для намеченных мероприятий. В «океан еврейского горя», о котором отовсюду пишут, мало существенного внесет ручеек общественного сочувствия, сочувствия простых, рядовых, безвластных людей, задавленных и своими заботами. Настоящую помощь оказывают еврейские организации, напрягающие свою деятельность до крайних пределов. Общеврейская мечта — оставить пределы Франции и пределы Европы. Раем рисуется Америка — вам ближе знать, подлинный ли она рай. Каков бы он ни был, он доступен только избранным, имеющим или могущим получить средства на переезд через океан с предварительным получением бесчисленных «аффидавитов», отпускных и въездных виз, что требует долгих месяцев ожидания, перехода от надежд к разочарованиям и новым надеждам, в то время, как небо над океаном мрачнеет и грозит отнять и последнюю надежду. Тяжелее всего положение оставшихся в зоне занятой,

где хлопоты затруднены и приезд откуда в зону свободную сопряжен с большими сложностями. В особо отчаянном положении еврей-иностранцы, к которым сейчас сопричислены и поздно получившие натурализацию и успевшие ее потерять. Как всегда и везде, больше всего страдает и в положении безвыходности (в самом буквальном смысле) оказывается еврейская беднота, о которой совестливые «порт-пароли» стараются говорить с демократической нежностью, но которой от этого, конечно, не легче.

В последнее время печать нашла и приводит еще один аргумент, доказывающий необходимость заняться активнее еврейским вопросом. Она ссылается на статистику, утверждающую, что среди евреев цифра сумасшедших втрое превышает норму общую. Откуда взяты эти цифры — неизвестно, это не сообщается; но если чему-нибудь можно удивляться, то лишь тому, что только больше теряют разум представители гонимой нации, — это указывало бы на ее необычайную душевную стойкость. Указывают еще на то, что возложение евреями своих надежд на англо-американскую конечную победу стоит в связи с еврейским мессианством. Тут возразить не трудно: в этом мессианстве повинны далеко не одни евреи; и читая об этом, полноправный французский гражданин, «рожденный французом от французских родителей» (новая формула негодования не выражает: он только загадочно улыбается; загадочно, а в последнее время и грустно.

**ОЖИДАНИЯ**



(12. 6. 41)

Нужен всё-таки и некоторый отдых от международных масштабов. Достаточно того, что постепенно мы привыкаем к цветным пятнам географической карты, как к собственному огороду: там, на опрысканных медным купоросом грядках, удалось во-время приостановить действия вредителя, там, на картофеле, завелся жучок-дорифор; пока благополучен салат и округляются луковицы, но уже на дальнем конце огорода стада тлей напали на цветущие бобы и подходит время для ожесточенной борьбы с виноградной филлоксерой. Если бы мы еще были полноправными хозяевами огорода, а то — простые наблюдатели, которым зачем-то выпало на долю жить в «великие исторические моменты». И вот, никакое самое обычное жизненное явление не свершается без невольного его сопоставления с событиями мирового порядка, с высокими задачами взаимоистребления людей. Идет дождь — и немедленно приходит мысль, что воздушные бои и налеты затруднены неблагоприятными метеорологическими условиями. В ночь лунную даже в «тихом местечке Франции», где эти строки пишутся, ухо прислушивается, не встретились ли где-нибудь в небе и не столкнулись ли мрачные птицы, глядя на профили которых мы обычно забываем, что оне не живые, а что только внутри их прячутся безымянные и обреченные человеческие единицы. Потому что, при всей нашей мирности и изъятости из ближайшего участия в свершающейся истории, — всё же случается, что и в наших краях эти птицы падают подстреленными. Приезжают с той стороны «гости» и увозят искалеченные птичьи трупы на своих грузовиках, а мы стоим у наших ворот и смотрим, не в силах выдать из глаз хотя бы одну слезу сочувствия.

И так сливается «важное» с «неважным», так мы привыкли к разговорам государств и народов, что ви-

дим на их месте усатые рожицы, рисованные детским карандашом; величие линяет, и доносится такая же перебранка, как среди кумушек на субботнем базаре. Поразительное снижение истории до быта! Важное перестает быть важным, какой-то неумный комариный гуд, и непонятно, зачем врываются в него имена, знакомые то ли по Гомеровой «Илиаде», то ли по «Освобожденному Иерусалиму» Торквато Тассо, а то просто по страницам Библии. Мы пытаемся проникнуться трагизмом дней, но вместо этого просыпается в душе злоба на режиссеров, играющих нашими судьбами, как футбольными мячами, — и всё это будто бы для нас, во имя нашего благополучия, от нашего имени, вся эта отвратительная ставка на нашу худобу и беспомощность, на незнание наше, на нашу огороженность от голой и неприглядной правды и на сентиментальность, тысячу раз использованную и опять нам предписанную. Ну, а если мы возмутимся и назовем черное белым и обратно, и если, в припадке отчаяния, как не раз в истории бывало, утратим благоразумие и пойдем с голыми руками на блиндированное чудище? Ничего доброго из этого не выйдет, но ведь мы ничего доброго и не ждем, и не далеко то время, когда терять нам будет вообще нечего. За стенами, нас окружающими, за прослоинами смежных и дальних стран, где так же живут и мучительно мыслят такие же люди, нам слышатся такие же голоса, и ведь что-то будет, что-то должно случиться, что-то взойдет на перепаханной орудиями европейской, африканской, азиатской земле.

Нет у нас новостей. Пока новость бежит, она по дороге стареет. У нас есть только раздумья. И вот мы думаем, что государства, нации, народы, это, в сущности, лишь отвлеченные понятия, границы которых искусственны и неясны, существо которых условно и непостоянно. Линии их поведения есть слагаемые ряда изменчивых воль. Успехи, неудачи, победы, поражения, ликования, страдания имеют смысл и значение лишь поскольку это касается живой определенной единицы,

всё это ощущающей и переживающей, стало быть касается меня, эти строки пишущего, или вас, их читающего. Армии не сражаются, народ не голодает, страна ничего испытывать не может, потому что это лишь нами измышленные представления, голые символы; сражается солдат такой-то, страдаете вы, голодаю я; и только он, вы, я, в таком-то случае поступаем так-то; и будущее зависит от столкновения или взаимодействия наших личных поведений.

Как же мне держать себя в отрезке предстоящей истории? Как строить завтрашнее и позднейшее будущее? Мне нет смысла скрывать или лгать, потому что говорю я лишь для себя и от себя, не облакая себя никем мне не предоставленным поручительством. Между несомненной честью и предполагаемой выгодой я могу делать выбор, но не должен называть одно другим. Если я беру спутника, то потому, что он мыслит со мной одинаково и у нас одна цель, а не потому, что кто-то мыслит за нас обоих и от нас обоих посылает сам себе приветствия и одобрения. Всё это ни малейше не обеспечивает мне успеха в отрезке предстоящей истории, и разброд «свободных волей» может привести к печальному концу для каждой из них в отдельности. Но будет ли он печальнее и трагичнее того, к которому нас приводит чужая и чуждая воля, действующая за всех и на всех сваливающая ответственность за свои действия? К чему наихудшему может привести меня такая независимость личного поведения? Только к потере этой независимости, к тому, что уже было, что есть, из чего не видно выхода. Но разве есть выбор для приговоренного к бессрочной каторге, кроме выбора между смиреньем и бегством? И если он смирился — каторга им заслужена. Она им стократ заслужена, если он своим смиреньем мешает и другим выбраться на волю.

Так мы рассуждаем в своей философической простоте, и чем больше и старательнее налагают на наши уста печать молчания, чем больше нам толкуют об

обязательствах, которых мы никогда не давали (они налагаются на нас до нашего рождения), тем глубже укореняется прорастающее подземно семя протеста в каждой отдельной единице, пришибленной жизнью и пышностью исторических событий. Когда вы читаете в газетах о поразительной дисциплине и превосходном спокойствии граждан такой-то страны или такого-то района военных действий, о том, как стройными парами эти граждане спускаются в подземелья, а утром выходят на работы, и как они, еще ничего не успев толком узнать, уже успели единодушно и с полным одобрением отозваться на принятые меры, — вы не должны забывать, что сами не отзывались и моего отзыва не слышали, и что «граждане», «страна», «нация», «армия» — только символы, отвлеченные понятия, лишенные слуха, зрения и голоса, и что за них отозвался чей-то приказ и чье-то быстрое перо, а что действительно творится в душе отдельного гражданина — то, может быть, и сам он еще толком не уразумел, а может быть, уразумев, держит про себя. Совет не бесполезный для тех, кто не хочет поражаться неожиданностями и упрекать себя в близорукости. Всё это — вообще, без намека на определенный кусок географической карты, обведенный черточками и утыканный точками городов. Впрочем, мы достаточно навидались, с какой легкостью вчерашняя уверенность превращается в сомнительное сегодня и в завтрашнюю противоположность.

Французский лексикон обогатился недавно словом «аттантизм», введенным в употребление бойкой парижской печатью. Этим словом осуждается всякая политика выжидания, хотя нельзя всё же отрицать, что она принесла Франции некоторую пользу. Но политика не наше дело, наше дело бытовые настроения. Куда ни повернетесь, в какую страну ни направите взоры, всюду и везде вы попадете в эту атмосферу всеобщего аттантизма. Чувствуют вполчувства, говорят вполголоса, одновременно прислушиваясь, и никто не хочет разогнать в полную меру маховое колесо. В крушении



всех уверенностей остаются надежды только на время, хотя бы трудно было сказать, на чью мельницу оно отдаст свою прибыльную воду. Иным это может казаться отсутствием живой энергии, неспособностью подталкивать историю в желанном направлении. Но аттантизм враждебен только тому, кому безразлично, по живым ли телам или по трупам он возьмет приступом этажи своих желаний, — хороша любая плата чужой монетой. Тот же, кто сам пашет, сам сеет и сам выращивает и собирает, знает, что напрасно тащить за макушку медленные всходы, что лучше сделает это в нужное время солнце, в нужное — благодатный дождь.

Быт людской превратился в состояние непрерывного напряженного ожидания: в какой-то час что-то случится, и тогда этот быт сойдет с мертвой точки, колесо завертится легким ходом, заработают мирные хозяйственные машины, люди будут снова чувствовать полным чувством и говорить полным голосом. Ждут этого семьи, ждут армии, ждут народы стран воюющих, отвоевавших, завоеванных и нейтральных; ждете вы, жду я.

И тут психологически любопытно, что понемногу делается безразличным, как это произойдет — лишь бы случилось скорее. Потому безразлично, что ни новая идеология, миру обещанная и долженствующая его спасти, ни старая, которая себя защищает, не стоят уже принесенных и предстоящих жертв. Прошлое не было раем, грядущее им не будет. На бирже человеческих идей пали все ценности, вылиняли все иконы. Я говорю про ценности общественной философии, про иконы идеологов счастья коллектива. Еще немного, и останется только «я», «мое» и «оставьте меня в покое». И именно покой — предмет страстных ожиданий, а не победы, не «жизненные пространства», не «защита прав малых народностей», не жизнь и не смерть демократий. Если не придет этот покой — придет отчаяние, и оно решит то, чего не может решить оружие. В этом и смысл всеобщего «аттантизма». Вы, конечно, поймете, что

приходится говорить «вообще», когда нельзя говорить «в частности».

Я вам пишу в июне, в середине месяца. За окном мелкий, отвратительный, ноябрьский дождь; таков же был весь месяц май. И вот мы ждем — ждем хорошей погоды, хотя никто нам ее не обещал. Будем, возможно, ждать до конца месяца, будем ждать в июле, в августе. Легко может случиться, что мы не дождемся, — а я живу в краю огородов, садов и виноградников, для которых погода — не вопрос об удовольствиях и развлечениях. И вот, если мы не дождемся, если наше терпение, наконец, лопнет и прорвется, тогда, тогда... и я чувствую полное бессилие сказать, что же тогда случится, то есть заплачем мы или рассердимся. Заплавав — раскиснем, или же, рассердившись, объявим войну небесным силам. Пророчествовать дерзко и бесполезно, а предположения слишком часто нас обманывали. Я знаю только одно: если мы раскиснем, то уж окончательно и безвозвратно, если же восстанем, то перейдем пределы и своих и чужих ожиданий.



(17-22. 6. 41)

Условия, в которых приходится жить во Франции, таковы, что было бы чрезвычайно трудно составить себе ясное представление о господствующих настроениях, об отношении населения к событиям внешним и мероприятиям внутренним, об единстве национальных чаяний или, наоборот, их разброде, о довольстве или недовольстве, об отношении к сотрудничеству, к происходящему в колониях и проч. Нельзя полагаться на свои личные наблюдения и выводы, потому что они действительны только для данного места, данной среды, и обобщать их было бы неправильным. Случайно я живу в маленьком городе с полудеревенским населением, и знаю, что здесь общие настроения за год почти не переменились: прежний враг остается врагом, в силе остаются прежние упования, и перемена общей политики здесь не встречает ни интереса, ни сочувствия; в этом сказывается консерватизм крестьянина, прямота его патриотических понятий; он не думает, чтобы национальные бедствия можно было поправлять политическими перестановками лиц и перекраской знамен, и он верит только в продолжение упорного своего труда, и всё, направленное к помощи этому труду, он принимает, конечно, одобрительно, а всё стороннее, словесное, пустое, ему чуждо и враждебно. Он хозяйственно взвешивает выгоды и невыгоды каких-то помимо него заключаемых соглашений, но лишь поскольку это реально и немедленно отражается на деле, а не строится на военных вероятностях и дипломатических соображениях.

Обиженный, он не настаивает на злопамятстве, но тем менее способен на искусственные улыбки; ограбленный — может забыть и простить, но без восторгов и объятий. Но возможно, что это — настроения одного данного местечка или лишь нескольких подобных, находящихся в таких же условиях, и хотя это подлинная Франция, но всё же не вся Франция.

О «всей» Франции или о преобладающем большинстве ее населения мы говорить не в праве, не слыша ее голоса. Если раньше некоторым его отражением могла быть печать или публичные открытые отклики общественных организаций, то теперь это исключено. Без опасения серьезных ошибок, мы можем основываться только на официальных документах, на правительственных обращениях к населению, к счастью достаточно обильных. Речи главы государства и его ближайших сотрудников дают в этом отношении не малый материал, так как, настаивая всё время на необходимости национального единства, они ясно подчеркивают и прискорбные разногласия, которые надлежит уладить и устранить. Без этих авторитетных ссылок и прямых упоминаний мы не могли бы делать попыток суждения, опасаясь упрека в голословности. Теперь эта задача весьма облегчена.

В этом отношении исключительно важна и интересна речь, сказанная главой французского государства в годовщину взятия им на себя нечеловечески трудной задачи спасения Франции. Подчеркнув свое убеждение, что Франция возрождается, маршал, со своей обычной искренностью и прямоотой прибавил, что «большое число французов отказывается это признать». В какой другой стране была бы возможна такая откровенность правителя, обладающего диктаторской властью? Отказывающихся признать выправление Франции маршал упрекает в «короткой памяти» и напоминает им ужасы, пережитые ими ровно год назад, в дни поражения. С полным пониманием он указывает и на причины недовольства «большого числа французов». Эти причины в

том, что, несмотря на сотрудничество, далеко не все беженцы могут возвратиться домой к своей работе, что возврат военнопленных ограничился лишь некоторыми категориями работников, что снабжение населения продуктами «производится плохо», что дети не едят вдоволь. И он сам признает, что испытания еще не кончены и не кончатся долго. Очень многое разъясняют указания маршала на оттенки настроений, «большого числа французов», считающих, что в происшедших соглашениях с бывшим неприятелем они «проданы, преданы, оставлены». Опять — удивительная простота и смелость признания существующих настроений, которых мы, сторонние наблюдатели, могли бы не заметить и, конечно, не решились бы указать без столь авторитетного свидетельства. Совершенно ясно, что дело тут идет о непонимании «большим числом французов», какие выгоды может дать Франции ее теперешняя германская ориентация и что она должна заплатить за эти выгоды (то есть пока за возврат инвалидов и старых комбатантов и за право писать родным открытки в семь строк текста); а также о том, входит ли в счет соглашения дальнейшее пролитие французской крови, при том отчасти в борьбе с такими же «непризнавшими» соотечественниками. Отмечая наличность «горечи и отчаяния», старый солдат Франции призывает граждан быть людьми «старой и славной нации». Речь удивительно богатая указаниями и разъяснениями для всех, кто хочет понять настроения французского народа.

Далеко не с такой прямоотой и ясностью выражается в своих обращениях к нации адмирал Дарлан, но из его речей мы узнаем о многом, что могло бы ускользнуть от нашего внимания. Так, например, он свидетельствует о существовании в населении некоторого недовольства действиями правительства, что он объясняет «французской традицией считать правительство ответственным за все народные несчастья». Это недовольство выражается в «бесплодных диспутах и резкой крити-

ке». Мы узнаем также, что население охотно оказывает доверие рассказам и слухам из неофициальных источников и заграничному радио и «многие принимают эти сведения за бесспорную истину». Любопытны его утверждения, что население не доверяет переговорам с бывшим неприятелем, так как не может себе объяснить, почему немцы могли бы пойти на некоторые уступки, не получая взамен каких-нибудь исключительных для них выгодных обещаний. Ясно из его речей и «чувство упорной враждебности» населения в отношении предлагаемого ему сотрудничества, — чувства, которое немцы понимают и которое мешает им освободить военнопленных, чтобы тем «не увеличить числа врагов». Против этого «сентиментального реагирования» адмирал особенно настоятельно выступает, очевидно совершенно его не разделяя. Он много говорит о необходимости создать иной «климат» в стране, создать такое настроение, пока отсутствующее, при котором стало бы возможным заключение более выгодного для Франции мира, иначе говоря, «сообразовать поведение с доводами разума», а не с чувствами, от которых население, повидимому, никак не может или не хочет отделаться. Как и из речи маршала, из заявлений адмирала с несомненностью вытекает, что не только голистские настроения в стране сильны, но и пропаганда коммунистов, старающихся сейчас играть на чувствах «патриотических», являются не малой помехой в деятельности правительства. Всё это также недоступно нашему непосредственному наблюдению и, благодаря авторитетности свидетельствующих об этом лиц, приобретает особое значение и многое разъясняет.

«Вы не преданы, не проданы, не оставлены» — говорит маршал. Мы можем отсюда видеть, как трудна задача правительства Виши; свой призыв к доверию оно вынуждено сопровождать свидетельствами собственной благонадежности. Это тем труднее, что в речи адмирала содержится обвинение в том же правительстве предшествовавшего, не безответственного и не

обладавшего столь безграничными полномочиями. Личное доверие, которым пользуется глава государства, устраняет, казалось бы, возможность таких крайних предположений; ни предать, ни продать он, конечно, не способен; что население не оставлено правительством — оно это достаточно чувствует, поскольку во всех областях жизнь его подчинена контролю и руководству. Но, при неправдоподобности «измен», могут быть предположения о серьезных ошибках, от которых ни одна власть не застрахована, особенно в положении внешней связанности. Возможно также, что реализм политики, на котором так настаивает адмирал Дарлан, не соответствует «чувству упорной враждебности», о котором сам он свидетельствует, и «сентиментальному реагированью», которое так понятно в людях, испытавших тяжкий удар по национальному самолюбию. То, что сравнительно легко забывается в политической игре, не так просто изживается средним обывателем, образующим «большое число французов». Отсюда и проистекают осложнения, тормозящие предпринятые правительством реформы, и его общую политику в предполагаемом европейском масштабе.

В момент, когда эти строки пишутся, война грозит перекинуться на восточные границы Европы и за океан. Не пытаюсь строить в связи с этим предположений, но трудно сомневаться, что внутри Франции это должно резко повлиять на развитие господствующих настроений, пока внешне ни в каких актах не выражающихся. Всё зависит, разумеется, от хода событий, и не только «сентиментальное реагированье», но, возможно, и сама высокая политика правящих, поскольку она, действительно, реальна. «Национальное единство», к которому призывает маршал, встречая в этом отношении полный общий сочувственный отклик, может осуществиться в формах и направлениях достаточно неожиданных и удовлетворяющих огромное большинство. Но гадания напрасны и не нужны. Мы можем вполне ограничиться предпосылками, почерпнутыми из источников чисто

официальных, каковы цитированные речи, чтобы с ними сообразовать возможность предположений о дальнейшем. В смысле настроений — Франция на перевале. Волей судьбы ее будущее в полной зависимости от будущего Европы, которое так старательно хотят угадать политики, чтобы заранее с ним сообразоваться, даже несколько забежать вперед. Но достаточно ли ясно оно наметилось. Не вызывает ли оно не малых сомнений? И не усилят ли этих сомнений настроения внутренние, разумеется не в одной Франции? Всё это вопросы, которые именно сегодня можно только ставить, но решать было бы и неосторожным и преждевременным.



**ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ**



(10. 7. 41)

Отныне и впредь я могу говорить с вами только о том, что не касается ни войны, ни политики, ни вообще современности. С палитры художника снимаются зловещие краски и остаются лишь необходимые для живописания незабудок и цветочков, называющихся «*noli me tangere*» — «не тронь меня!» — вы их, конечно, знаете, они так хрупки и нежны, что при малейшем грубом прикосновении свертывают листочки и роняют лепестки. Во всем этом я не вижу никакого неудобства и, напротив, испытываю большое удовлетворение. В мире прекрасно только вечное — Природа, жизнь многомиллиардных существ, не знающих человеческих нравов и законов, гармония звуков, радуга чистых красок, свободный полет творческой мысли. Мы слишком много значения придаем сегодняшнему дню и его злобам. Необходимо окошечко для легкого дыхания, нужны хотя бы минуты полного отказа от суеты сует. И тогда внезапно перед вами открываются широчайшие дали и вы видите, что недостойное, казалось бы, вниманья, в действительности полно интереса. Вы лежите на траве, на земле, всё равно кому принадлежащей; в эту минуту ее клочок ваш, никто его у вас не оспаривает. Вы смотрите в небо, и если его чистоту прорежет бомбовоз, то он покажется вам такой же величины, как комар, собирающийся жигануть вас в лоб; за ворот заполз заблудившийся муравей, не питающий, впрочем, никаких враждебных чувств, — как и вы к нему относитесь с сочувственным интересом, даже го-

товы помочь ему благополучно выбраться. Пчела забирается в чашечку цветка, паук проявляет свое изумительное ткацкое искусство, кузнечик изображает скрипичного вундеркинда, гудит тяжеловесный жук, которого так трудно заподозрить в любовном экстазе, а между тем именно любовью кругом пропитано всё, от желтого лютика до высокого тополя, от стрекозы до земляного червя, любовной жаждой продления жизни в потомстве, ощущением торжественного благополучия на той самой земле, которая нам кажется тесной и изрытой волчьими ямами и каждый клочок которой мы удобряем железом и кровью.

Но это не обязательно — ограничивать круг своих мирных наблюдений цветочками и букашками. Всё значительно или всё ничтожно, в зависимости от вашего к нему подхода. Обычные масштабы теряют значение. Слон равен мошке, родина — песчинке земли, макрокосм — микрокосму. По человеческой слабости, я курю папиросу и бросаю окурок; но затем, спохватившись, я отыскиваю его среди травы и несую домой как великую драгоценность, потому что, презренный сегодня, он завтра будет спасительным. Все мужчины в нашей местности с почтением произносят слово «окурок». Сейчас нам дают пакет табаку на три дня; этого мало, но это терпимо; скоро будут выдавать столько же на две-три недели. И вот тогда скопившиеся окурки будут спасать в очень тяжкую минуту. Но эта тема всё-таки слишком злободневна, трудно приучить себя избегать современности.

Почет и внимание прошлому! Если бы память наша не была слишком короткой, мы всякий день могли бы справлять юбилеи каких-нибудь, по возможности приятных событий: рождение, отъезд оттуда-то, приезд туда-то, знакомство с тем-то, начало работы, ее успеш-

ное завершение; и это только в жизни личной, — а сколько годовщин исторических! Я всегда с удовольствием читаю первую страницу одной догадливой иностранной газеты, которая, независимо от боевых событий, упрятанных на третью и на последнюю страницы, прежде всего приводит читателя в ровное и спокойное настроение, посвящая первый лист исключительно статьям исторического характера. Если, при верстке этих статей, остаются незанятые кусочки, они заполняются любопытнейшими краткими заметками о том, как хоронят в Китае, кто изобрел кофейную мельницу, сколько у человека в среднем волос на голове, какова на луне температура днем и какова ночью, почему и как танцуют мыши. Всё это настолько интересно и снабжено такими зазывающими заголовками, что нельзя не прочитать. И лишь затем, с нервами спокойными, с лицом улыбающимся, вы переходите к сообщениям, что с городом, где вы родились, случилось то-то, например, он снесен с лица земли, или что вы сами, вообще говоря, неизвестно кто и зачем живете на свете. Вы, конечно, взволнованы, но ваша мысль невольно возвращается к недавним впечатлениям: еще мелет мельница, еще танцуют мыши, король Карл Шестой утешается игральными картами, изобретенными для его развлечения почтенным Менетрие на исходе 14 века, лягушки обожают красный цвет, рыбы запах шафрана, крокодилы отказываются плодиться в неволе. Множество милых мелочей бирюльками путаются и цепляются в сознании и не дают ему взорваться. На состязании брадобреев победитель обрил человека в сорок восемь секунд, — и вы чувствуете, как лезвие бритвы скользит по вашим щекам; но вы не перерезываете им горла и жизнь продолжается. Не теряйте надежды; потеряв — ищите новую прицепку к жизни.

Источник большинства наших страданий в том, что мы привыкли обращать лицо к будущему. Это ошибка — натружать глаз, смотря в туман. Повернемся к будущему спиной — и мы увидим единственно реальное, наше прошлое. Всё, что было в нем хорошего, остается в памяти; что было плохого — скидывается со счета, как уже прошедшее. Цель в том, чтобы к прожитым годам, медленно отступающим в даль, прибавить еще день, еще неделю, еще один год — и наблюдать бег времени; так с кормы парохода мы смотрим на пенистый вал, стремительно убегающий и всё-таки остающийся на месте. Изумительное единообразие неповторимого! Или возьмите другой образ — образ этих строк, как будто набегающих на чистое пространство бумаги, а в действительности все время отступающих вдаль, в прочитанное, в бывшее, в случившееся; мысль исчерпана, впереди ничего, а чернильный червячек всё-таки продолжает виться, завоеывая пространство и оставаясь на месте. Как валы потревоженной пароходом воды, уходящие в спокойствие дали, как сжимающиеся в ровные грядки строки письма, — так и вся наша жизнь, с ее взрывами, провалами, кипеньем, уходит в спокойствие перебродившего и уже невозмутимого более бытия, в область памяти, в отработанное «было», не нуждающееся в оценках, — только не обертывайтесь в сторону современности и не пытайтесь угадать, что еще она вам принесет. Всё равно, в какой-то момент она оборвет свой бег, — страница кончится, застопорится пароходная машина; легкий толчок — и дали погаснут: бывшее и будущее сольются в нам непонятном небытии.

---

Так в горячую и душную июльскую ночь думал человек, запертый в раскаленном за день каменном мешке

без окна, только с маленьким круглым отверстием над дверью, в котором застряла бы детская голова. Дверь на железных засовах. Последний воздух выкачан легкими. Соломенная подстилка слежалась и тверда, как камень. Всё это бессмысленно и бесцельно; завтра скажут, что это лишь простая необходимая формальность, потому что нельзя безнаказанно быть сыном слишком большой страны. Это произошло в том же маленьком и приветливом местечке, которому он посвятил столько строк благодарного внимания.

Приподнявшись на локте, человек слушает. Ни мотора, ни простого дыханья; ни даже комариного гуда — сюда комар не залетит. Стоило ли так долго жить? Опять Тютчев: «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые!» И опять Марк Аврелий: «Если страданье непереносимо — оно убивает; если оно не убило — значит оно переносимо». — Странно, что будущее представляет интерес только в том случае, если оно в масштабе наших житейских возможностей; но предстоящее через сто лет, тысячу лет, уже не вызывает тревожных мыслей — только холодный академический интерес. Ради близких можно беспокоиться о ближайшей четверти века, ради себя — о конце лета, осени, пожалуй зимы; но, конечно, не о слагающейся истории.

Что до прошлого, то всё это было уже много раз — и стены, и мешок слежавшейся соломы, и духота; и молчание ночи. Меняются страны, языки, причины, поводы, — сущность остается такою же. Несколько способна еще удивлять бессмысленность маленьких мелких мучений, которым человек подвергает человека, и то, что самое важное и ответственное — лишение человека свободы — поручается самым тупым и ничтожным людям. Затем эти люди долго пишут отвратительным пером какую-то ведомость особо-чудовищного стиля, ставят

печать — и, нарушив все естественные человеческие законы, считают право и справедливость строго соблюденными.

Так в душную ночь думал человек о прошлом, — потому что всё, что случается, делается прошлым в ближайшую минуту.



**O H A C**



(18. 7. 41)

Незначительное, на этот раз, мы сами, наша судьбишка, наша кропотливая и малокчемная жизнь на чужбине. Есть два русских народа. Один — огромный, защищающий свою землю от вражеского вторжения. Другой — маленький и запуганный, вкroppившийся точками и пятнышками в земли чужие и выжидающий, какие еще суждены ему испытания, куда его швырнут, в чем обвинят, за чьи дела заставят расплачиваться горбом. У этого второго народца нет ни границ, ни защитительных линий; у него нет даже права на суждения, как нет и единства мнений; его патриотизм подмочен, его национальность неопределенна и разно толкуется документами, при которых он состоит в качестве приложения не высокой важности. Его происхождение различно: беглецы, спасшиеся, высланные, переменявшие цвет красный на цвет белый или обратно, никакого цвета не знавшие, как не знавшие и родины отцов, смекающие, непонимающие, пустившие прочные корни, оставшиеся висеть в воздухе, а в сущности говоря — внепланетная пыль, нити паутины в бабье лето. Не обижайтесь, это так! Сам по себе каждый — единица; и единице нужно жить и кем-то и чем-то себя считать; и честь свою соблюдать, и ссориться с другими, и отстаивать свои эфемерные права, и прошлое ценить, и в будущее засматривать в узкую щелочку; но вместе взятые — подобие народа, отсеяв политической молотилки, «человек за бортом», которому не бросят спасательного пояса и который, никакими мощными взмахами рук, своего корабля не догонит.

Я не знаю, как в Америке чувствуют себя соотечественники; надеюсь, что в стране свободной легче прилагаются силы, меньше мешает жить ностальгия; здесь, в замиренной и старающейся возродиться Франции мы чувствуем себя занозами в чужом теле. Эти занозы были некогда встречены с большой приветливостью, даже обласканы, и они сумели не паразитарно приспособиться к французской жизни, т. е. к относительной гражданской свободе, к обильному потреблению фасоли и зеленого горошка, к носовым звукам певучей речи и трудным сюбжонктивам, к вечерним силуэтам Лувра и Нотр-Дам-де-Пари, открытым костюмам купального пляжа, управлению рулем таксомотора, стоянию за фабричным станком вместо университетского курса, к найму могил сроком на пять лет с правом возобновления контракта. Попутно, за бездеятельностью собственного патриотизма, — сердца наши отзывчивы, — усвоили себе патриотизм французский, вплоть до записи добровольцами при первой военной тревоге. Горе Франции перенесли, как свое личное горе, — и это так понятно, если вспомнить, что еще на школьной скамье мы учились почитать исторические даты, сделавшие Францию страной передовых европейских идей. Из прошлого оставили себе российскую мистику, искусство хорового пения и балета; всё современное предоставили сородичам, оставшимся дома: ломать, кривить, кроить, выправлять, обновлять и вновь создавать жизнь страны, для нас потерянной, которая, оставшись в сердцах, уже перестала уместаться в сознании. То же было, конечно, и в других странах российского рассеянья, та же относительная ассимиляция, с поправками на местожительство, со вставками в свой язык хозяйственных и жаргонных словечек страны соответствующей.

Мы стали занозами не сразу, а с некоторой посте-

пенностью. Русские — не бездарная нация, и в известных областях, особенно в области художественной, где состязание талантов более свободно, обнаружилось некоторое русское засилие. То же, в меньших размерах, в области прочих свободных профессий, куда удавалось проникать русским, чаще — натурализованным. И заноза почувствовалась.

Нужно, впрочем, сказать, что не столько тело почувствовало занозу, сколько она ощутила свою неуместность. Но ведь ей деваться некуда — пути ей закрыты и к передвижениям она почти неспособна. В виду неловкости положения, а еще больше по тягостным условиям жизни, также, конечно, и из простой вежливости, русские усилили свою смертность в старших поколениях, предоставив детям становиться заправскими французами, не читающими Толстого в виду его наивности, а остальных писателей по недосугу и по отсутствию их в переводах. Количество русских эмигрантов и высланных исчислялось во Франции сотнями тысяч. Но вот на днях, в связи с «крестовым походом на Россию» ( в чем эта связь — дело не нашего суждения), были поголовно задержаны все русские в полосе свободной Франции для исследования их личных качеств, и оказалось, что их всего 10.200 человек, — цифра совсем ничтожная. О Франции несвободной где поголовного набора не было, цифра неизвестна и приходится ждать результатов происходящей сейчас во Франции переписи. Неизвестно также число мобилизованных, убитых и пленных русских, число натурализованных и уехавших. Во всяком случае нет сомнения, что количество заноз весьма уменьшилось, что и понятно, принимая во внимание возрастной состав эмиграции и число специальных русских кладбищ. Время лечит раны радикальным способом; и оно не заслуживает упрека в медлительности.

Нет, мы не можем упрекать французский народ в дурном к нам отношении. Именно в эти последние дни, в дни внезапных неприятностей (я подбираю выражения), казалось бы ничем не заслуженных, русские могли оценить исключительную ласковость простого населения, не понявшего применения к русским меры, которая не была принята даже к итальянцам в дни войны с Италией. Говорю по личному опыту и по отзывам других. Трогательнейшее проявление сердечности, со стороны знакомых и совсем посторонних людей. Общее естественное желание оправдать свою страну, которая не совсем самостоятельна в действиях, — что мы, конечно, не хуже других знаем. В маленьком местечке, где все люди на учете, знаки внимания не ограничиваются словами, а подчеркиваются тарелочкой ягод, пучком салата, яйцами от собственной курочки. В знойный день на улице незнакомая старушка сует свой зонтик — не угодно ли укрыться, вас так утомили, вам нужно беречься. Прекрасные люди, платящие движением человеческого сердца за обиду, нанесенную административной машиной. Мы не предъявим иска — мы квиты, инцидент исчерпан. Говорю за себя — не смея говорить за всех. То, что было нам любо во Франции, не умалилось в своем значении; а было многое любо.

Дело, конечно, не в тарелке красной смородины, не в пучке салата и даже не в зонтике; дело в том, что мы, с нашим политическим и житейским опытом, не сливаем в единое понятие таких разных и часто несогласных понятий, как территория, население, власть; мы каждое из них ценим и воспринимаем особо. К сожалению, по отношению к нам этого не делают — и создается путаница. Как может быть русский эмигрант или изгнанник патриотом своей страны, то есть своей земли и народа? Очевидно может, даже оставаясь заклятым врагом своей власти; и никак нельзя отнять у

него это право. Очень благорасположенный француз спрашивает: «почему вы не натурализуетесь у нас, это не так трудно?». Ему не приходит в голову, что вопрос несколько оскорбителен и он вполне убежден, что предлагает повышение в ранге; но я никогда не предложил бы ему обратного, щадя его национальное самолюбие. В здешних военных обзорах пишут: «Киев, столица Украины» — это про «мать городов русских!» — совершенно не ощущая нелепости выражения; пишут с такой же простотой, как «Бейрут — столица Сирии». Или самый эпитет «крестового похода», столько же кощунственный, как кощунственно называть русское войско «большевистским», чего даже советское радио никогда себе не позволит. И если бы всё это писалось и говорилось «с обдуманым намерением» (бывает и так), а то больше просто по незнанию, непониманию и непростительному безразличию. Трудный орешек Россия для иностранного зуба, и долго еще ей суждено быть загадкой, что бы с нею ни случилось. А что с ней может случиться — это не тема для писем о незначительном. И говорю я здесь не о России, а о нас, вольных или невольных неучастниках ее испытаний. Всё же раны ее и на нас отражаются стигматами.

О нас, о маленьком народце, обреченном во всей Европе на молчание, не имеющем больше своей печати, своих открытых мнений, хотя бы едва слышного голоса. У этого народца была большая мечта, — во всяком случае у среднего и младшего поколения: когда-нибудь увидеть свои края. Мы говорить об этом сейчас не будем, только поставим вопрос: какой ценой? Ценой разгрома, ценой гибели миллионов? Велика такая цена, о ней страшно думать: так не покупается маленькое личное счастье — если счастьем был бы возврат. И только вне личного можно сейчас мыслить о судьбах России. Если здесь пучок салата искупает обиду, —

там и салата не нужно, и не нужно даже доброго слова. Нет во мне и тени того патриотизма, которым хвастливы европейские народы — но матери счета не предъявлю. Говорю бескорыстно, на восток не глядя, охотнее готовясь к иному Востоку. И говорить хотел бы не от себя одного, — но уж слишком вошло в обычай смело говорить за всех, а люди так разны. Не беседа, не чувствительная откровенность: только намек на думы, которые в эти дни неотвязны и трепетны. Точка.



**МЫ И ДРУГИЕ**



(27. 7. 41)

Между временем, когда я пишу и когда вы читаете, проходит, обычно не менее месяца; а так как искра радио (или может быть не искра, но так говорится) не знает ни границ, ни контрольных в пути задержек, то приходится иногда занимать вас темами, утратившими и свежесть и прямой смысл. Но ведь события меняют соотношение сил, оставляя человеческую природу неизменной. Может быть, сейчас уже нет больше советской России, а может быть и гитлеровской Германии: однако русские и немцы существуют несомненно, и говорить о них не поздно. Уже много десятилетий русский человек и славянская его душа выступают перед судом Европы. Достоверные свидетели, основываясь на страницах русской истории и на романах Достоевского, утверждают, что славянская душа не столь преступна, сколь пассивна и руководится принципами «авось», «небось» и «ничего». Но этим далеко не всё достаточно объясняется, и иногда, наоборот, пассивность сменяется непозволительной активностью, являющую опасность заразы для народов европейских. В глазах некоторых мы, русские — азиаты. «Азиаты», это очень нехорошо, потому что это значит — не европейцы. Вероятно даже это оскорбительно — с тем и говорится. И хотя Азия внесла нечто в области человеческого духа, в религию, в искусство, и хотя говорится, что «свет с Востока», но всё-таки парламент, панталоны, готический стиль, кинематограф и многое другое придумала Европа, которую за это следует почитать. Нашей азиатчиной, кстати сказать, объясняется малопонятное и совершенно непозволительное поведение на фронте русских солдат, поскольку это проявилось в первый месяц германского нашествия. На случай, что вы не читали отзыва об этом германских газет, я приведу маленькие отрывки. «На фронте русском, — пишет корреспондент,

— дело идет о совсем ином противнике, чем какого мы имели в Бельгии и Франции. Там мы сражались с людьми, доказывавшими свою интеллигентность и свой опыт; здесь враг тупой, не то что бы смелый, но стойкий по отсутствию чувствительности. Он является частью безразличной и бездушной машины». — «Эти люди, — поясняет пехотный командир впечатления журналиста, — дерутся, как безумные, до тех пор, пока могут шевелить рукой. Они не сдаются». И он добавляет, что они скорее дают перебить себя или раздавить танками, чем позволяют себе скрываться и убегать. И корреспондент делает вывод: «Советская армия не обладает моралью в том смысле, как армии западные».

Очевидно, это еще хуже, чем просто быть азиатами. Но мы этого не сознаем. Мы читаем отзыв немца и проникаемся некоторой гордостью. Мало того. Перед нами встает лицо оценщика, удивленное и глубокомысленное, и в этом несомненно честном, по-своему, лице мы дерзко усматриваем некую изумительную, вековую, расовую тупость (возвращаю автору слово), безысходную, пивную, наследственную, белесую и бесцветноглазую. Воспитанный человек не может понять, как это русский солдат не уступает, по примеру интеллигентных европейцев, дорогу несомненно сильнейшему противнику, почему он не раскланивается и не отходит в сторонку, сохраняя в целостности свою жизнь и свою военную честь; потому что сейчас сдача на милость победителя не только не лишает чести, а, напротив, толкуется иногда, как особо мудрый и героический или, хотя бы, по меньшей мере хитрый и ловкий прием. Прием армий интеллигентных и опытных, а не бездушных дикарей. Зачем, действительно, умирать в безнадежной борьбе, когда можно почетно и галантно сдаться? «Вонзил кинжал убийца нечестивый в грудь Делярю; тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво: благодарю». И только чистые азиаты, не обладающие чувствительностью, могут предпочитать сдаче отчаянное сопротивление и смерть. И, конечно, прав немец, утверж-

дая, что русская армия, поскольку она себя проявила в боях, «не проникнута моралью в европейском смысле». Боюсь только, что немецкий мыслитель заблуждается в оценке морали побежденных европейских противников, которых он, повидимому, считает благоразумными детьми, сознавшими свои ошибки и искренне любившими завоевателя.

Итак, наша армия — безразличная и бездушная машина. Об этом свидетельствует представитель народности, создавшей величайшую в мире механическую мясорубку, обратившей собственную страну в казарму, где не только действуют и живут, но и мыслят по команде и по указке, где слово «дисциплина» давно заменило слово «свобода». Может быть корреспондент прав, так как таким же, приблизительно, идеалом многие годы руководилась и российская власть. Но как примирить это с русскими «авось», «небось» и «ничего». С расплывчатостью славянской души, «широтой натуры», прославленной ленью и прочими качествами, которыми нас награждают. Правда, армия — не народ, а искривление народной души, элементарное ее упрощение. Всякая дисциплина выхолащивает самобытность духа. Всё-таки толкование, которое дается «бездушной машине», ее свойство умирать, а не сдаваться, настолько почетно, что мы можем считать себя удовлетворенными. Большого азиатам и требовать нечего.

Со своей стороны мы тоже имеем право наблюдать и делать осторожные выводы. Немцы — народ удивительный. Они, например, искренно убеждены, что раса, побеждающая моторизованной силой, есть раса высшая, что тот народ и есть самый лучший, который может подавить все другие, у которого самая сильная и обученная армия и который, своей воли не имея, подчиняется и в военной и в гражданской жизни слову командира. Им, повидимому, никогда не приходило в голову, что воинственность, желание побеждать вооруженной силой есть качество дикарей, не преодолевших звериного состояния расы, что оружие есть худшее из всего,

что создало человечество, что армия есть величайшее, пусть вынужденное, несчастье народов, препятствующее развитию начал духовных, унижающее личность, лишаящее ее свободы самоопределения, превращающее в механическую, не мыслящую, безвольную единицу. Они не представляют себе, что современная Германия, высоко развившая технику, поставившая науку на службу внешней силе, высоко цивилизованная, одновременно убила и вытравила у себя литературу, искусство, философию и культурно снизилась до пределов крайних, граничащих с состоянием проделавшей то же самое России, с которой она взяла пример политического режима, грубой диктатуры, но с которой никогда не могла соперничать в природном духовном богатстве. И они никогда не поймут, что народы побежденные могут смотреть на своих победителей с жалостью и состраданием, в своем несчастье им не завидуя, и, может быть, даже не питая к ним законной злобы. Вчитайтесь и вслушайтесь в горделивые заявления: «выиграно величайшее в истории сражение на еще не бывалом в истории по обширности фронте». Фраза, которую читают с уважением и преклонением, но которая, в подлинном человеческом понимании, значит: «произошло еще небывалое в истории преступление, ни с чем несоизмеримая катастрофа», — безразлично, кто бы ни оказался «победителем», то есть вырвавшим из жизни наибольшее число молодых и здоровых людей. Несчастье, именуемое триумфом, радость и честь человекоподобного. Война так далеко увела нас от простых человеческих понятий, в своей простоте цельных и чистых, мы так обрасли шерстью, что такие слова могут быть приняты за парадокс или намеренную наивность, — но ведь именно на этих понятиях мы строили культуру и ими преодолевали в себе животное. И внешнее торжество расы, организации, дисциплины может оказаться лишь свидетельством ее вырождения и культурного упадка, истории знакомого. Так азиаты отвечают европейцам, впрочем не надеясь их убедить.

Немецкой расе свойственен гений второстепенности: обстоятельнейшее развитие чужой идеи, разработка чужой модели, исчерпывающее применение на практике чужих открытий. Ум не постигающий, но незаменимый в исполнении, изумительный в использовании и приспособлении. Но вот случилась в мире заминка: умолкло слово творящего Художника — и место его занял маляр. В труде усердный, он принял брошенную Художником палитру за эскиз новой гениальной картины — и заляпал весь мир суматохой красок, сделав безумие системой. Мы присутствуем при опыте зеленщика познать тайны природы, рудокопа — сделать ювелирную вещь, каменотеса — построить здание. Опыт страшный по трагическим последствиям, потому что никто не может причинить столько вреда, как человек с низким лбом и силой быка.

Во мне нет желания обидеть, и хочется быть справедливым. А впрочем, — есть всё же, да и не может не быть, естественная злость. Уж очень много и немцы, и вообще европейцы, позволяют себе по отношению к русским, и в характеристиках, и в обращении с находящимися за рубежом русскими, в особенности в последнее время. Все эти расовые характеристики, в сущности говоря вздор. Но нельзя не высказать, какое глубокое презрение вызывает в нас расовая кичливость, германская, латинская, саксонская, всё равно какая, всегда необоснованная и дрянненькая, и какое счастье быть от нее свободной, одновременно чувствуя, что ни за какие блага в мире не поменялся бы ни своей страной, ни своей расой, ни своей культурой с людьми, никогда не знавшими простора и горизонтов России, поклоняющимися в политике — реализму, в личном бытии — сантимам, и совершающими по мелким водам житейское плавание между берегами собственного благополучия и идеологического крохоборства. Именно сейчас особенно приятно это высказать, в дни, когда укрощенные пигмеи мечтают вернуть себе грошевое благополучие путем гибели и разложения гиганта, да

еще именуют это «крестовым походом», подставляя под имя России кличку коммунизма. Какой стыд, какая мелкота и какая скука. Ухо вянет от шаблонщины громких фраз европейского шляхетства, белилами замазавшего пожар отшлепанных щек, — и вот тут особенно почетным кажется звание азиатов, не знающих «европейской морали», но по крайней мере умеющих давать сдачи, самим же не сдаваться до последней пули и капли крови. Решительно стоит иногда это высказать в бороду всякого рода диктатурам и в поучение их смиренным стадам.

И однако, посердившись, успокоимся и вернемся к мистике азиатов — к углублению взора в века и созерцанию собственного пупа.



**ЧУВСТВА И РЕАЛЬНОСТЬ**



(13. 8. 41)

Цивилизованный мир никогда не отличался излишком добродетели, и образцовым деловым договором считается тот, в котором исчерпывающе предусмотрены и оговорены все пункты, где можно ожидать лазеек, спора и жульничества. Были всё же некоторые границы криводушия и обмана, переступая которые человек, или группа людей, или целое государство рисковали если не прямым воздействием, то утратой чести. Эти границы еще остаются в области частных отношений, преимущественно обывательских, где традиции более живучи. Чем сложнее человеческая организация, тем понятия о чести расплывчатее и условнее, и в отношениях международных они стерты войной бесследно. Дело не в том, что сейчас никакой договор не стоит дороже бумаги, на которой он написан, если, конечно, его выполнение не обеспечено военной угрозой; дело в том, что никакое его нарушение уже не может вызвать нравственного осуждения и национального бесчестия. Невыполнение обещания и простое предательство теперь оцениваются только с точки зрения ловкости и дальновидности этих приемов, и достигаемая ими прямая выгода, хотя бы временная, ставится в заслугу, и даже как бы является источником новой «чести». Психологически любопытно, что остается какая-то боязнь не то приговора истории, не то недовольства собственных граждан, еще не перевоспитанных в новом духе; поэтому каждая очередная измена торжественной клятве сопровождается самооправданием и, обыч-

но, попытками встречного обвинения, как бы оно ни было несправедливо и нелепо. Должна быть сказана фраза, вне расчета, что она кого-нибудь убедит и ей кто-нибудь поверит. Исполнив эту условность, можно уже перейти к дальнейшему, например от отказа в помощи союзнику — к прямой помощи его врагу. Но случись, что этот враг ослабевает и окажется в положении побежденного, — немедленно возникнет вопрос о том, чтобы не упустить момента и, изменив новому другу, вернуться к прежней любви, пояснив новой фразой, что отступничество было лишь случайным действием злонамеренных элементов (которые при этом устраняются со сцены), любовь же была вечной и неизменной. Такая фраза должна быть преисполнена национального достоинства, в той же и большей мере, как и предыдущая, оправдывавшая слабость или подлость. Все это знают, так как все таковы же, и если в день судный об этом напомним и вынесут осуждение, то лишь по соображениям и расчетам практическим и не в степени утраты такой-то нацией ее чести (предполагая, что подобная честь вообще существует), а в рассуждении выгод ущемления или снисхождения.

Это, конечно, не ново, и внешняя политика всегда пользовалась приемами, ничего общего с нравственностью не имеющими или прямо ей противоположными; иначе не могли бы существовать и войны. Большой или меньшей новостью является только откровенность, точнее — цинизм нового времени. И не стоило бы говорить об этом, если бы в людях простых, политикой не искушенных, не продолжала еще теплиться некая вера в честь, в конечную справедливость, вообще в принципы, облагораживающие человеческое сознание. С похвальной последовательностью мысли, каждый гражданин, в качестве национальной единицы, хотя бы и не принимающей никакого участия во властвовании и

распоряжении судьбами страны, может считать себя ответственным за действия от его имени. Его убеждают, что «политика чувств» должна уступить политике реальной, единственно соответствующей интересам нации, и возможно, что так это и есть; но он не может избавиться от ощущения себя нравственно униженным, как бы загрязненным, в особенности, когда дело идет о гражданине страны, создавшей себе в прошлом славу именно политикой чувств, проповедью, и практикой защиты социальной справедливости, прав малых, слабосильных наций, осуждением «агрессий», борьбой против них. Еще вчера ему твердили об этом в самых торжественных и пламенных выражениях, со ссылками на историю и на его личные национальные качества. Когда сегодня с тем же пылом его призывают к преклонению перед принципами прямо противоположными, предлагая именно в этом и видеть свою «честь нации», он не торопится убедиться и, по меньшей мере, колеблется, быть может боясь, что завтрашний день опять будет днем поворота, зависящего, таким образом, не от справедливости принципов, а от сторонних внешних обстоятельств. В нациях здоровых и прочных эта устойчивость частных нравственных принципов трудно поддается развращающей «реалистической» обработке, и это нужно иметь в виду, чтобы верно понимать отношения, создающиеся между населением страны и ее правительством. При слишком крутых сменах и поворотах создается если не пропасть, то трещина, которую замазать не так легко и просто. Во всяком случае одних фраз, как бы искусно они ни сочинялись и как бы горячо ни произносились, оказывается недостаточно; отсюда стремление загодя воздействовать на молодежь, более податливую, примеры чего мы видели в Германии, а теперь видим и в соработающих с нею странах, добровольно или вынужденно.

Но подлинно ли реальная политика мудрее политики чувств и гражданской сентиментальности, и нет ли у простого человека не менее реальных предчувствий «конечной правды». Это, во всяком случае, вопрос, который именно сейчас и решается. Пока можно утверждать, что, руководясь реальными интересами наций, не давая победить себя сентиментальности, все страны Европы, за исключением неблагоразумной Англии, потерпели поражение, правда — от самого последовательного в реальности государства. Руководясь теми же мудрыми принципами, Россия, особенно злоупотребившая «реальностью», оказалась на краю гибели. День судный еще далек, но уже выясняется, что единственный шанс восстановления поруганных национальных достоинств виден только там, где «сентиментальные чувства» народа получили возможность проявиться в полной силе; в частности в той же России. Выказав свою слабость в войне с Финляндией, чувствами не оправданной, она теперь оказывает огромное, неожиданное сопротивление сильнейшей в мире армии, действующей вместе с коалицией вассальных стран, в том числе и с той же Финляндией; слабость в деле явно неправом, сила в сопротивлении, помощь которому дает полнота народного чувства, примитивный патриотизм, каждому гражданину понятный, каждым разделяемый. То, что называют фанатизмом русского солдата, даже признаком некультурности, есть, конечно, сознание высшей правды, сменившей все предшествовавшие действия «реальной политики». За борьбой на востоке следят все пострадавшие европейские страны, следят со вниманием и с ревностью, и, будь у них какая-нибудь возможность, они немедленно заменили бы реальность подчинения и сотрудничества — велением чувств, почерпнув в них новые силы. В той же гармонии реальности и чувств и сила сопротивления Англии, един-

ственной европейской страны, не имеющей надобности лгать, что также возбуждает зависть и ревность.

«Сентиментальность», которая так осмеивается, иначе говоря возможность действовать в согласии с требованием совести и чувств, является как бы очистительной купелью. На край пропасти Россию толкнула ложь, беспредельная официальная ложь, в которой она до сего дня купалась, ото всего мира отгороженная, лишенная возможности сколько-нибудь правильных представлений о том, как и чем живет весь остальной мир, обязанная к действиям, нравственного оправдания не имевшим. Сейчас, в защите родины, впервые «реальное» совпадает с велениями чувств, и в правоте пути нет сомнения. Расчет ее противников на революцию так же наивен, как и на мифический украинский сепаратизм. Внутренние счета сведутся позже; сейчас может быть на очереди только борьба с врагом номер первый, угрожающим не внутреннему строю, который всегда преходящ, а священному достоянию, родной земле, ценности постоянной. Вместо разлада, на который была ставка, в России неизбежно и несомненно сплочение всех сил страны, во всяком случае до тех пор, пока сопротивление возможно; а сила его уже достаточно показана. При известном запасе оптимизма, можно ждать, что это освобождение от лжи будет иметь отзвук в поработенных странах Европы, внешне отрекшихся от «сентиментальности» вплоть до национальных традиций, которыми они гордились и которые принесены в жертву реальным выгодам. Еще никогда мир не был в таком трепетном ожидании, не зная ясно, чего желать, и на что надеяться, — настолько желания и надежды не совпадают в тайных мечтах и в явных высказываниях, в национальных сознаниях и официальных заверениях от имени этих наций. Кто поручится, что заглушенные «нравственные требования» не заявят

о себе с новой силой, и прекрасное неблагоразумие сентиментальных не спутает расчеты холодных реалистов. И кто не чувствует, что для нового «европейского порядка» достаточно одной малой трещины, чтобы он обратился в кучу мусора.

Преждевременны все пророчества, и возможен печальнейший исход свершающихся событий — печальный для каждого в его собственном понимании. Несомненно только, что спор политиков чувства и политиков реальности еще далеко не решен. Внешне решаясь на фронтах, внутренне он выясняется в народных сознаниях. Рано или поздно война окончится, война внешняя, в теперешнем ее масштабе. Что сменит ее, как бы она ни кончилась? Мир и гражданское спокойствие? Не будем Кассандрами, но нехорошо и наивничать: не плавать нашим поколениям по спокойным водам, не любоваться в садах голубыми незабудками...



**О Р У С С К И Х**



(18. 8. 41)

На улицах Парижа и на подземных стенах метрополитена расклеены огромные бумажные полотнища, изображающие карту Европы в ее настоящих границах; из каждой страны направлена карающая стрела в сторону России, сливаясь с основной стрелой — германской. Это, одновременно, эмблема бескорыстного «крестового похода» на украинский чернозем и зазыв принять в нем добровольческое участие. Относительно отклика на этот призыв сведений точных не имеется; известно только, что в сенском департаменте записалось до 10 августа 214 человек неясной национальности; впрочем один из них несомненный француз. Французские власти не препятствуют добровольческому движению, предоставив желающим обращаться к германскому командованию. Но открытые бюро для записи бездействуют, за отсутствием пламенных бойцов; не русские ли эмигранты положили основание «ядру» добровольцев против собственной родины? Мы ничего не знаем. Привет стране, в войска которой была мобилизована русская молодежь, и много ее пало в боях и находится в германском плену. Мы не напрасно верили в благородство души французского народа. Разве французские матери и жены не встречаются с русскими, не делятся горестями, не совещаются о том, откуда достать сладостей, печенья, мыла, табаку для посылок военнопленным, не высчитывают сроков, не делятся надеждами? И разве не все понимают, что чернозем и керосин беспартийны и что на сотню «большевиков» есть в России сотни тысяч простых людей, страстно защищающих свою страну, страстнее и самоотверженнее, чем свою защищали другие народы? Кого обманывать громкими фразами, от кого скрывать правду? Правда внутри нас.

Как были бы мы счастливы, если бы с тем же ува-

жением могли говорить о зарубежных русских. Можно многое понять, и годы лишений и унижений, и силу личных потерь, и утрату близких или многолетнюю с ними разлуку. Естественно, что при полной оторванности, при незнании новой России и, надо прибавить, нежелании ее знать, она для многих из матери стала мачехой, что в представлении этих людей страна и народ смешались с властью, что обида — плохой советчик, тоска — неправильный судья, — но как может не жить в душе сознание, что власти, правительства, гонения, политический гнет — всё это преходяще, а родина всегда остается родиной, земля — землей, кровь — кровью, и что в том и сила человеческой личности, что она способна сама, без стороннего приказа, отречься от своих прав и своей горделивости, во имя того, что в известный момент становится общим правом, общей гордостью и общим сопротивлением. Не соглашательство с тем, с чем нельзя согласиться, не оправдание его задним числом и не забвение зла, а только снятие своих частных счетов, чтобы не спутались они с варварством стороннего насилия и не оросились кровью близких. Мечта о торжестве под чужим игмом — ведь это торжество крайней душевной низости, последнего нравственного падения, беспредельный национальный стыд, — и в дни, когда простой российский человек, тоже имеющий свои счета к предъявлению, испытавший не меньше, дивит мир бесспорностью своей позиции и безмерностью силы сопротивления. Какой ужасающий диссонанс между его подвигом — и актерским скандированием русских сотрудников германского радио, призывающего русского солдата к сдаче, подкупающего его картинами немецкого рая, льстящего, лгущего и возлагающего надежды на старинную формулу «бей жида — спасай Россию»... отдавая ее злейшему неприятелю. Можно, пожалуй, даже приветствовать такую пропаганду, способную лишь вызвать в этом солдате отвращение и удесятерить его воинскую энергию; но какое падение, какой национальный позор,

— если, конечно, не знать, кто на это пошел и во имя чего. Говорю это не для полемики с недуэеспособными, а ради небольшой исторической справки. Сколько негодующих слов — и справедливо — вызывало поражение в прошлой войне, каким проклятиям, какому оплеванию предавали эмигрантов, вернувшихся в Россию через враждебную Германию в «пломбированных вагонах». Позже часть этих людей пришла к власти. Затем перестреляла друг друга, оставив идеологическое наследство. Пломбированный вагон стал символом бесчестия, хотя те люди только проехали через Германию. Нынешние пораженцы утвердились в самом сердце страны, с которой Россия воюет, в Берлине, чтобы оттуда посылать волны предательского радио, и это те самые, которые негодовали громче всех и обвиняли своих предшественников в корыстной измене. Вот как мстит история... и как она повторяется. Не думают ли эти люди также придти к власти и порадовать страну своей мстостью и своими зверствами, которые они прямо обещают от имени Германии.

«Нежелательный элемент» в европейских странах, русские эмигранты, оставаясь враждебными советскому правительству, не лишены права быть патриотами и желать победы своему народу. Их патриотизм не должен быть слепым и примитивным; в числе врагов России — финляндцы и румыны, которых не может осудить справедливое русское сознание; оно не осудит и слабости стран, вынужденно посылающих добровольческие отряды против России, которой их население тайно желает победы. В сумбуре европейской бойни есть на обеих сторонах и правые и без вины виноватые. В нашей духовной культуре, не совпадающей с обще-европейской, мы выше права ставили справедливость. Своей родине мы должны желать не завоеваний, а защиты в ее пределах. Мы можем питать в душе уверенность, что недавние ошибки и преступления СССР, использовавшего свое соглашение с нынешним врагом, будут поправлены и возмещены, и что война, чем бы

она ни кончилась, отразится переменами во внутреннем строе России. Но это — личное дело русского народа, не нуждающегося в иноземной помощи, лучше других знающего, что ему нужно и что с кого он должен взыскивать. Как ни отброшен весь мир войной в глубины истории, но всё же не до «призвания варягов» владеть и управлять русской землей. И когда швыряются бомбы в московский Кремль, они не в Сталина швыряются, а в сердце России, в ее историческое бытие. Только ослепленные личной ненавистью могут этого не понимать.

---

Я обещал писать о незначительном и не забываю об этом. В учете сил и настроений ничтожна наша позиция и незначительны наши мнения: за бортом российской жизни трепыханье напрасно истраченных сил, осколки дум, ошметки обиженных самолюбий. Могут прибавить: «И отрывки квасного патриотизма». Хочется на это возразить, доказать, что мы способны от интересов своей колокольни возвышаться до вселенского, глядеть на свершающиеся события взором мудрецов, граждан мира, и так далее. Уж мы ли не проявили себя беспощаднейшими критиками всего своего, и страны своей, и своего народа, как всякий народ — достойного своей власти. Но почему-то именно в эти дни рождается в душе убеждение, что голос крови, нерассуждающая привязанность, простая любовь — лучше и чище высокодумных соображений и искусственно взращенного космополитизма. Может быть и мудро, но уж слишком холодно быть человеком вообще; это искусственный домик рака-отшельника, защита в духовном сиротстве, отказ от прямых решений, спасительный обман. Храм неведомому богу хорошо строить, когда есть свой жилой дом со своими пенатами. Россию двадцать лет воспитывали в духе интернационального исповедания; но когда пробил роковой час, она вспыхнула давно знакомым не только нам, а и всему миру русским

огнем, и слова, ее поднявшие и давшие ей силу, оказались ста-тридцатилетней давности: «отечественная война», и вся сила ее сопротивления выразилась в прежнем: в безоглядой решимости, в партизанстве, в предпочтении смерти сдаче. Это уж не наш «патриотизм» выдумывает — это общее признание. Пытаются объяснить это силой приказа, — но не нуждался в приказах Денис Давыдов, родоначальник русского партизанства, и современные приказы из современного Кремля только лепечут слова, сказанные народом самому себе. Против машины — крепость духа, не сокрушенного искусственными теориями, — и весь мир замер в ожидании. Можно пройти мимо этих качеств, проявленных русским солдатом, т. е., по преимуществу, крестьянином и рабочим, пройти с чувством уважения, но без лишней «национальной гордости»; и животное, от малой птицы до сильного зверя, защищает свою берлогу и своих детей, пока в нем остается дыхание. Но мы помним, какие образы, одновременно с портретом русского партизана, дал нам Лев Толстой в «Войне и мире», и прежде других — образ Платона Каратаева, тогда — крепостного, теперь, может быть, колхозника, в плену или пристреленного отрядом конвоиров. Кто скажет, что такие люди исчезли и что нам некого больше любить и нечем гордиться? С поправкой на современность — на механику, на танки и самолеты, на расу напавшего врага, — в остальном бьются те же люди, на тех же полях, столь же нам близкие, если не в уже чуждом нам быте, то в общем несчастье, постигшем Россию, ту же Россию, которой война вернула ее имя. Можно ли этого не чувствовать и стоит ли бояться усмешек над тем простым, естественным чувством, которое не укладывается целиком в иностранное слово «патриотизм»?

---

Как всегда, я пишу вам в полном неведении того, что сулит нам завтрашний день, какие перемены про-

изойдут за немалый срок путешествия этого письма. Победы, поражения, подвиги, преступления, честь, позор. Всё это совершенно не важно и не может внести перемен в основу чувств, о которых мы говорим. На долю России, следовательно и русских, не могут выпасть те нравственные колебания, которым подверглось не мало стран Европы: кому верить и с кем идти во имя реальных выгод в близком и далеком? Более, чем когда-нибудь, у России может быть только свой путь и лишь временные, случайные попутчики, которые в любой удобный момент могут предоставить ее своим силам, если не перейти в стан ее врагов, заплатив свои долги из ее кошелька. Ясное сознание этого создает нам здесь тревожную жизнь, — маленьким жертвам большой злобы; там, в России, оно должно чувствоваться стократ сильнее. Мы знаем цену явных и скрытых сочувствий — мы отвечаем на них вежливой улыбкой. Мы не забыли, как в прошлую войну, принесся миллионные жертвы и дав перевес союзникам, мы, при общем расчете, получили звание предателей. Не стоит долго помнить обиду — но еще меньше стоит благодушно распоясываться, пожимая руки, способные завтра выпустить когти. Никто не может воспретить нам открытую исповедь своих чувств, как бы их ни именовать; но у нее нет другой цели, кроме обмена мнений в своем тесном русском кругу, не для чужих ушей, боязливо настороженных; и наши совпадения мыслей, и наши противоречия. Мы не играем роли и не хотим играть. И в будущем не удивит нас ни почтительное расшаркиванье, ни, тем менее, новый поток упреков и издевательств, уже испытанных не раз. Знание этого лишний раз укрепляет нашу духовную связь с нашей родиной, будь она нам мать или злая мачеха, — наши семейные с ней счета никого не касаются.



**ПОСЛЕДНЯЯ КРЕПОСТЬ**



(18. 8. 41)

Всё еще говорят о целях войны; между тем давно пора говорить о ее последствиях. Для этого не нужно быть ни на чьей стороне, никому не желать ни победы, ни поражения; безразлично, кем она начата, чем она кончится. Будущее отбрасывается, обсуждается только настоящее, и обсуждается холодно, статистически.

В следствиях войны меньшее по значительности — потеря людей. Производство людей выше их потерь. Убитый молодой человек лишь не дожил ничтожных 30-40 лет средней человеческой жизни. Хуже то, что снята со счетов живая производящая сила; но Европа, больше всех потерявшая, страдала от безработицы, часть людей была излишня. Можно, однако, к тем же потерям подойти иначе. Берется одна семья, одно горе. Это горе умножается в миллионы раз, так как смерть преждевременная, не оправдываемая естественным законом, причиняет родным неизмеримо больше страданий. В список следствий войны прежде всего вносится умножение суммы человеческого горя. Еще нужно прибавить беспокойство от неизвестности, жизнь в длительном страхе, тоску в разлуке с воюющим или военнопленным, разрушение семьи, материальные невзгоды, порой полную нищету, крах надежд, крушение жизненных планов.

Незаменимое человеческого материала — гибель созданных людьми вещей, из которых слагается понятие «цивилизация». Дом строится месяцами, годами, иногда десятилетиями; он разрушается в несколько секунд. Никто не подсчитал количества разрушенных за время войны зданий, каждая комната которых кому-то для чего-то служила; несомненно семизначная, может быть, восьмизначная цифра. С домами погибла астрономическая цифра предметов необходимости и уюта, производственных машин, товаров, сырого материала. Па-

мятники строительства, предметы искусства, библиотеки, незаменимые музейные коллекции. В сущности вещь столь же индивидуальна, как и человеческая личность. У каждого найдется его любимый предмет, утрата которого для него тяжелее потери Лувра и Вестминстерского аббатства. Но исчезли, скрыты с лица земли не только дома, а и целые города, и еще исчезнут. В счет следствий войны внесем неисчислимую гибель предметов, в самом широком понимании слова. За то же время еще большее количество их не создано цивилизацией, за отсутствием возможностей и рабочих рук. Вместо них создано тоже бессчетное количество орудий разрушения цивилизации, но они созданы для того, чтобы также быть разрушенными и не могут считаться прибылью.

Особый учет того, что производит земля. У меня перед глазами невозделанные, заглохшие участки земли, пахотной и огородной; работники и владельцы в плену. Пишут об уничтожении урожаев в России, в областях нашествия гуннов. В целях стратегических сносятся культурные насаждения, голод заставляет переходить от культур высоких к спешным, быстро выручающим. Погибшие леса. Уничтоженные сооружения угольных и нефтяных разработок. Сюда же прибавим истребление рыбы в морях и реках (неисчислимы миллиарды особей). Каждое нападение на подводную лодку несет смерть миллионам живых существ в море; в реках спешно уничтожает рыбу человеческий голод. В лесах исчезают породы зверей. Земля беднеет. Почва не получает возврата извлеченного из нее, так как продукты химического удобрения идут на военные нужды.

Мы подходим к учету потерь духовной культуры. Но было бы, кажется, правильнее подсчитывать не потери, а оставшееся. На этих днях в Париже была ампутирована вторая рука доктора Феликса Лоближуа, французского радиолога. Потеряв одну руку, он не прекратил своих опытов. Я уверен, что русский ученый

С. Метальников в институте Пастера продолжает изо дня в день подсчитывать поколения микробов в их бесполом размножении, — кропотливая ежедневная работа в течение десятков лет; никакого практического приложения к жизни, — лишь попытка доказать бессмертие живой материи. В скромных лабораториях скромные ученые спасают культуру; рядом другие обслуживают войну и политику, потому что мозг также мобилизован, наряжен в защитную форму и обучен шагистике. — нужно доказать преимущества расы над расой, достигнуть перевеса оружия над оружием, создать философскую систему, оправдывающую уничтожение личности, исправить историю в интересах современности. Война приостановила ряд научных изданий; часть трудов погибла в разрушенных типографиях, бумажная масса идет на взрывчатые вещества. Опустели, частью закрыты университеты. Школьникам, вместо науки, преподается мораль: верность вождям, почитание знамен, ненависть к врагам, национальная кичливость. Солдатики в коротких штанишках, будущее пушечное мясо. Музеи, картинные галереи, книгохранилища попрятались в подвалы. Драгоценные памятники былых человеческих культур, — мраморы, полотна, пергаменты, бронза, кость, — с которых бережно сдувалась пылинка, в любую минуту рискуют быть вновь погребенными в развалинах культуры новой. Пресеклось свободное художественное творчество. Литература под полицейским сапогом; музыка — барабан и военный марш; живопись на службе пропаганды. Где с постепенностью, где резким срывом, культура откатилась назад на года, десятки и сотни лет. Военный грабеж, убийство заложников, казни патриотов, костры книг, контрибуции, бандитские налеты, истребление мирного населения, переселение народов, торжество грубой силы, возврат к примитивным формам управления и всеобщее ликование темных сил, звериного в человеке. Голодные, немытые люди, думающие только о добывании пищи, только о сегодняшнем дне, отказавшиеся от всяких на-

чинаний, утратившие всякую веру, оглушаемые фразами, питаемые ложью, сами себя потерявшие, идущие туда, куда их гонит палка, лишённые не только слова, но и права мыслить. В отрёпках вчерашней моды — средние века.

Все это для того, чтобы завтрашнее человечество сделать счастливым по-новому; или же чтобы вернуть ему счастье старое. Две силы тянут его в разные стороны, каждая в свой будущий рай. Зло должно породить добро, убийства создать мирную жизнь, грабежи — укрепить право и законность, разрушения — возсоздать, насилия — освободить. Но еще никогда в мире из семени плевелов не выростала пшеница. И если бы это было хоть сколько-нибудь возможным, как можно кражей упрочить свое материальное благосостояние, — самый дух человеческий не приемлет правды, вышедшей из неправды, истины из лжи, света из тьмы. Не мыслимо счастье, добытое пролитием крови, благородство, матерью которого была бы подлость. Национальная обособленность и расовая ненависть, которые так тщательно стараются внедрить в детские и юношеские души, — все эти значки, знамена, отряды, девизы, цвета, марши, — сулят будущему мечту о реванше, новые распри и новые войны. Угашение свободной мысли создаст рабов, которые подчинятся, не рассуждая, любому призыву, брошенному уверенным голосом, и дети убитых и ограбленных будут сами грабить и убивать... И снова поколения, которым обещаны мир и счастье, будут приноситься в жертву поколениям будущим, обманываемым такими же обещаниями. С каждым годом жить на земле делается теснее и невозможнее в тех формах обособленности, отгороженности и внутренней несвободы, которые объявлены идеалом будущего. Уклонившись с путей гуманизма, всечеловечества, уважения к личности, братства, люди превратятся в стада враждующих зверей, а именно эти принципы сейчас подвержены самым жестоким гонениям, их отрицает война, они забыты или пренебре-

жены и в лучших проектах мечтаемого мира. Из заколдованного порочного круга преклонения перед нацией, государством, властью, армией, всякой формой организованного принуждения, — нет выхода к свободе и к миру в человеческих отношениях. В давнем признании этого, пытались круг разомкнуть; сейчас его окружают новым частоколом и проволочными заграждениями, окружают равно всюду: в странах диктатуры, в старых демократиях, в «свободнейшей» России; оттенки не существенны, важна сущность. Будущий рай пахнет серой.

---

Чья победа могла бы спасти европейскую культуру? Но в такой войне победы быть не может: лишь большее или меньшее поражение, худшее или смягченное зло. И прежде всего нельзя знать, какими еще неожиданностями может подарить нас война. Ее ход вызывает союзы и соглашения, которых нельзя предугадать, которым было невозможно поверить. Был союз демократий против союза диктатур; за ним война между двумя диктатурами, при сотрудничестве одной из них с побежденной ею демократией, другой — в военном союзе с демократией несдавшейся. В этих соединениях нет ничего органического, и никто в их прочности не поклянется, а поклявшись — будет опасаться измены или ее готовить. Перед концом ли мы «исторических событий» или в самом их начале? У нас могут быть желания и надежды, но нет материала для пророчеств. Страны теряют свои лица; не в силах сохранить лицо и их нации, лишены не только возможности действий, но и права высказать мнение. Сохранить свое лицо, свои убеждения и свои устремления может только отдельная человеческая единица.

Это и есть единственная задача наших дней: спасти себя, свою сущность, каким бы испытаниям ни подвергла нас судьба. — невозможно быть нейтральным, но можно и должно остаться самим собой. — не быть кос-

ным, но не поддаваться с легкостью внешним влияниям. Человеческой личности объявлена война; нужно защищать свою крепость. — предпочесть смерть духовной несвободе. Слова громки, но содержание их ясно и просто. Оно у каждого свое — в его идейном исповедании. Отказ от исповедания, уступка силе, есть удар по духовной культуре. Войне внешней сопутствует борьба внутренняя, каждодневная, на всех житейских фронтах, в крупном и в малости, в сказанном и написанном слове, в каждом отзыве, отклике, в любом жесте. Мы живем в дни спешных перекарасок и перестраховок, часто корыстных, еще чаще вызванных испугом, иногда только легкомысленных. Этим пользуются говорящие от имени народов. В слабости личности — сила хлыста. Не расчет на содействие и помощь соседа, на действие массой: отвернется сосед, масса вздрогнет и рассыплется. Ответом ужасу нашего времени может быть только героизм личности. Нет надобности сочинять для этого политические теории и навязывать их себе и другим; партийность — тоже принуждение, попытка переложить свою ответственность на чужие плечи. Довольно, зная свою правду, уметь уважать искренность убеждений другого. В этом и только в этом залог защиты и спасения духовной свободы, против которой ополчились силы войны и похоть темных внутренних побуждений.



**О Т В Е Т**



(4. 9. 41)

Россия — страна и русские — народ, о которых каждый европейский деятель, политик, журналист, критик, обыватель, говорят без малейшего стеснения всё, что зародится в их талантливых головах или что согласуется с их планами. Опровергать некому, и знание России не считается обязательным. В газетах мы встречаем фантастические начертания русских городов и фамилий (а уж как они произносятся!), описания русских нравов, толкования событий истории и современности. Давно известна фраза французского учебника о русском царе — вane, который за свою жестокость был прозван «Васильевич», или фотография в журнале, изображающая извозчицы сани в одну лошадь с подписью «русская тройка». В романе из русской жизни три героини носят имена Аннушка, Петрушка и Бабушка, в другом «историческом» романе ярко описаны тайные свидания в Сибири царя — иколая — ервого с Михаилом Бакуниным, спасшим в лесу царскую дочь от нападения разбойников-черкесов. В кинематографических фильмах герои русских драм носят косоворотки при клеенчатых сапогах и фуражках военного образца, женщины — кокошник. Всё это совершенно необходимо, иначе зритель не поймет, о каком народе идет речь, да как-то и колоритнее.

Со времени войны мы узнали здесь о России много нового и неожиданного. Так, например, во всех решительно газетах Киев называется «столицей Украины», и только в одной («Женевской Трибуне») была статья об этом городе, как о древне-русской столице. — олько сегодня я прочитал во французской газете (или немецкой, что одно и то же), как освобожденное, наконец, из тюрем коренное население Украины радостно убирает на полях хлеб, который не успели уничтожить большевики. Большевиками называются в военных бюллетенях русские солдаты (в оправдание следует сказать, что в бюллетенях русских немцы именуется фашистами). С

интересом следя за развитием событий, редкий иностранец не задает русскому вопроса, «когда в России начнутся дожди», и ему не приходит в голову, что нужно вопрос уточнить — где в России? В Мурманске, на Кавказе, на Чукотском Носу, в Тифлисе, на Камчатке. Обычный источник познаний о России — популярные брошюры, написанные туристами, и энциклопедический словарь; но загляните в лучшую французскую энциклопедию Ларусс и подивитесь классической безграмотности сведений о России, ее истории и ее деятелях. Вообще безграмотность в отношении России — общее правило; счастливые исключения крайне редки. И это бы ничего, трудно осуждать за это иностранца, раз русский поэт писал: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить»; хуже безграмотности — беззастенчивость; и вот эта беззастенчивость за время войны процвела до крайних пределов. Она выражается уже не только в словах, но и в действиях. В большинстве европейских стран, как вассальных, так и сохранивших некоторую тень и видимость самостоятельности, русские (эмигранты или советские граждане) не имеют никакой официальной защиты; по отношению к ним всё позволено. Что в оккупированной Франции часть русских (по неизвестному признаку) заключена в концентрационный лагерь, это естественно; остальные пользуются свободой передвижения. Но во Франции незанятой этой свободы они совершенно лишены — прикреплены к месту постоянного или случайного жительства, почему и ради чего — неизвестно, тем более, что после поголовных арестов и «проверки» почти все были освобождены и получили документы, удостоверяющие их... безвредность. В Париже, задолго до вторжения Германии в Россию, еще в дни союзных между этими странами отношений, немцы без всяких объяснений вывезли из квартир русских, бежавших и оставшихся, эмигрантов и советских, как и из принадлежавших русским учреждений, книги и имущество, не в порядке реквизиции, а просто так, в порядке любопытства к чужой собственности; правда, точно так же они поступают и в отношении французов, но это — по праву

войны и победы, и французские граждане имеют право рассчитывать на послевоенную компенсацию своих убытков. Впрочем согласимся, что по военному времени всё это в порядке вещей; не стоит говорить о своих маленьких личных неприятностях, когда страдают народные массы. При том справедливость требует сказать, что население, никаким шовинизмом не зараженное и, в своем огромном большинстве, возлагающее на Россию и русских все свои надежды, относится к ним прекрасно, с сочувствием и полной предупредительностью. И говорить хочется не об этой беззастенчивости завоевателей или официальных сфер. Но обидно, когда тот же порок обнаруживают люди культурные, мнение которых имеет вес и вынуждает с собой считаться. Я беру к примеру статью в газете «Temps» Эдуарда Шнейдера, крупного французского критика, немецкая фамилия которого не может служить ему извинением. «Temps» — одна из немногих газет (не единственная ли!), сохранивших свое лицо постольку, поскольку это сейчас во Франции возможно: лицо серьезной, знающей, «бывшей правой» газеты (сейчас правизна такого типа становится левизной). Эдуард Шнейдер пишет о Толстом и Горьком, о двоих «великих русских», пытаюсь искусным анализом того, что можно назвать их «учениями», объяснить и русскую душу и то, к чему пришла Россия.

Каждый критик свободен в своих литературных оценках, и сопоставление великого мирового писателя с несомненно выдающимся русским беллетристом терпимо, хотя сам Шнейдер признает антагонизм некоторых их философских построений (если можно, конечно, говорить о «философии» Горького, отличного художника и несамостоятельного мыслителя). Но параллель, которую проводит Шнейдер, нужна ему для иллюстрации его предвзятого положения о лени и природной беспочвенности (*desaxement originel*) большинства «москвитов», этого «огромного народа, без организованного мозга, без уравновешенной совести, без логического и ясного мышления». Откуда эта предвзятость суж-

дений? Шнейдер ссылается на музыку Мусоргского с ее «голосом ангелов», и противопоставляет ясности западной идеи — безграничную смуту русской души, перенасыщенной чувствительностью, — источник нашего с европейцами взаимного непонимания. Но отсюда еще далеко до отрицательной характеристики умственных и нравственных качеств «москвитов», и Шнейдеру приходится сослаться на свои личные знакомства с русскими, наводнившими французские университеты в эпоху 1900-14 гг.; это их духовные качества произвели на критика впечатление «хаоса, бесполезности, тщеты идей и потраченных слов».

Как это характерно для европейца с уравновешенным мозгом и логическим мышлением — авторитетно и уверенно говорит о стране, клочок которой он видел из окна вагона, о многомиллионном народе — после знакомства в кафе с случайно захватившим его представителем. Французский критик, притом один из образованнейших, оказывается приблизительно на одной высоте суждений с бесчисленными клиентами «интуриста», наводнившими литературу о России бойкими книжонками. Составив себе мнение, далее ему остается только подобрать доказательства того, что и «величайшие люди среди москвитов не свободны от того же порока». — он не может скрыть жалости, которую внушает ему их духовная нищета.

С своей точки зрения человека, в основу всего кладущего раз навсегда найденные истины, Шнейдер, конечно, прав. Его не может не смущать Толстой, бежавший от родного очага искать покоя в одном из тех монастырей, которые он так строго осуждал, или Горький, один из героев которого говорит: «Нужно уметь различать между ложью и воображением». Всякий раз, как он соприкасается с русской литературой, он неизбежно наталкивается на постановку вопросов, ответов на которые авторы не решаются дать, между тем, как с точки зрения непреложной логики и непогрешимых кодексов морали эти вопросы давно и окончательно решены европейским сознанием. — олемизировать с этим невозможно, и взаимопонимания, действительно, не может быть до

тех пор, пока столь характерная для европейцев, типа Эдуарда Шнейдера, уверенность в неколебимости истин и бесспорности логических методов мышления не будет сокрушена реальной силой, единственно для них убедительной, пока на месте найденного не окажется разверстая пропасть сомнений. Казалось бы такой силой должна оказаться война с ее последствиями — крушением не только государств и властей, но и идей. Но очевидно это не так, и не страдающие «природной беспочвенностью» находят выход в той же «реальности», хотя бы ценой отказа от одних идей и безболезненного восприятия прямо противоположных, тоже «вечных» и бесспорных. Смена перчаток, но всегда из прочной кожи. Предстояние пропасти во всех областях мышления и нравственных исканий, которое мы считаем источником движения, мучительным актом постижения, для них есть лишь духовная нищета, неизмеримая смута русской души, которая, как всякая смута, должна быть раз навсегда осуждена, а лучше всего — подавлена силой таких-то параграфов. — о оценке Шнейдера, Толстой — анархист, Горький — коммунист; он впрочем, не скрывает от себя, что анархизм и коммунизм прямо друг другу противоположны, и что поэтому Толстой презирал Горького (в чем тень правды несомненна). Но оба эти понятия он берет не в их сущности, а в их роли этикеток определенного значения общепринятого и не подлежащего иным толкованиям. И то, и другое одинаково — беспорядок, то есть анархия. Его не смущает, или он просто не догадывается, что анархизм Толстого есть страстное искание порядка без власти, источника беспорядка; что коммунизм Горького есть чистейший марксизм, утверждение тоталитарной власти, доведение до крайних пределов той самой незыблемости истин, которая представляет основу европейской «природной почвенности» и реальной политики; что оба они ищут, но не нашли, и именно эта неудовлетворенность делает их крупными людьми (если Горький и нашел, то не нашли его герои, и в этом его большое литературное оправдание). И он, конечно, не может ни понять, ни признать, что «ясность идеи, которая нам

дает ответ на всё», этой горделивой европейской идеи, весьма удобная и ценная в ее практическом приложении (как и таблица умножения), есть, в сфере духовных исканий, залог смерти, остановка всякого движения вперед; тем более в области художественного творчества, вопросы которого, как будто, должны бы быть особенно близки литературному критику.

Да, при таких расхождениях в самой основе, взаимное понимание невозможно. Но не будет ли с нашей стороны излишней скромностью говорить о «взаимном» непонимании; мы европейцев понимаем, но не можем принять их методов мышления для руководства себе. В ответ на жалость, которую мы внушаем Шнейдерам нашей духовной нищетой, мы можем ответить встречной жалостью, искренним состраданием к суете их духовного капитала. Давая нашим чувствам больше воли, чем это согласуется с так называемыми здоровыми понятиями, мы часто проигрываем в практической жизни, реальность которой нас не зачаровывает; но это не дает никому права упрекать нас в нравственной нестойкости, и в те моменты, когда наша честь подвергается высшему испытанию, мы посылаем к чорту приказы рассудка — и способны на неблагоразумие, удивляющее мир, лишь бы то, что мы считаем честью, то есть наше право на внешнюю и внутреннюю независимость, не понесло ущерба, не преклонилось перед реальным расчетом. Это называют сейчас «фанатизмом некультурного народа», — предпочтение смерти унижению, — втайне возлагая на чужой фанатизм надежды спасения собственной чести. Но не нам брать уроки всеподданнического благоразумия, прикрывая его смягченными названиями, которых не хочу здесь приводить. Во всяком случае такую «нищету духа» мы предпочитаем фарисейству «организованного мозга» и «уравновешенной совести», слишком уравновешенной, чтобы оставаться в согласии с простотой и безыскусственностью совести народной. Таков единственный ответ, который мы можем дать интуристам в психологические дебри русской души и русского миропонимания.



**Л Ю Д И   З Е М Л И**



(7. 9. 41)

Мы живем в необычайной путанице противоречий. Я не поверю человеку, который скажет, что его отношение к происходящему в мире, или хотя бы в земле его отцов, ясно и бесспорно; такой человек внушил бы мне страх отсутствием в нем... человеческого. Фанатик, партиец, кретин, себялюбец, раб, линованный мозг, автомат, святой, блаженный, но не мыслящая личность. Чтобы не оскорбить его приложением одного из таких эпитетов, я предпочту ему не верить; он настолько запутался в противоречиях, что уже не может шевелиться; он успокоился, он мертв. Живой человек до последней крайности бьется в сети вопросов, большинство которых логически безответны; только чувство, логике не подчиненное, может указывать выход из страшного лабиринта, в который заводит нас мысль.

Довольно одного примера. Всякому культурному (не «цивилизованному» только, а культурному, развившему в себе до известной высоты качества, отличающие человека от других животных), — всякому такому человеку не может не быть отвратительным насилие и убийство. Заповедь «не убий» не только религиозный догмат, а ступень развития. И вот, искренне и глубоко приняв эту заповедь, отрицая войну всеми силами души, мы в то же время в подсознании радуемся военным победам нашей стороны, желаем кровавых поражений стороне враждебной. Чужая бомба — варварство, своя — сладкая музыка. Люди доходят до того, что готовы приветствовать эту «свою» бомбу даже тогда, когда она может обрушиться на их собственную голову. В Париже, в Осло, в других завоеванных, униженных, ограбленных европейских городах, население приветствует налет английских аэропланов, — и это не пустые рассказы, это подтвержденная правда: при звуках си-

рены ликующе выходят на улицу в радостном оживлении, смотрят приветственно, машут платками. В своем так называемом нормальном сознании я не вижу большой разницы между немцем и русским: оба люди, оба человеки, хотя бы раса германская, в моем беспристрастном суждении, была гораздо грубее, животнее, ниже славянской; всё-таки немец для меня — тоже человек, то есть способен им быть или стать, так что не сравнительная оценка вызывает во мне отталкивание, а нечто иное, логикой не оправдываемое, объяснимое только состоянием моего чувства, и всё-таки законное. Это, скажем, понятно, естественно, даже если человечески не справедливо, — законность и справедливость не одно и то же. В особенности это понятно в данный момент высокого развития германской цивилизации и последнего краха ее духовной культуры; при том в момент, когда мы — враги. Но как быть мне с Россией, с СССР? Я страстно желаю ей победы, желаю без всяких расчетов и умствований: это — земля моих отцов, моя земля, которая дважды вышвыривала меня из своих пределов за эту самую страстную к ней сыновнюю привязанность, за желание ее народам блага, как я это благо понимал и продолжаю понимать. Сказать, что я ее прощаю, было бы великим к ней неуважением; тоже и к себе. Я не забыл и не забуду, прощать не хочу и не умею. Я создаю себе уверенность (или иллюзию) что меня (пишу «я», «меня», но говорю не о себе одном) обидела не земля, изгнал не народ, а накипь на народе, сначала власть царская, затем преобразование ее в диктатуру фанатиков, практиков и исповедников того же государственного насилия в несколько иной внешней форме. Я не им приписываю «социальные завоевания», которых не отрицаю, но которые теряют всякое значение и смысл, пока личность человека и гражданина в цепях и раздавлена, пока не она — хозяин своей земли. Поскольку в России, наводненной врагами, происходит борьба культур и народов, моя позиция, позиция русского человека, проста и по-

нятна; но там же идет борьба двух политических идей, двух деспотизмов равного качества. Оба лживы и гибельны, обоим я не могу не желать поражения. Не социальным системам, которые я, конечно, не смешиваю, а политическим, между которыми различия почти нет; им обоим я одинаково хочу гибели, полного крушения; настолько одинаково, что даже не знаю, который из них «враг номер первый». А между тем поражение одного может стать окончательным торжеством другого.

Логически моя позиция противоречива. Логика говорит: пусть оба задохнутся в смертельных объятиях. Но чувство делает поправку: пусть мой народ задавит и изгонит врага из моей земли. А дальше? Дальше область ни на какой логике не основанных мечтаний и надежд: мечтаний о чуде, надежд на пробуждение, на освобождение от политического рабства, возможно — силой того же оружия, обращенного внутрь. Не социальная реставрация, — такого безумия ни мысль, ни чувство не допускают, да, к счастью, оно и невысказано. Но и не только смена людей у власти, — что толку в дворцовых переворотах! Но что же? Мысль путается в противоречиях, чувство упрямо настаивает. Другие знают лучше? Их счастье, но я им не завидую: я их боюсь!

Исповедь странная, но я уверен, что в тисках тех же противоречий бьются мысль и чувство многих русских, и не только за рубежом. Мы отмахиваемся от назойливых вопросов: своеобразное «подожди, сейчас слово принадлежит оружию». Но такая солдатская психология не спасет, и не всякий способен на ней успокоиться; да и не успокоение жаждется, а взыскуется ответ; без этого невозможно жить. Мне он мерещится, но не ясно видится, в том, что мы — люди своей земли, и эта земля останется, как вечное, в то время, как временное — политический строй, люди у власти, наши собственные обиды и горести, — всё это минует, всё это по существу, значительно только в пре-

делах моей личной жизни, моих переживаний, но и тут уступает напору нелогических чувств, о природе которых мы так мало знаем; можем называть их голосом крови, патриотизмом, не в названии дело, и даже не в точном их определении. Их сила в их внеразумном бытии, их оправдание в факте их существования. По счастью, это не национализм, русский народ не нация, а союз народностей. Гуманизм, лежащий в основе всякой высокой культуры, по природе своей космополитичен; в данном случае он оспаривается чем-то более сильным, непосредственным и живучим. Мне хотелось бы понять это, как чувство земли, — не племени, не государства, и даже сказать «родины» было бы не вполне точно, а земли, не в отвлеченном, а в самом прямом и точном смысле, вот этих комьев чернозема, или хотя бы бесплодных песков, лично для меня — лесного простора, омытого большой рекой. Мы оставляем область рассуждений и терминологии и вступаем в прекрасные дебри поэзии, — и именно этого не следует опасаться, это и есть верная выводная тропа! Почтительный поклон логике — и уход в себя, в музыку и живопись чувствований, имеющих свои законы.

Воззвание к непосредственному чувству ни от каких логических противоречий, конечно, не избавляет; нельзя на нем основывать и никакого готового строя идей. Я приводил отрывки исследования французским критиком с немецкой фамилией отрицательных качеств русской души, ее беспочвенности и отсутствия в ней «оси» (*désaxement*). Это верно в том смысле, что она не надета на струганую палочку, как душа современного европейца, выхолощенная внешней цивилизацией, что она по преимуществу иррациональна. Вот от чего не следует отрекаться! Творчество ума создает изобретения и теории; творчество чувства (фантазия) руководит живой жизнью, которая должна быть художественным произведением; оно рождает идеи. Если бы мы попытались выйти из заколдованного круга противоречий путями того «здорового реализма», который

прославлен политикой диктатур (фашизм, нацизм, коммунизм), то неизбежно пришли бы к предательству чувств. Так оно и случилось в части поверженных демократий Европы, случилось, к счастью, не с народами, а с политическими дельцами. Реализм допускает и предписывает в известный момент сдачу незащищенных позиций, в следующую — помощь врагу; чувство предпочитает сдаче самоуничтожение и смерть. Нас — не только нас — это волнует и очаровывает в образах войны, происходящей в России, войны, которую ведет народ — вопреки «реализму» его правителей. Это можно смело утверждать, помня, что те же правители не усумнились в своё время перед сдачей и сепаратным миром из чисто реалистических соображений, как в совсем недавнее время, по расчету, оказавшемуся ложным, не остановились перед союзом с нынешним врагом, союзом, приведшим к европейской войне и к поражению демократий. Но сейчас в России действительно «отечественная война», как в дни Наполеона, когда то же чувство (Кутузов) победило и подчинило себе расчеты (правительство Александра). И неразумие восторжествовало над здравым смыслом. Мы не знаем, чем окончится нынешняя борьба. Она может кончиться поражением, но народным позором — никогда. Возможна гибель — сдача немыслима, мы это отлично знаем. И примечательно, что на этой «беспочвенности» русской души строят свои последние надежды и те самые «реальные политики», которым ничего не стоит в нужный момент опять переменить фронт без малейшей краски на лице.

В конце концов — имеем же мы право на некоторую влюбленность в свою историю и даже на самовлюбленность; мы не отказываем в этом праве и другим народам! Но в основе, конечно, всепобеждающая любовь к родящей земле, наша преобладающая крестьянственность, деревенскость, огромность зеленых пространств, не загаженных цивилизацией. Вы и в униженной Европе не найдете предательства чувств в деревне — оно

исходит из городов и в них остается, — в учреждениях, в промышленных кругах, в торговле, в печати. Чем сильнее отрыв от земли, чем больше забиты легкие пылью города и каменным углем, — тем меньше в человеке противоречий рассудка и чувств, тем ему легче сделка с полууснувшей совестью и оправдание некрасивого, порой и просто грязного поведения реальностью политики и «национальными» интересами, хотя бы за счет национальной чести. Люди земли недоразвиты до такой стратегии добродетелей, они не верят, что она может породить право и правду, — как не может уродиться добрая пшеница на засоренной чертополохом пашне. И вот с некоторой гордостью думается: мы по преимуществу — люди земли, которых выводит из тысячи противоречий естественная к ней любовь, тем более ценная, чем менее рассудочная.



**ДУХОВНОЕ ПОЛЕ**



(26. 10. 41)

«Вихрь событий» чувствуется и находит полный отклик в больших центрах жизни, где каждый час сменяются настроения, каждый выпуск газеты меняет учет надежд и огорчений. Но так живет только меньшинство людей; до огромного их большинства залпы орудий с отдельных фронтов доносятся лишь общим смутным гулом, резкие моменты теряют обособленность и сливаются в более или менее ровный и непрерывный бег времени. Местечко, где я живу, было в прошлом году фронтом, и в такой-то день над крышами его домов летали снаряды. На время боя люди попрятались, одни убежали в ближний лесок, другие заперлись в дальних комнатах, казавшихся им более безопасными. Ни то, ни другое, в сущности, не могло спасти, но эти движения инстинктивны, и я сам видел, как в другом месте, под Парижем, от налета вражеских бомбовозов прятались под стеклянный навес вокзала или, не найдя там места, раскрывали над головой дождевой зонтик. Когда сражение в местечке кончилось и мы, беглецы, возвращались из леса по домам, старый огородник, наш сосед, уже продолжал перекапывать гряду, начатую перед боем, лишь изредка подымая голову и неодобрительно взглядывая на дорогу, по которой катились дальше легкие танки и мотоциклеты завоевателей.

Я пишу эти строки в дни величайшей трагедии России, может быть, накануне взятия Москвы, — сейчас об этом говорило радио. Или вырвать и сжать в кулаке сердце — или поступить, как тот огородник. На дворе играют дети, по улице провозят открытые чаны, выше краев наполненные виноградом, маятник часов отбивает шаги, рядом со мной никто не думает о том, что на скрещении двух улиц, Моховой и Гольшой Никитской, германский поручик может, печатая шаг, войти в старое здание университета, где в круглом зале я слушал лек-

ции по международному праву. Конечно, они ограбят и вывезут, как сделали повсюду, ценности наших музеев, библиотек, церковных ризниц, заберут всякий металл, который можно перелить в орудия убийства; и сделают это с той же простотой, с какой в Париже взяли мой архив и мою библиотеку, прихватив, кстати, ложки, ножи, вилки, бронзу, часы, не побрезговав и алюминием кастрюль. Царь-Колокол и Царь-Пушка дадут не мало нужного металла для пушек более современных. Дорожить ли вещами? Я вооружаюсь мотыкой огородника и говорю себе: «Всё временно, всё преходяще, и от того, что ты впадешь в истерику и будешь ломать руки, ничто не изменится». И я продолжаю копать начатую гряду.

Несколько цитат, которые заимствую из статьи Эдуарда де Морсье, сделавшего сводку пессимистических предсказаний видных мыслителей и политиков.

Поль Пэнлеве, виднейший математик, сказал: «Гезобразная война сокрушит на этот раз нашу цивилизацию». — Попутно отметим, что Поль Пэнлеве, будучи президентом совета в 1917 году, назначил на высокий пост маршала Пэтена. Последовательность математика или политическое прозрение?

Фердинанд Бюисон, председатель Лиги прав человека, писал о возможной войне: «Немедленным последствием войны будет разрушение человеческого рода и оставление всего, что составляет цивилизацию».

На 11-м собрании Лиги Наций Рамсай МакДональд заявил от имени своей страны: «Правительство, которое я здесь представляю, не хочет уничтожения цивилизации новой войной».

Английский адмирал Лове: «Новая война совершенно уничтожит цивилизацию».

Бывший президент Соединенных Штатов Хувер пророчествовал о том же: «Повторение войны окончится гибелью цивилизации».

Едва ли не всех пессимистичнее был знаменитый ученый Огюст Бранли, заявивший: «Ближайшая война

обойдется в сто миллионов людей, иначе говоря, она уничтожит часть человеческого рода».

Французы соединяют в слове «цивилизация» то, что мы обозначаем двумя словами: цивилизация и культура; последнее слово у них не в ходу. Мы под «культурой» разумеем преимущественно прогресс духовных ценностей народа, под «цивилизацией» — ценности внешние, удобства жизни. Их термин смешивает понятия, наши менее точны («цивилизация» значит, собственно, гражданственность), но дают необходимые оттенки. Предсказатели ошибаются: гибнет не цивилизация, а именно культура, уже надломленная прошлой мировой войной. Внешняя цивилизация не гибнет, скорее процвела — в ущерб приросту духовных ценностей. К ней мы относим рост тоннажа военных судов, завоевание воздуха, расцвет техники, всё прикладное в науке. Как знаменателен, например, сказавшийся внешний примат германской расы, которая никогда не рождала пионеров мысли, но была вне конкурса в приложении и практическом развитии чужих идей, в их использовании для целей цивилизации, в их принижении от неба к земле, от гуманистического к животному. Мало-помалу в мире идей духовно-высокое замещается эрзацем, ловкой практической подделкой. Сейчас завершается ликвидация идей великой французской революции; главный удар нанесен им русским «Октябрем», их могильщиками выступают немцы, плакальщиками на их похоронах — завоеванные ими страны. Даже в нашем местечке побеспокоили муниципального маляра: ему пришлось взять лестницу и стереть три надписи над дверями городского здания: «свобода, равенство, братство». Затем он вывел черным по белому слова на ближайший срок истории французской культуры: «отечество, семья, труд», несколько раз переспросив, в каком порядке они пишутся. И граждане, проходя мимо говорили: «tiens!». Ведь стерты скребком были только слова, уже раньше утратившие смысл; написаны слова, еще не приобретшие значения. Исто-

рия дрогнула и подалась на столько-то десятилетий назад. Но краски над дверью свежи, буквы выведены красивее и ровнее: цивилизация ничего не потеряла.

Гибель культуры не в том, что более свободные политические учреждения замещаются авторитарными, что девизы высокого смысла уступают место условной пустяковине, что у власти появляются самоизбравшиеся люди, — всё это малозначуще, временно и в любой момент опять может перемениться: культура имеет столь же мало общего с парламентом, как и с полицейским участком. Гибель культуры в том, что сорной травой зарастает переставшее возделываться духовное поле. Первое, что вызывает война, это — заграждения колючей проволоки на путях развития мысли. Культура есть просвещение. Война отодвигает его на последний план и внутренне извращает. Дети воспитываются, как будущие солдаты, в ненависти народа к народу, в почтении к военным победам, то есть убийствам. Разрушается жизнь высшей школы, наука призывается обслуживать потребности армий. На свободную речь, под предлогом военной тайны или необходимости патриотического единения, налагается намордник. Литература в лучшем случае превращается в военную хронику, художество в батальную живопись, музыка в барабанный бой. Помимо внешних стеснений, сама собой возникает психологическая невозможность свободной и спокойной духовной работы. С войной средний мыслящий человек, незаметно для себя, меняется часто до неузнаваемости, — его мысль отвлекается временным, приобретающим незаслуженную важность. Вырастает целый лес «низких истин» и житейских интересов, порой непреодолимых, — не всякий способен быть Архимедом и склоняться над чертежами, не слушая боевых возгласов и бряцания оружия. Для целого поколения и для всех, обслуживающих войну, ее время потеряно в смысле духовного развития и восстановлено быть не может; убыток непоправим никакими победами, никакими условиями мира. К этому прибавляется прямая

гибель накопленных культурных сокровищ, библиотек, музеев, ученых работ, просветительных начинаний, научных экспедиций; насильственная смерть талантливых людей, на которых возлагались надежды, как на естественную смену работников просвещенного созидания. Огромный ущерб культуре наносит длительный перерыв международного общения в духовной области, общения, которое налаживается с такой трудностью и всё значение которого в непрерывной периодичности. Сейчас, на третий год войны, из европейской превращающейся в мировую, в странах порабощения, как и в странах сотрудничества, сотни людей с крупными учеными именами, вышли из строя, вынужденные оставить свою страну, где работать стало невозможно, где их преследуют за направление мысли, за расу, где разрушены лаборатории и ученые кабинеты, прекращены издательства. Такова же судьба писателей и многих лиц свободных профессий. В шуме «событий» это не учитывается и почти не замечается, и никто не удосужился составить список этих «жертв войны», красноречивейший документ европейского позора.

Оптимисты утверждают, что в споре цивилизованных народов крушение одной цивилизации даст опору и расцвет другой, и что в данном случае нет параллели со средневековьем, мрак которого был вызван крушением единственной, римской цивилизации на фоне всеобщего варварства. Оптимизм, ошибочно основанный на предположении возможности цивилизаций национальных и вызываемый всё тем же смещением понятий «цивилизация» и «культура»; на стадии нашей жизни культура может быть только мировой, и это ей наносится сокрушающий удар, и он наносится наиболее страшным из варварств — варварством цивилизованным, возвысившим технику над уровнем ищущей мысли, силу физическую над силой духовной. «Сумерки Европы» сгущаются в условиях более страшных, чем это было при падении Римской империи, и могут захватить не только ее континент. Параллели в мировой истории

всегда условны, но размах ее сокрушающих волн непрерывно растет, и запись ее прежних страниц для нас — пустяк и частный случай; нас ожидает неизмеримо большее и по длительности и по высоте падение. Физическое уничтожение ста миллионов людей, предсказанное Огюстом Бранли (если он прав), заменимо; оно, быть может, меньше из зол. Несравненно страшнее гибель одной человеческой личности, как самоцельной идеи, крушение гуманизма, определявшего и возвышавшего нашу культуру. А результат будет тот же: топор и пытки, да пушечное ядро, прикованное к ноге. Недаром врагом номер первый грядущего «нового строя Европы» объявлено масонство, при всех своих современных недостатках ставившее целью совершенствование личности и свободное искание истины. Теперь эта истина найдена и объявлена: она заключается в прекращении и запрещении дальнейших исканий, в утверждении совершенной личности ее принадлежностью к определенной расе. Не страшнее ли это варварства, низвергшего Рим?

Грешной атаке цивилизованного варварства должна быть противопоставлена контратака, единственный стратегический прием, действенность которого доказана на одном из фронтов войны. Она в громком исповедании веры, в отрицании всяких соглашений и сотрудничества с врагом этой веры, в предпочтении смерти сдаче. Потому что и смерть может быть полезной: она оставит в памяти людей семена для новых всходов; она удобрит для них многострадальное духовное поле.



**Н О В Ы Й   П О Р Я Д О К**



В доме, который не проветривается, развелась всякая нечисть: пауки, тараканы, клопы, мокрицы. Были они, очевидно, и раньше, но прятались по щелям и выползали только ночью; теперь гуляют свободно во всякое время и отравляют обитателям дома быт.

Дом не проветривается потому, что свежий воздух признан вредным для здоровья и семейного благополучия; вреден и солнечный свет. Чистый воздух вызывает слишком вольные мысли о свободе и шире полей, о легком дыхании, о каких-то «естественных правах»; солнечный луч может осветить закоулки печального бытия и навести мысль на невыгодные сравнения, пробудить протест, развить неумеренную требовательность. Благонамеренному гражданину это ни к чему. Лучшее, что он может делать, это, встав по утру, напялить узаконенный намордник и заняться полезной и производительной домашней работой, воздерживаясь от суждений о том, что выходит за пределы его прямых обязательств, от критики того, что его не касается. О выходящем за круг его личной и семейной жизни позаботятся более опытные самоизбранные люди, которым он должен слепо доверять. Если же это ему не нравится и он не согласен, то его переселяют в такой дом, где не спрашивают ни о вкусах, ни о согласии.

Где это происходит? Не всё ли равно: «в некотором царстве, в некотором государстве». И проще спросить: где это не происходит. В любой стране грядущего или уже водворившегося «нового европейского порядка». Новый порядок начинает с того, что посылает к чорту так называемые исторические традиции, с которыми ему делать нечего; чем он кончит, мы еще не знаем: «продолжение и окончание следуют».

\*\*  
\*

Любопытно, хотя и противно, наблюдать со стороны, как политическая нечисть, раньше державшая себя смиреннько, работавшая на щедрого хозяина с благо-разумной сдержанностью, с оговорками, лишь в рамках каждому доступной свободы голоса, — теперь обросла плотью, раздобрела и хозяйничает без контроля и соперничества. Какая-нибудь малая газетка, раньше обслуживавшая ограниченную, определенную читательскую среду, обществом отверженную и отпетую, злопыхавшую и державшуюся черной кучкой, — теперь внезапно превратилась в авторитетный и руководящий орган. Если до сих пор клевета и навет шипели с оглядкой, опасаясь публичной пощечины, то теперь им опасаться нечего, — опасаться должны те, кого шельмуют новые господа положения, опираясь если не на покровительственный закон, то на реальное соотношение сил. И уже не общественных сил, выносящих лишь нравственное осуждение, а настоящих, имеющих право прямого воздействия. Не то, чтобы начальство, а хуже — состоящие при нем советники; не сам господин городской, а приятельствующая с ним кухарка. Защиты от них нет, возразить им негде, — и сжимаются люди, на которых направлен их указующий перст.

\*\*  
\*

«Новый европейский порядок» в одном смысле «демократичен»: он опирается не на аристократию мысли, а на массу посредственностей. Духовная аристократия зачисляется в разряд безработных; в худшем случае она под подозрением; в еще худшем подвержена остракизму. На первый план выдвигаются люди, которым раньше не удавалось пробить себе дорогу. Люди, может быть, и не плохие, но не отчетливые в своих взглядах и убеждениях, не блиставшие талантами, не обладавшие сильной волей, не искавшие прямых путей.

Посредственности по природе, приписывавшие свои жизненные неуспехи не своим недостаткам, а засилию избранных. Они всегда были готовы примкнуть к господствующему течению, но в условиях свободной конкуренции оказывались ненужными и должны были удовлетворяться положением второстепенных и второсортных. Теперь, когда снята головка, они внезапно оказались в первом ряду — и наконец могли определиться. Тысячи освободившихся вакансий, новосозданных постов, для занятия которых достаточно не иметь прочной связи с прошлым и, не слишком себе изменяя, согласиться на любое исповедание и любые девизы.

Лишь с участием таких людей возможно осуществление основной задачи «нового порядка»: централизации и установления иерархического начала; они серы, лишены инициативы, покорны приказам, дорожат завоеванным положением. Поскольку они облечены властью, их природная бездарность оказывается даже полезной: власть их не так чувствуется управляемыми. Но власть людей портит и развивает в них страсть к начальственным жестам. Почувствовав себя избранными, хотя никто их не избирал, они пытаются декретировать — и натываются на жизненное сопротивление широких масс, нужды которых они не способны понять и постигнуть. Честные сдаются и уходят или устраняются в порядке иерархии, упрямые и себялюбивые остаются и вступают в борьбу с теми, кто поручен их заботам: с сельскими хозяевами, крестьянами, рабочими, профессорами и школьниками, коммерсантами и людьми свободных профессий. Мало-помалу на постах, ведающих хозяйством страны, оказываются маленькие узколобые деспоты, погруженные в полицейскую деятельность, в выслеживание и в выслушивание доброхотных доносов. Характерной чертой «нового порядка», сменяющего отнюдь не идеальную демократию, является превращение всех ведомств, независимо от их специальных назначений, в полицейские участки, работающие в полном единении и согласии с основным ведомством по-

давления гражданской воли — ведомством внутренних дел. В этом и заключается «централизация» управления. Процвetaют суды, карающий меч неослабно подымается и обрушивается на головы виновных и невинных, преступников и героев, и только к этому сводится вся деятельность новых людей, призванных возродить нацию и выправлять испорченные нравы; на остальное нехватает времени, не находится инициативы. Мы видим это сейчас повсюду в европейских странах сменного режима, поклявшихся верностью «новому порядку». Очевидно такова роковая неизбежность. Это называлось раньше реакцией. Сейчас именуется национальными революциями. Их целый ряд; они порождаются разными причинами; но скрижали их законов тесаны и выбиты одним надгробным мастером.



Революция, то есть переворот, восстание, бунт, нарушение существующего порядка, всегда производилась народными массами против правящего меньшинства. Но в наше время всё перевернулось вверх ногами, и революции стали производиться без участия в них народа и вопреки его желаниям. Начало было положено русским Октябрем, продолжением было картинное «взятие Рима» итальянцами, Берлина немцами, скромного Виши французами, соответствующих собственных городов другими нациями. Никакого восстания при этом не бывает, массы безмолствуют, иногда проявляют равнодушие, очевидно не веря в прочность переворота, считая его явлением временным. Революционерами оказываются не бунтари и новаторы, а, наоборот, сторонники идей, сданных историей в архив и снова вытасканных из кладовых, подправленных, подштопанных и пущенных в обращение. Но слово «революция» остается, чтобы придать старью очарование новизны, — настолько оно звучит привлекательно. Почти всегда к нему прибавляется кличка «националь-

ная». Тем же прилагательным сейчас в Европе называется обувь на деревянной подошве, поддельный курительный табак и прочие эрзацы. Раньше «национальной» называлась во Франции двухспальная постель, занимавшая три четверти площади комнаты.

В общем получается забавно. Сначала происходит политический переворот, то есть смена одних правителей другими, затем заборы оклеиваются печатными призывами к революции, исходящими от новой власти; отклика на призывы нет, и жизнь продолжается.

\*\*  
\*

Каждый новый политический строй старается обеспечить себе будущее. Поэтому одно из его основных усердий — завоевание молодежи. Приобрести ее расположение политическими посулами и программами, конечно, невозможно; детям и юношам нет никакого дела до того, кто и как будет править страной. Зато они чрезвычайно легко соблазняются всякими значками, побрякушками, знаменами и форменными отличиями. Стоит пожаловать одному мальчику нарукавную цветную повязку или право ношения форменного берета, как зависть к нему привлечет в ряды детской организации новых участников, жаждущих такой же повязки.

И вот — отряды пионеров, распевающих сравнительно невинные песни и гимны. Отряды постарше уже готовят деятелей — и детские руки распространяют воззвания и призывы, часто ненавистнические (с соответствующими «долой» и «да здравствует») и юноши, отличенные значками, помогают взрослым в выслеживании гражданских слабостей и пороков. Маленькие доносчики, которые вырастут со временем в больших негодяев. Это называется «политическим воспитанием молодежи». Под Парижем, где большинство коммун было коммунистическими, пятилетние ребята шагали процессиями в красных шапочках; сейчас повсюду шапочки переменились, — система осталась: раньше, чем

детское сознание хоть сколько-нибудь определится, оно уже напичкано готовыми формулами. Может быть, это и не очень страшно: формулы линяют, как линяют и выцветают знамена; но всё же сознанию дан какой-то толчок, и на этом именно строятся планы политиков, покупающих молодежь блестящими побрякушками, как покупаются и взрослые орденами и почетными званиями.

«Новый европейский порядок» строится не на положительных гражданских идеалах, а на ряде отрицаний, на воинствующей злобе, на возведении в систему грубой силы. Тем более страшно видеть эксплуатацию детской души, которой прививается расовая ненависть, национальная самовлюбленность и привычка принимать на веру то, что преподносится им под видом неколебимой истины. Фабрика безропотных солдат и исполнительных чиновников. Но если Европе еще суждено продолжить свою историю, — не такие строители ей потребуются; если, повторяю, ей суждено, если ее славная история не покатится под гору — в бесславное небытие...



**Г О Д О В Щ И Н Ы**



(12. 11. 41)

Пока совершаются и накапливаются для памяти будущих поколений события порядка мирового или национального, — не мешает для душевного спокойствия оглядываться иногда на прошедшие годы и века, отмечая годовщины происшествий больших и малых, имевших историческое или лишь преходящее значение, прославленных или только забавных, — разница не столь велика, раз дело идет о давнем и больше не существующем. В сущности каждый день для кого-нибудь и для чего-нибудь есть день юбилея. Что было с вами в этот день в прошлом году? Или десять лет тому назад, или двадцать — если вы еще молоды, или полвека — если уже предстоите вечности. Годы рождения детей, серебряные и золотые свадьбы, годовщины знаменательных встреч, перенесенных болезней, перемен местожительства... От слишком личного перейдем к более общему. Как нам, русским, не вспомнить о столетнем юбилее «сороковых годов», таких значительных в истории нашей общественности и литературы. Любитель книги, иллюстратор, гравёр вспомнят о расцвете издательств, о поэзии типографского дела, поспорят о достоинствах французского Гаварни и русского Василия Федоровича Тимма. В июле истекающего года, за грохотом орудий, мы не вспомнили о пистолетном выстреле, унесшем век тому назад Лермонтова, а если и вспомнил кто, то разве с тем вниманием, какого заслуживает его память. В минувшем сентябре исполнилась полувековая годовщина смерти Гончарова, отца русского романа и лучшего бытописателя эпохи сороковых годов, которые он, барин и сибарит, неторопливо изображал в течение двух следующих десятилетий. Три месяца недостает до годовщины — до четверти века — февральской революции, — кто и как справит знаменательнейший в нашей истории день, кто к нему готовится. В минув-

шем году пропущена прискорбная годовщина разорения Киева татарами, — и вот, спустя семьсот лет, мать русских городов снова под пятой варваров. Малое и большое путаются и перемешиваются в памяти, свое перемежается с чужим. Четыреста лет тому назад (сентябрь 1541) вернулся из Страсбурга в Женеву человек, имя которого, как фанатика религии и духовного диктатора, было неизмеримо громче всех имен диктаторов наших дней, — Кальвин; в маленькой стране, сейчас неизменно мирной, сторонящейся всякого участия в европейских схватках, водворился высокий теократический порядок, и, во имя чистоты божественного учения, во имя прочности добрых нравов, спустя десяток лет был обезглавлен поэт Яков Грюэ за вольные стихи, был сожжен Михаил Серве за сомнение в тричности. Темные времена. Потребовалось четыре века бурного развития цивилизации, чтобы к подобным же случаям прибавились расстрелы заложников в занятых немцами французских городах, по пятьдесят штук за одну немецкую голову. Но пройдем мимо «великих событий», — разве нет юбилеев самых мирных, без всякого трагизма, курьезных, отвлекающих мысль от слишком печального. Вспомним лучше, что пять с половиной веков тому назад (1392 г. — готовьтесь к скорому юбилею!) благодетель человечества изобрел игральные карты — мирную и бескровную человеческую войну. Как его звали? То ли отцом Менетрье, то ли Жакменом Гренгоннером, но это был, несомненно, гениальный человек, придумавший развлечение не только для безумного короля Карла Шестого, но и для бесконечного ряда поколений людей разумных, серьезных, деловых; вместо того, чтобы перегрызть друг другу горла и выцарапывать глаза, люди садятся за квадратный стол и, как на войне, берут, сдают, атакуют, защищаются, бьют, режут, выигрывают, проигрывают, меняют партнеров, заменяя символикой животные страсти. Сейчас уже забыто, что черви были мастью смелости, трефы — военным продовольствием, пики и бубны —

сортами оружия, сама игра — искусной стратегией. Было бы не плохо, если бы международные споры решались партией бриджа или покера, с неменьшей долей случайности и той же справедливостью, но, по крайней мере, без жертв и разрушений, если не считать истрепанных колод; и смена «партнеров», то есть союзников в борьбе, не вела бы к потере чести и не требовала бы лицемерных толкований; и только тех, кто играет краплеными картами, били бы тяжелым подсвечником, тогда как сейчас они в особой чести. Если мало этого знаменательного юбилея, есть и еще один, тоже четырехсотлетний юбилей обеденных меню, тоже падающий на истекающий год. О нем особенно уместно вспомнить сейчас, когда меню большинства европейцев сводится к вареному картофелю и бобам без масла. Оно настолько неизменно, что не приходится печатать его на изящных карточках. Но как приятно прочитать, как ели наши предки в более счастливые времена, когда в парадный обед входили 40 рагу, 20 жареных, несколько десятков закусок между блюдами (entremets), не считая разнообразных супов, соусов, сладких и, конечно, отборных вин. У французского писателя Евгения Гю (кстати — тоже юбиляра, так как его знаменитые «Тайны Парижа» печатались в 1841 году) есть роман «Чревоугодие» (в серии «Грехи смертных грехов»), где доказывается, что этот осужденный церковью порок есть, в действительности, высокая добродетель, и благодаря ей процветают сельское хозяйство, развивается торговля, культивируются колонии, миллионы людей имеют заработок. В том же романе можно найти такие соблазнительные описания различных блюд, что только чеховская «Сирена» ни в чем не уступит в смысле возбуждения аппетита. И в заключение романа, без большого нарушения его художественной цельности, приведено полностью меню обеда из 55 блюд, способного довести до истерики самого спокойного и не сластолюбивого человека; до истерики, конечно, от чтения меню, а не от участия в подобном обеде. И вот,

после четырех веков высокого развития обеденного искусства — мы у разбитого корыта.

Нет, всё это не пустяки; годовщины, вызывающие на сравнение прошлого с настоящим, всегда поучительны. В одних случаях мы отмечаем устойчивость явлений, в других их мимолетность. Годовщинами войн и знаменитых сражений настолько пронизана вся история, что вряд ли можно найти день, на который не падал бы юбилей, годичный, столетний, тысячелетний, какого-нибудь «славного» человеческого побоища. И есть юбилеи взблесков и сияний человеческой мысли, великих в своей бесплодности, но также вечно повторяющихся, как бы в подтверждение того, что искания бесконечны, а истина остается недостижимой. Кажется нигде, кроме маленькой Швейцарии, не отмечено исполнившееся в минувшем сентябре четырехсотлетие смерти Теофраста Парацельса, великого ученого, врача и гуманиста; он умер в Гальцбурге в 1541 году, после долгой скитальческой жизни, и ни одна страна не имеет исключительных прав на его имя. Родом немец, уроженец Швейцарии, он жил и работал в Германии, Швейцарии, Италии, Франции, Англии, был похищен в Польше татарами, странствовал по Египту, приобщался к мистериям в Константинополе. О нем стоит вспомнить и поговорить уже по одному тому, что немногие, положив руку на сердце, могут сказать, что помнят его имя и соединяют с ним ясные представления. А между тем, наряду с Рабле и Эразмом, он строил мост между средневековьем и возрождением, алхимией и химией, астрологией и астрономией, оккультными знаниями и наукой. Он искал философский камень и изобрел эликсир бессмертия, что не помешало ему благополучно умереть. Его писания (часть которых есть и на русском языке в изданиях екатерининской эпохи) кажутся мистическим вздором, утратившим всякий смысл, а между тем мы можем назвать его предшественником теории витаминов и лечения гипнотизмом. Как всякий великий новатор, он для одних был «божественным», другими

подвергался гонениям. Его не успели сжечь на костре, но умер он в глубокой нищете. Его имя должны чтить ученые наших дней, которых изгоняют из их стран и их университетов за новаторство, за расу, за то, что они не хотят подчинить чистое знание политическим расчетам правителей. Он первый пытался доказать научно наличие «души всех элементов», хотя и отрицал ее бессмертие, и для виталистов он — несомненный предок. Но прежде всего он был искателем, человеком, убежденным в том, что знания могут развиваться лишь в условиях полной свободы мысли, что нет истин неколебимых и напрасно приказывать верить в то, чего нельзя подвергнуть критике и проверке. Знание для него было творчеством посвященного. Это делает годовщину смерти великого алхимика особенно знаменательной в наши дни гонения на творчество и духовную посвященность, на общества людей, ставящие себе задачей совершенствование личности и общечеловеческих отношений, братство народов, равенство прав и свободу исповедания. Какими бы вздорными легендами ни приукрашивалась биография Теофраста Парацельса, «исчадья ада» и «бродяги неопишемого», он остается одним из замечательнейших гуманистов раннего Возрождения и духовным учителем ряда поколений; и, конечно, идейным врагом политической и религиозной церковности, личной и классовой диктатуры, всякого насилия над личностью и общественностью, войны, национализма, забивания черепов неколебимыми истинами ложных авторитетов и кумиров.

Может быть странными и даже неуместными покажутся эти беседы о Лермонтове, сороковых годах, кальвинизме, картах, обеденных меню и Филиппе Теофрасте Парацельсе Гомбасте Гогенгеймском — в дни, когда наши взоры прикованы к фронтам, наши уши приколоты к радио. Но ведь это — единственная возможная контратака против засилия злобы дня, единственный возможный протест к вечному против временного. А протест необходим, контратака единственно

спасительна, потому что под угрозой не города и городки, не страны и люди, а культурные завоевания веков и поколений, и величайший их враг — война — стремится вернуть нас в состояние человекообразных. Не будущее должно нас беспокоить, а прежде всего судьба прошлого, определяющего это будущее. Если русские борются под Москвой, вдохновляя себя памятью об «отечественной войне», то нам, невоюющим, остается находить бодрость в памяти об этапах человеческой мысли, о больших и малых годовщинах, верстовых столбах пути, пройденного мирными завоевателями. И уж тут всё мило и дорого — от поисков философского камня, до игральной карты и обеденного меню. ▭ парадоксах, преувеличениях, в серьезном и шутке, как-нибудь разберемся, отделив важное от мелочей; а основная мысль останется — спасти здоровый дух среди этого урагана мирового воинствующего варварства.



**ИЗ КЕЛЬИ ПОД ЕЛЮ**



(20. 11. 41)

Если бы не привычка мыслить упрощенными образами, — количество сумасшествий и самоубийств было бы значительно выше. Нас спасает недостаток фантазии и неисправимая надежда, что всё обойдется. Это значит, что с какого-то часа и дня (о, счастливый, долгожданный момент!) жизнь вернется в свое обычное русло и потечет с тем спокойствием и ясностью, с той возможностью более или менее точных житейских расчетов, как это было до переживаемой нами катастрофы. Поэтому миллионы людей, быт которых насильственно разрушен, живут лишь временно, откладывая более прочное устройство заново этого быта до окончания войны. Им как-то не приходит в голову, что в таком временном существовании могут состариться не только они, но и их дети, если не внуки, и что клубок бытия нашего разматывается не скачками и срывами, а ровной нитью, и что все моменты этого бытия одинаково входят в общий учет; готовясь жить, мы уже живем, живя, уже готовимся к уходу.

Какие картины завершения войны рисует эта упрощенность мысли большинству людей? Побеждает одна из воюющих сторон в их нынешнем противостоянии (хотя ничем не доказано, что комбинации враждебных союзов не могут в корне измениться, что враги могут оказаться друзьями и наоборот). Если победит гитлеризм — изменятся границы на карте Европы и колоний. Полномочный хозяин — Германия, старший приказчик — страна Муссолини, подручные и мальчишки на побегушках — фантошные правители вассальных земель. Во внутренней жизни Европы — полная ликвидация так называемых политических свобод, гражданских самоуправлений, всяких проявлений независимой мысли в науке, в искусствах, в общественности. «Новый европейский порядок», планы которого пока очень ту-

манны, а практика сказалась лишь в выкачивании завоевателем на свою потребу жизненных ресурсов в занятых странах. Часть населения должна физически исчезнуть, — люди неугодной расы и не соответствующих новому строю убеждений. Отмена и забвение духовной культуры последних веков, замена религии гуманизма реальностью внешней моторизованной силы. Приблизительно в таких тонах и красках рисуется противникам германской идеи возможность ее торжества.

□оответственно этому, поражение Германии и Италии повело бы за собой восстановление прежних европейских государственных границ, с легкими, быть может, поправками, возврат к разным формам народовластия, к принципам независимости личности, самоуправления народностей, расового равенства (в существовавших раньше относительных пределах), вообще возврат к тому, что было или казалось бывшим и что несомненно исчезнет при проигрыше войны демократиями и Россией (где оно, впрочем, не было и бывшим не казалось).

Нет никакого сомнения, что в исходе войны ни того, ни другого случиться не может: ни нового порядка Европы, какой обещает на ближайшее тысячелетие (*excusez du peu!*) Адольф Гитлер, ни романтики прежних форм парламентских демократий. Первое невозможно потому, что в ходе развития человеческой мысли и человеческого общения национализм, как идея, изжит, и что никакими внешними силами не удержать в длительном рабском состоянии жаждущую свободы человеческую мысль. Второе невозможно потому, что формы современной демократии изношены и выродились, и терпелась она только как относительно наименьшее из зол. Народы защищали и защищают свою независимость, свои права на самоопределение, на самостоятельное устройство своего политического быта, — но кого, какого солдата вдохновила бы защита парламентского строя, при котором граждане вынуждены избирать в законодатели и правители исключительно

людей, которых лично они не знают, и исключительно зависимых, связанных принадлежностью к партиям? Чей негибкий мозг может далее восхищаться картинами парламентской грязи, узаконенного лицемерия и откровенного обмана избирателей? И кто может мечтать о полном возврате к порядкам, в значительной степени обусловившим военное поражение? Естественно, и законно отрицая «новый порядок» Гитлера, Европа не откажется от своего «нового порядка», многообразные формы которого ей предстоит выработать и ввести путями мирными или революционными. Вернуться к прежнему — значило бы вернуться к тому состоянию, которое повело к катастрофе и, конечно, поведет к новой, горчайшей.

Это значит, что к прежнему возврата не будет ни при каких условиях, и напрасно откладывать жизненные задачи до какого-то магического срока, дня перемирия, мира, покоя. Что можно делать — нужно делать немедленно; завтрашний день не обещает лучших условий. Наши упрощенные образы слиняют в ходе событий, будущий образ которых не предугадаем. Можно только сказать с уверенностью, что мы не найдем в нем знакомых черт, ни тех, которыми нам угрожают, ни тех, которые рисуются жаждой возврата к подобию утраченного покоя.

Идет борьба под знаменами условных ценностей, как будто ясных символов. Когда она окончится — символы останутся, но их содержание будет уже иным. И лишь об одном можно мечтать: чтобы их новое истолкование не потребовало таких же и еще больших потоков крови, какие проливаются будто бы в защиту их прежнего смысла.

\*\*  
\*

В таких предчувствиях — не пришло ли время реабилитировать «келью под елью»? По-иностранному она называется «башней слоновой кости». Но не в на-

звании дело. Вы заползаете в раковину и замазываете вход за собой доступным цементом. Внешний мир отрезан — мир внутренний вырастает в огромное, не знающее стен и пределов. Вы создаете себе свои небеса и просторы для беспрепятственных полетов и прогулок мысли. Вы сами даете определение важному и ничтожному, не связывая себя обязательствами прежних оценок. Пока скорлупу вашего бытия не раздавит прохожий медведь, вы, по собственному выбору и побуждению, погружаетесь в нирвану, состояние без страданий и радостей, мудрейшее ничто, или, наоборот, отдаете себя сладким творческим мукам познавания, вечной погони за манящим и непостижимым. Можно и оставить в покое высокий философский стиль; можно просто отказать от газет, радио, разговоров о войне, политических негодований и социальных надежд, от патриотических чувств и национальных ощущений, — и уткнуться нос в томик авантюрного романа или исследования о дифференциалах и интегралах. Можно залить уши воском и послать на почту заявление, что вы выбыли, не оставив адреса; можно сообщить ближайшим знакомым, что у вас прилипчивая форма гриппа или вы укушены бешеной собакой.

Возникает вопрос о праве на выход из общей жизни и на отшельничество мысли. И вот я, такой-то, чувствую себя носителем всех прав, вооруженным неопровержимыми доводами; я, такой-то, бесправный гражданин своей страны, пределы которой для меня недоступны. На мне не лежит никаких национальных обязательств, так как за всё то, что я когда-то получил от этой страны, я заплатил полностью не только страстью и фактом со-работы, но и годами со-чувствия и со-страдания; мы квиты только потому, что я не предъявляю превышающего этот уплаченный мною долг встречного иска. Я не изменял, хотя не давал клятв. Я любил и люблю, хотя мог бы ненавидеть. Я не обещал грядущим поколениям тысячелетия счастливой жизни за мой личный счет, хотя, вместе со своим поколением, работал

только для будущего. Я не участвовал в «совете нечестивых», не был палачом и не присягал на рабство; не ковал оружия ни для защиты, ни для нападения, и в толпе покорных не пел осанны Идолу. Бесправным, сам себе единственная поддержка и защита, я жил в странах рассеяния, которым также ничем не обязан, так как аккуратно и выше других, граждан подлинных, платил налог за безболезненный переход через улицы под прямым углом, между рядами блестящих гвоздей на мостовой. Явившись нищим, нищим остался, милостыни не прося, нищим и уйду, никому не поставив в счет труда своей жизни. Келья под елью — единственная доступная закута без квартирного налога и выборки прав на жительство, мной заслужена и оспорена быть не может. Она вне территорий и не ограничивает ничьей жилплощади.

И вот, в тот момент, когда я примазываю последний кирпич, заграждающий вход в мое убежище, во мне коварно и нелогично просыпается жажда разрушить мудрейшее из сооружений и, забыв обиды и тягость лет, ринуться снова в поток внешней жизни, со всем накопленным невесомым багажом дум, утверждений, отрицаний, уверенностей и надежд, — вероятно потому, что в книгах природы человек записан в графу общественных животных, подобно бобрам, которые даже в неволе, в приюте зверинца, стремятся строить и созидать из комьев земли и случайных огрызков дерева плотины и жилища, ни им, ни кому другому ненужные. В них это называется инстинктом, в себе мы приписываем это побуждениям разума. И, гордые найденными терминами, проводим резкую черту между равнозначущими неразумиями.

Может быть, в этих иносказаниях вы найдете некоторый отклик на странность и непоследовательность своих мыслей и своего личного поведения, — вы, не знающие, как помирить горечь обид с чувством всепрощающей, не желающей помнить зло приязню, вы, в порыве жертвенности натолкнувшись на вежливую

улыбку отказа, и вы, в своем праве на равнодушие и на отдых, продолжающие волноваться, жестикулировать и строить в клетке никому не нужные общественные сооружения, потому что зубы чешутся, как у грызунов, руки привыкли напрягать мускулы, голова не знает покоя. Но если какая-нибудь Мария «благую часть избра», то да не осудит ее благодетельная труженица Марфа.

---

Как часто мы слышим: «Единственное, чего хочу, это — дожить до конца этой истории и узнать, чем она кончится». Под «этой историей» разумеется, конечно, война и всё с нею связанное. Война, несомненно, кончится, во всяком случае в теперешних и ближайших размерах, но «эта история» не кончится; в сущности она едва началась.

В России строка «Интернационала» поется в прошедшем времени: «Это был наш последний и решительный бой». Сейчас правильнее заменить время настоящим, а вообще говоря лучше всего восстановить первоначальный текст в его неопределенно будущей форме.

И я завершу тем, чем начал: как обманчивы упрощенные образы. Но не будь их — впору было бы сойти с ума.



## **О ПЕРЕСМОТРЕ УТВЕРЖДЕНИЙ**



*(Конец дек. 41)*

Есть ряд ходячих утверждений, кем-то когда-то авторитетно заявленных, принятых на веру, и так оставшихся не пересмотренными, но принятыми за аксиомы. Можно для примера привести утверждение, что французская кухня — самая лучшая и тонкая на свете, — хотя нет сомнения, что она далеко уступает не только скандинавской и русской, но даже итальянской, ей во многом родственной, и что хуже, безвкуснее французов едят в Европе только немцы и англичане. Но я не собираюсь рассуждать на кулинарные темы в дни продовольственных крахов и недомоганий, говорю лишь к случаю. Более важный и серьезный пример — общепринятое утверждение духовного примата белых европейских рас, на котором основывается право колониальных преступлений, — в то время, как не может быть спора о том, что духовная культура Востока неизмеримо глубже, древнее и выше нашей. Еще чаще заблуждения национальные, по существу понятные и простительные, но вызывающие улыбку. Так, например, поляки или англичане считают свой язык звучным и красивым, итальянцы думают, что они доблестные воины, русские высоко оценивают поэтичность своих народных сказок, в действительности очень грубых, немцы считают себя музыкальным народом, Вагнера — величайшим гением, а Канта — глубочайшим философом. Иногда национальные заблуждения настолько сильны, что убеждают и других, обращаясь во всеобщее утверждение. Так, например, невысокая оценка Шекспира Львом Толстым принимается чуть ли не за кощунство, и классики придут в ужас, услышав, что «Илиада» Гомера, за счастливым исключением некоторых песен и отдельных мест, — не только скучная книга, но и отвратительная по содержанию, духовно весьма нич-

тожная, так что заставляя юношей изучать ее по меньшей мере бесстыдно и безнравственно.

Опытный читатель поймет, что устрашающие парадоксы, подобные высказанным выше, вводятся обычно не ради красного словца, а для привлечения внимания к дальнейшему — испытанный литературный прием. О деталях можно спорить, но основная мысль проста и неоспорима: нужен пересмотр ходячих утверждений. Его, этот пересмотр, требует сама жизнь, и весьма настойчиво. О каком, черт возьми, «новом европейском порядке» прожужжали нам уши? Кто будет его налаживать, кто хочет нас, дикарей, учить культуре?

Нет сомнения — Европа имела случай в этом убедиться, — что Германия — образцовая страна порядка. Если поручить ей быть всеобщим гувернером, все люди будут установленного роста с отвешенным для каждого количеством мозга. Вставая и ложась в определенные часы, они будут, выйдя из дому, маршировать по левой стороне улицы и возвращаться домой по правой, будут запивать пивом считанные калории, работать под счет метронома, спать поочередно на правом и левом боку, читать одобренные правительством книги, любить по потребительским карточкам, рожать по специальным разрешениям и во-время умирать. Повернувшись головой к священному Берлину, все нации будут по команде кивать головами в знак согласия, и несогласие станет не только немислимым, а просто бесполезным. Часы стенные и часы карманные не позволят себе и тени расхождения, и даже климаты применятся к новому, для них введенному расписанию погоды. Нет оснований не верить в возможность тысячелетнего блаженства, в установление мира всего мира, исчезновение социальных неравенств, экономических крахов, безработицы, войн и революций. Цивилизация достигнет предельной высоты и человек станет образцовым животным, счастливым соперником муравья. Если это нужно для счастья человеческого рода, то

неразумно дальнейшее сопротивление: нужно смириться и поймать для поцелуя занесенную над нашими беспутными головами руку.

Счастье манекенов и струганых из осины палочек достижимо, пути его указаны. Но как быть, если цель совершенствования человеческой жизни в достижении не такого счастья, не сытости желудка, не в благополучии внешнем, а в душевном благородстве, в свободе творческой мысли, в вечном искании, в жути предстояния пропасти познания и бездне нравственных вопросов, если в этом отличии от животного состояния видеть содержание и смысл культуры. Какие культурные обещания сулит нам «новый европейский порядок», какие его предзнаменования уже ясны, какие даны нам авансом?

Мы уже были свидетелями бегства из Германии людей свободной творческой мысли, писателей, мыслителей, ученых, свидетелями крушения духовных исканий, сожжения книг на городских площадях, религиозных гонений, полного возврата к крайнему политическому деспотизму, оправдания безнравственных начал единым словом «тоталитарность», возвеличения в высокий принцип грубой внешней моторизованной силы. Об этом еще не забыто, но уже поздно говорить. И вот перед нами новые образчики грядущего культурного величия, новые свидетельства апостольского служения цивилизованнейшего из народов. Мы еще мало знаем о том, что произошло в России в связи с захватом ее западных пределов, какая там насаждена культура. Но знаем, что первыми налетами на Москву разрушен в Кремле Архангельский собор — памятник древнего зодчества, что в мусор превращен московский университет и Большой театр меткими прицелами летчиков. Мы знаем, что случилось с такой святыней духовной культуры, как Ясная Поляна, где опоганен и разграблен дом-музей Льва Толстого, во что превращен в Клину дом Чайковского, — и всё это только случайные весточки о пове-

дении крестоносцев в стране, куда они явились насаждать культуру.

Война есть война, т. е. приятие и утверждение варварства, и, может быть, не стоит и лицемерно проливать слезы над грудой камней, когда рядом навалена груда трупов; не есть ли человеческая жизнь — высшая ценность? Но тогда о какой культуре смеют говорить люди, являющие собой, своими действиями, наиболее совершенный тип современных цивилизованных дикарей. Если свершится справедливое и русские войска вступят проходом в Веймар, — мы не поручимся за то, что они будут знать, как отнестись им к этому городу, столице культуры германской; мы потому не поручимся, что мы ведь народ общепризнанно дикий, против нас просвещенная Европа посылает символические отряды крестоносных авантюристов. И однако, если найдется кто-нибудь, кто успеет предупредить красноармейцев, что в Веймаре жили Гете, Шиллер, Гердер, Виланд, что это — город замечательных книгохранилищ и что в нем находится храм музыкальной славы нам чуждого, но немцами возлюбленного композитора, — тогда, мы это твердо знаем, наши варвары не совершат кощунств, которыми прославили себя офицеры и солдаты «величайшей в мире армии».

Легенда о высоте германской культуры была подвержена сомнению еще в дни франко-прусской войны 1870 года; почитайте мемуары той эпохи, они красноречивы. В прошлую мировую войну этой легенде был нанесен второй удар, и в эту нынешнюю войну не должна ли эта легенда быть окончательно отвергнута?

Случилось и большее: если раньше перед нами вставал вопрос о культуре страны, — сейчас он встает о качествах германской расы, о сомнительной ее способности преодолеть свою природную животность. И не делается ли немецкий национализм тем страшнее, что он грозит всему миру порчей крови, прививкой устойчивой тупости и жестокости, свойственных этой плодовой породе человекоидов. То, что раньше можно

было приписывать лишь культурной нечуткости и условиям «тотальной» войны (неразборчивость в средствах, неуважение к чужим святыням), не есть ли проявление протеста низшего сознания против чужих культурных достижений, ярость дикаря, сладострастно разрушающего то прекрасное, чего он не может ни создать, ни оценить. Не отсюда ли этот систематический, поражающий бессмысленностью грабеж библиотек в занятых странах, увоз предметов искусства — без оценки, широкой охапкой, сколько захватится, — насилия над делом школьным, просветительным, общественным, нечто от обезьяны, сующей за щеку поразившие ее воображение светлые предметы непонятного назначения. Мы всегда чуждались переносить неприязнь и ненависть с власти на народ, с вождей на водимое стадо; но возможно, что в данном случае наше прекраснодушие заблуждается, и народ достоин своих ставленников, раса своего вожака. Когда мы слышим дерзкие слова европейцев, дающих всему русскому народу кличку «большевики», кличку бранную и унижительную, хотя и произносимую без смысла, — мы можем возразить, что русский народ, — не единая раса, и его ни в каком случае нельзя судить огулом; но германцы — раса единая, и они особенно на этом настаивают. Храни же, Гоже, мир от ее победы и ее господства, от перспективы гибели культуры и воцарения образцовой немецкой цивилизации, обещающей миру «новый европейский порядок».

Кто их друзья, кто соратники и попутчики? Не знаменательно ли, что исключительно нации остановившейся в развитии или отсталой культуры: итальянцы, румыны, венгры, болгары, — или культуры Европе чуждой — японцы, правда, товарищи не по чувству, а по расчету. Вот почему не может быть искреннего и не вынужденного сотрудничества с победителем побежденной им Франции, почему мысль об этом так непопулярна во французском народном сознании и приветствуется только темными элементами дельцов и... хит-

рыми политиками, которые, при случае, не упустят переменить лицо. Вот почему так стыдливо и обособленно участие честных финнов, единственно правых на неправой стороне. И вот почему сразу двух врагов нашла Германия в России, страшной для нее стране: русский народ, борющийся за свою культуру, проникнутую духом гуманизма, и русский большевизм, увидавший в германском нацизме кровного брата и опасного соперника.



**НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ**



*(Середина янв. 43)*

Я совершенно ясно ощущаю трагическую невозможность быть вам чем-нибудь интересным в дни, когда Америка из заинтересованного зрителя стала едва ли не главным актером. Как вы, может быть, еще помните, на свете есть такая страна — Франция, в свое время выступавшая на мировой сцене и пользовавшаяся вниманием, если не особым успехом. Неудача вынудила ее покинуть эту сцену и заняться своим домашним хозяйством, весьма расстроенным. Для большей бодрости она объявила себя в состоянии «национальной революции», вполне своеобразной, так как эта революция принята была не снизу, как это полагалось по прежним обычаям истории, а сверху, или, точнее сбоку, как это введено в моду Италией и Германией. В то же время, уже по примеру России, революция оказалась «перманентной», и в этом хроническом состоянии страна остается и до сей поры, — в состоянии безрадостной невзволнованности. Она, возможно, и вообще не замечала бы своей революционности, если бы ей об этом не напоминали постоянно, иногда упрекая ее за слабую отзывчивость. Впрочем и враг и друг Франции, положив руку на сердце, должны признать, что если не революция (зачем злоупотреблять хорошим словом), то реформы ей действительно нужны; и то, что сейчас для нее делается, не лишено некоторого значения, и даже положительного, поскольку оно не сопряжено с реакционными замыслами низкого разбора и давно и хорошо знакомого типа (нацизм, фашизм, большевизм). Можно, например, очень серьезно обсуждать несколько преувеличенно сложную «хартию труда», но в обществе порядочных и здоровых людей не спорят по вопросу об антисемитизме, сугубой полицейщине, преследовании за убеждения и борьбе с обществами духовного просвещения (каково, например, масонство, даже французское,

подмоченное печальным политиканством). К счастью, нам обещают, что многие из предпринятых мероприятий лишь временны и должны объясняться «переходным периодом» и не полной свободой реформаторов. Об этой «полусвободе» мы имеем авторитетнейшее свидетельство не кого-нибудь, а главы государства — в его новогодней речи. Он же бесспорно утверждает, что «революция, чтобы быть национальной, должна быть делом нации». Ну, а до этого еще далеко, время не пришло.

У нас стоит необычайно мягкая зима. Передина января, самого холодного месяца, а настоящих морозных дней не было, и термометр неохотно опускается ниже нуля. Это уже выигрыш доброй половины зимы, и не трудно понять, что это значит для страны, население которой вообще не умеет приспособляться к зимним холодам и считает их не за естественное явление, а за хроническое ежегодное несчастье; теперь же, силою обстоятельств, оно вынуждено жить в неотапливаемых домах, да еще при недостаточном питании. Выиграть зиму значит выиграть год. Все холода ушли в Россию, которая, впрочем, тоже выигрывает зиму и, во всяком случае, год. Пытается выиграть на зиме и германское самолюбие, объясняя холодами свое бессилие и поражение на Востоке, — какая для него обида, что нельзя свалить на термометр и африканские неудачи; не во всякой местности и не во всякое время года Наполеоны могут ссылаться на насморк.

Какое прекрасное неучастие в мировой жизни. Выйдя из моды, Франция стала глубоко провинциальной. Все сидят по домам, мало и редко пользуясь железными дорогами, сократившими пассажирский транспорт; на редчайшие автомобили смотрят, как на напрасную и ненужную выдумку. Никого не удивляет, что письма и посылки на короткие расстояния идут неделями и по пути кем-то и зачем-то читаются, хотя в этом нет никакой надобности, если не считать необходимости дать некоторый заработок людям, которых некуда приткнуть. В дни воскресные почта не работает

совсем, газеты не выходят, между небольшими городами прерывается всякое сообщение. От житейских волнений, вызываемых делами военными, страна защищена радио-заглушителями, и ухо допускается к слушанию только тех сообщений, которые не вселяют в души напрасных надежд, и не вселяют сомнений в правильности избранной линии поведения, избранной, впрочем, вынужденно. Говорится чрезвычайно много речей на тему о том, как гармонично бьются сердца всех граждан и как дурно не включать себя в эту общую гармонию, — речи длинные, нудные, доставляющие наслаждение только самим говорящим. Читаются лекции на темы о том, как было дурно, когда люди проявляли сугубый интерес к политическим вопросам и принимали непосредственное участие в управлении страной, и как хорошо, когда эта часть выделена в ведение немногих, лучше знающих, что кому нужно, остальным же предоставляется доверять им во всем и принимать их заботы без критики. Говорится о злых людях, называвших себя каменщиками или рыцарями и надевавших ленты и передники, что неизбежно привело страну к военному поражению и постоянно угрожало государству смутами и волнениями; лишь с их искоренением воцарился настоящий покой. Говорится о страшной и зловредной нации, лишь случайно рождающей Бергсонов, обычно же банкиров, о тайном союзе капиталистов с коммунистами, о величии идеи социализма, но построенной не на классовой борьбе, а на иерархии и взаимной любви работодателей и рабочих, об исторической тяге души французской к душе германской, о том, что земледелие почтеннее промышленной индустрии, которую желательно предоставить другим, более способным к ней народам, о ряде исторических ошибок Франции, неправильно истолкованных миром, как ее заслуги перед человечеством, о многом прекрасном, что было в средние века и напрасно отвергнуто веками новыми. Всё это говорится проникновенно, то с дрожью негодования, то с родственной слезой, в протяжном пе-

нии французской речи, то в несомненном оригинале, то в столь же несомненном переводе. Кто-то это слушает, но, конечно, не маленькое местечко Франции, до которого доносятся только отдаленные звуки горячих и не согревающих речей. В таких глубинных, обывательских местах люди к большим речам не подготовлены, а их понятия просты и воспитаны на учебниках, еще не изъятых целиком из начальных школ. Перевоспитываться не легко, а главное для этого потребно не только много времени, а и уверенность, что перевоспитываться действительно нужно. При том вопросы хозяйственные отвлекают от важных духовных задач.

Иначе живет Париж, странный город, страдающий больше, чем другие, но и больше других оптимистичный. Его не так задевают социальные начинания курорта Виши, но взамен этого он непосредственно испытывает тягости принудительного иноземного воспитания. Он выработал в себе упрямую внутреннюю сопротивляемость, хотя внешне выполняет все предписания немецкого педагога. Время от времени его наказывают за чью-нибудь частную непримиримость, лишают его вечерней жизни, театров, кинематографа, права передвижения по наступлению темноты, некоторых продуктов. Он послушно сидит дома, пьет липовый чай, если есть на чем его вскипятить, не слушает обращенных к нему увещеваний, не читает издающихся в нем газет и загадочно улыбается. Сурово охраняемый от всяких слухов и от опасной иноземной пропаганды, он осведомленнее других городов и лучше их учитывает настроения дня. По лицам своих педагогов он угадывает их тревоги и отсчитывает по пальцам, сколько месяцев ему остается носить короткие штанишки и ученическую куртку. Может быть, он заблуждается, но веры не теряет, и неприглядность настоящего смягчает надеждами на будущее. Худшего с ним случиться уже не может, следовательно произойти может только лучшее, и весь вопрос во времени. И Париж не теряет ни присутствия духа, ни присущего ему юмора. По своему

положению военнопленного не участвуя в «национальной революции», он не считает порождаемую ею реакцию национальной; она — явление такой же породы, как военная оккупация, то есть временна, случайна, прямое следствие поражения. Париж смеет думать, что война не кончена, то есть не кончена не только вообще, но и для Франции; сверх того он знает, что без его участия не действительны никакие коренные реформы во внутреннем управлении страны. Это, впрочем, подтверждается и словами другого военнопленного, именующего себя «изгнанником» и «полусвободным», решительно заявившего под новый год, что новая конституция может быть обнародована только в Париже, после освобождения французской территории. Случай, когда настроение курорта совпадает с настроением сенских берегов.

В масштабе мировом всё это — мелочи, интересы местного значения, и я могу с полным правом сказать, что в отдаленной нашей жизни никаких событий нет, что эта жизнь течет ровно, спокойно и выжидательно, как в центре страны, так и в любом тихом местечке Франции. Нечего рассказать о важном, потому что важного ничего нет, и не стоит рассказывать анекдоты, которых много. Неудачливый игрок сидит в сторонке от зеленого поля, на котором продолжается и разрастается азартная игра, — сидит, в тайне надеясь, что решительный поворот чьей-нибудь дружественной ему судьбы выручит и его великодушным займом, или, в крайнем случае, можно будет принять участие, когда раздраженные участники состязания будут бить обнаруженного и уличенного шулера. «Это будет последний и решительный бой».

Есть, конечно, у каждой единицы ее личные страдания, но они в общем стоне в счет не идут, и на каждое из них, как бы оно ни казалось безмерным, найдется где-нибудь еще пущее. Возможно, что среди других поработанных стран Франция сравнительно благоденствует, — сейчас это очень трудно сопоставить и учесть. Материалы для истории накапливаются, но с

разборкой их спешить не придется. Ибо никто не знает, стоим ли мы перед концом, или в середине развития, или же только в самом начале отвратительных и позорных событий человеческой жизни, которые, по принятой в истории терминологии, будут названы не просто великими, а величайшими.



**ОЧЕРЕДНОЕ ПУГАЛО**



*.(Конец янв. 42)*

Европу, напуганную гитлеризмом, теперь начинают запугивать большевизмом. А что, если Россия, справившись с германским вторжением, сама двинется вперед, перешагнет свои границы и займется вплотную европейскими делами? Не попадут ли тогда ее союзники из огня да в полымя?

Мы, русские за рубежом, ставили и ставим себе этот вопрос давно, много раньше, чем зимняя стужа дала неприятелю почувствовать его, может быть, роковую стратегическую ошибку. В час, для России трагический, мы свою позицию определили ясно и просто: если не телом, то всей душой с русским народом, против иноземного врага. Не большевизм борется на фронте, и не правительство, а народ, защищающий свою землю и свою независимость. И в прошлую мировую войну тот же народ защищал Россию, и точно так же зарубежные ее дети, тогдашние революционеры, желали ей победы и лично шли за нее драться, кто на французском, кто и на русском фронте, — за нее, за ее землю и ее народ, а не за ее правительство. Были исключения — как есть и сейчас; тогда это были большевики, сейчас это их прямые идеологические наследники, пораженцы, германские прислужники. Разница, конечно, есть: те были фанатиками идеи, эти — либо глупцы, либо корыстные предатели; но позиции их равны, равно и наше к ним отношение. Становясь на простую, безоговорочную, патриотическую, сыновнюю точку зрения, мы не слепы и не можем забыть, что у России, кроме врага внешнего, есть и внутренний враг, — стародавний, лишь изменивший личину самодержавный строй, политический деспотизм, равный тому, который обещается Европе под скромным и безличным наименованием «нового европейского порядка».

Но это — наше внутреннее дело, дело народов России, которые сами вправе определять и решать, какой строй им нравится и нужен, оставаться ли при нем и впредь, или, поняв, к чему он страну привел, изменить его в корне, призвав кого полагается к ответу и суду. И никто России в этом деле не указ, ни иностранцы, ни даже мы с нашим сознательным, примитивным, но, конечно, искренним патриотизмом (слова бояться нечего).

Но как быть Европе, демократической Европе, как быть Америке и всем союзным странам, не для того борющимся за принципы и за практику строя свободы, чтобы, сбросив одну угрозу политического деспотизма, создать опасность другой.

Мы, конечно, можем и хотим надеяться, что уроки истории не проходят даром, что Россия после войны не останется прежней. Говорю не о ее социальном строе, о котором возможен спор и между нами, но о строе политическом, строе духовного порабощения личности коллективом, о засилии власти, о религии кулака и крови. Но то, чего мы хотим, мы обещать не можем. Нам остается спокойно и холодно рассуждать. Сейчас в столкновении и кровавой борьбе не два строя идей, а две коалиции держав. В союзе тройственном всё ясно — союз полного идеологического сплочения, сулящего Европе и всему миру уничтожение всех демократических чаяний, смерть всякой политической свободы, искажение лика общественности и культа независимой личности в независимой стране. В коалиции противоположной, демократической (иного, более определенного слова, пока не придумано), только одно пятно — предшествовавшая политика правительства России, то, что называют большевизмом, болезнью, несомненно, заразной. В первом случае — верная и окончательная гибель, во втором не малый риск. Простой математический учет сил показывает, на чью сторону становиться. И в праве ли мы думать, что в

организации новой Европы старые демократии окажутся бессильными и всецело подчинятся своей восточной союзнице, которая сделает то, чего не удалось сделать наци. Такое предположение нелепо. И не этого, конечно, боятся европейские политики, не русского большевизма, достаточно вылинявшего и далеко не столь страшного. Они боятся революции социальной, которая за полвека изменила лик России, не сделав ее страной свободной политически; боятся расцвета коммунистических идей, хотя бы в гораздо более чистом и идеальном виде, чем они проявились в нашей стране; боятся ломки отношений экономических, полного крушения капиталистического строя. И тут можно возразить только одно: что эта социальная революция уже происходит и никто не в силах ее остановить, что единственной задачей может быть только ввести ее в рамки большей постепенности и меньших потрясений, используя русский опыт и устранив и смягчив его ошибки. Происходит, к сожалению, и большее, так как война отчасти уже «большевизировала» Европу, хотя и борющуюся, как будто, против диктатуры, но в действительности ею зараженную (пример — Франция), и эта угроза гораздо страшнее всяких коммунистических настроений, гораздо отрицательнее их по существу с демократической точки зрения. И Европе приходится бояться не столько России, сколько самой себя, своего легкого отречения от «высоких традиций». То, что в России вырождается и может быть стерто войной, то здесь лишь входит во вкус, все эти маленькие, как будто, ограничения независимости личности и свободного развития общественных сил, стеснение печати, сугубый контроль, вмешательство государственной власти в личную жизнь, поощрение ксенофобии, централизация управления, расширение кадров чиновной администрации. Это и есть скрытый образ «большевизма», как мы его знаем и имели несчастье понять и ощутить. Это могло бы оправдываться войной, — если бы что-нибудь можно было войной оправдывать, если бы это не было

величайшим лицемерием, как всякое оправдание измены принципам. Опыт прошлой войны достаточно показал, с каким трудом и какой неохотой отказываются государства, в том числе и демократии, от «временных мер» военного времени, с какой простотой они обращаются в постоянные.

У демократической Европы два врага: гитлеризм и большевизм, родные братья. Кто из них враг номер первый? Один из них посягает на переустройство всей Европы, другой пока сидел дома и отравлял жизнь своим гражданам. Они могли бы нежно обняться, но, очевидно, они не поняли и не оценили друг друга, и дружба их оказалась не долгой. Это понятно. Гитлеризм — явление национальное, коренящееся в основах германской культуры; и это доказано веками; большевизм — явление временное, глубоко чуждое культуре русской, гуманистической и пронизанной духом независимости, терпимости, жертвенности, самоотречения. Враг номер первый ясен — колебаний в выборе быть не может. Его окончательно не может быть с того момента, как Россия, подвергнувшаяся вражескому вторжению, объединилась в своем сопротивлении не идеей насилия, а идеей защиты, не именем «вождя» (мы его имени сейчас почти не слышим, хотя раньше оно мозолило терпеливые уши!), а именем родины, в чем не может быть никакого сомнения для тех, кто Россию знает и может понимать. И в прошлую войну Россия воевала не за царя и не за свой отживший и гибельный политический строй, — она это доказала, расквитавшись и с царем и с прежним режимом. Кто решится утверждать, что история не повторяется? Можно сказать одно, и сказать смело: для гибели гитлеризма необходимо поражение Германии; для гибели большевизма (как мы это слово понимаем и как его понимать нужно) достаточно того, что Россия испытала и что еще переживет, чем бы ни окончилась ее отчаянная борьба. Союз с демократиями разрушит стену, отделявшую нашу страну от культурного мира; одного

этого достаточно, чтобы очистился воздух и открылись глаза. Да они и открылись: в муках войны довершится развитие нового сознания, начало которому положено великой русской революцией, и которое затормозилось за годы ее искусственной изоляции.

\*\*  
\*

Было бы хорошо и удобно, если бы люди делились на добрых и злых, идеи — на положительные и отрицательные, правители — на ангелов и деспотов, государственные системы — на правильные и ложные. К сожалению, преобладают типы и формы смешанные, и разбираться в них не просто. Когда под кличку «большевизма», явно отрицательную и выражающую не только марксистское мировоззрение, а и практику государственного деспотизма, подводится всё, чем духовно живет новая Россия, — нам это кажется не только несправедливым и диким, но и глупым, как и выражения «большевистские войска», «большевистский фронт» и проч., часто встречающиеся в военных бюллетенях. Русский народ защищает не марксистскую идею и не собственное политическое рабство, а свою землю и свое право жить так, как он сам хочет и может жизнь свою создать, без чужой указки и помощи, унижительных для его достоинства. Это право священо, и никому не должно быть дела до того, как оно будет русским народом использовано. Если кому-нибудь это кажется опасным, если это чем-нибудь могло бы угрожать союзным демократиям, то это значило бы, что немногого эти демократии стоят. Но в набат бьют почему-то не демократии, а их противники и вассалы их противников, посылающие добровольцев для участия в «крестовом походе». Это очень характерно и очень знаменательно. Значит есть в их утверждениях внутренняя ложь, в их толкованиях искусственность. И если это так, то попутничество России, страны не демократического режима, с европейскими демократиями и Аме-

рикой, не есть только случайный союз, а мудрое предвидение будущего, которое может определиться их общей победой над той «осью», на которую, как на вертел, предполагается нанизать нас всех, как перепелок.



**НЕПОПРАВИМОЕ\***



(20. 5. 49)

Вы, вероятно, читали, что где-то какие-то дикие народы, — не помню где и какие, — умеют так искусно препарировать отрубленную человеческую голову, что она делается совсем маленькой, в кулачок, сохраняя пропорциональность черт лица, и в таком виде остается на долгое время, как трофей или как реликвия. Об этом писалось не раз, и это подтверждают путешественники по экзотическим странам.

Сжатая в кулачок голова мне представляется прекрасным образом нашей современной приспособленности, экономической и нравственной, к условиям военной жизни. Сжимаемость происходит неравно для отдельных лиц; привыкшие к лишениям ощущают ее меньше, для более избалованных она ощутимее и болезненнее. Различна и сила сопротивления в отдельных случаях. Но в масштабе большом, общественном, иногда государственном, процесс restriction приблизительно одинаков для всей Европы, и разница наблюдается только в его стадиях: ограничение в предметах питания, в жизненных удобствах, в потребностях духовных, в проявлениях индивидуальной воли.

Мы утешаемся мыслью, что это поправимо. Наступит какой-то момент, и начнется процесс обратный, то есть появятся в обилии жиры, сахар, топливо, бензин, голос человека прочистится для свободного высказывания мыслей, печать перестанет терять время на оглядывание и на подбор изысканно-осторожных выражений. И тогда — выражаясь красиво — благодетельные дожди опять наполнят пересохшее русло жизни, и стремительный и чистый поток унесет наши временные недомогания и печали. Конечно, мы недосчитаемся многих, не сумевших пережить этот тяжелый период исто-

---

\* Немецкий перевод опубликован в «Nazional Zeitung» в Базеле.

рии. Но пробел пополнится приростом новых молодых сил, может быть лучших, так как более подготовленных к житейским испытаниям.

Мысль утешительная, как всякая иллюзия, и оспаривать ее как-то жалко, словно бы даже нехорошо. Но она не только безжалостна, но и не верна.

Она безжалостна тем, что сбрасывает со счетов судьбы, с предельной грубостью, цену загубленных жизней. По какому праву ряд незавершенных, неиспользованных, неисчерпанных жизней обрекается на роль удобрения для будущих всходов? Экономически это бессмысленно и бездарно, социологически — несправедливо и безнравственно. Живой природе такого типа жертвенность чужда, она знает жертвенность, но в форме со-радости и со-страдания, а не самоубийства, в форме тончайшего переплета всепроникающих нитей сотрудничества. Современное естествознание вынуждено отказаться от идеи *bellum omnium contra omnes*, которую оно приписывало природе, и признать основным фактором именно организованное сотрудничество. Корни многих деревьев гибнут без обвивающего их грибного мицелия, как этот мицелий не может существовать без пищи, доставляемой ему корнями. Большая часть растений не может продолжать род без опыляющих цветы насекомых, как и они без пыльцы и меда цветов. Есть насекомое, самка которого, положив яички, покрывает их своим телом и погибает, давая им защиту от вредных внешних влияний. Это не самоубийство, не бессмысленная жертвенность, а завершенность жизни, акт, полный смысла. Но мой потомок не выиграет решительно ничего от того, что я страдаю и гибну в муках, завещая и ему поступить так же ради блага его потомков, — ложный, порочный круг, исключаящий всякую возможность человеческого счастья, огромная, в основе своей жестокая и бездарная социологическая идея.

Но не только безжалостна, но и не верна мысль о том, что за периодом тяжелых испытаний и отказа от

культурных завоеваний последует период благополучия, в котором утраченное наверстается с лихвой. Этого случиться не может, и препарированная дикарем человеческая голова никогда не может ни вернуть себе прежнего вида, ни прирасти к плечам. Нас часто обманывает внешность: новый дом на месте снесенного, новый парк, разбитый на месте сгоревшего леса, — и мы забываем о культурной самоценности того, что было и что исчезло. Погибшее не восстановимо. Оно не восстановимо вполне даже в области бытовой житейской обстановки. Разбитую чашку можно заменить другой, лучшей; если она от целого сервиза — заменить весь сервиз; но разбитую античную вазу заменить уже нельзя, как и всё, что отмечено печатью художественного творчества или с чем соединены переживания порядка духовного. Во время войны я потерял свою библиотеку редких старых книг, собранную любовно за многие годы. Предположим, что некий благодетельный гений подберет и восстановит мне, по сохранившемуся каталогу, все книги в тех же их изданиях, — но это будут не те книги, не та библиотека, в которой каждый экземпляр был мне ценен индивидуально, мною особо изучен, исследован, перелистан, в его переплете, с его экслибрисами, с чернильными пометками, даже с недостающими страницами, и мною поставлен на книжную полку с тем чувством книголюба, которое профану не понятно. Разве возможно заменить своего умершего ребенка приемышем? И то же в области чисто-духовной, в области, где мы живем в строе определенных идей, правильных или ложных, но для нас жизненно-ценных, годами выработанных. Если этот строй идей насильственно разбит или поколеблен — он возродиться не может. Вера может быть только цельной; вера с трещиной, с сомнениями, с оговоркой, с исключением — не есть вера, а есть только опыт самоутешения, одежда с заплатой, натягивание на себя слишком короткого одеяла, попытка спрятаться от ливня под дамским летним зонтиком. Если, например, такие понятия или ощу-

щения, как любовь, свобода, человечность, раз подвергнуть ограничительным толкованиям, только один раз согласиться или быть вынужденным посадить их на цепь или в клетку, — уже не будет ни любви, ни свободы, ни человечности, останутся только трупы повядших, некогда благоуханных цветов; их ничем не оживить. Те духовные ограничения, которым мы сейчас подвергаемся, наносят нашим верованиям удар непоправимый. Возражать напрасно: перед нами свидетельство истории, и люди старших поколений знают, что нами утрачено в смысле культуры духовной хотя бы только с дней прошлой мировой войны, также богатой всяческими *restrictions*. Внешне за нею последовал расцвет цивилизации, внутренне — упадок культуры. Теперь мы подошли к новой роковой черте — и страшно заглянуть в разверстую перед нами пропасть.

И трагедия в том, что ничья победа, ничье поражение не может отвести нас от края пропасти, который осыпается. Дело не в исходе борьбы, а в необратности погибающего и погибшего. Можно, конечно, им не дорожить. Можно, например, зачеркнуть страницы истории религий, достижения философии, всё то, что люди искали и думали, что найдут. Зачеркнуть работу веков — и начать строить по планам и сметам проблематического «завтра». Так, повидимому, и происходит. Может быть, так и должно происходить. Вопрос не в целесообразности, а в факте необратимости ценностей прошлого, с утратой которых не всякий ум и не всякое сознание способно примириться, — как не миримся мы с потерей родного и дорогого человека. И не всякому доступно утешение, что вот придет «новый человек» и, прежде чем начать работу Данаид, будет, как слепой щенок, тыкаться мордой в блюдечко с молоком. Мы можем пожелать ему успеха, но, уходя в царство теней, неизбежно согнем плечи под тяжестью обломков прежних верований, расстаться с которыми для нас немыслимо.

**ВЛАСТЬ ПРОШЛОГО\***





(29. 6. 42)

В своем стремлении непременно «побеждать» природу, как будто природа наш враг, как будто мы не часть природы, — человек гордится постепенным уничтожением расстояний. Путешествие, на которое наши деды были вынуждены тратить месяцы, которое казалось целым подвигом, было сопряжено с опасностями, требовало долгой подготовки и большой решимости, теперь оказывается пустяком, перелетом стальной ласточки, делом нескольких часов с затратой такого-то количества бензина. Теоретически ничто нам не мешает, вместо этой письменной беседы, условиться о встрече и обмене мыслями — по взаимному соглашению, либо на такой то улице Нью-Йорка, либо же в мирном городке Франции, где пишутся эти строки и где я не могу предложить вам ни особых удобств, ни разносолов, но всё же угостил бы продуктами своего огорода, добрым козьим сыром и хорошим вином.

Теоретически это так. Но, успешно побеждая природу, человек никак не может совладать со своей внутренней природой, с привычкой усложнять до крайности простейшее и чинить препятствия всякому проявлению свободной частной воли. Приподнявшись на цыпочки посреди нашей единственной площади, пересекаемой прямой улицей, я вижу в перспективе улицы и такой же прямой аллеи крайние дома соседнего городка, на расстоянии двух километров; этот городок находится в оккупированной зоне, и я знаю, что для проезда туда нужны месяцы, может быть года, и что попасть в Нью-Йорк гораздо легче и проще. Во всяком случае муравей доползет туда гораздо скорее, чем иная разумная чело-

---

\* Немецкий перевод первой редакции этой статьи был опубликован 29. 4. 1942 г. в «Nazional Zeitung» в Базеле.

веческая личность, и хвастаться победой над расстояниями нам не пристало.

С годами (действительно, мы уже ведем счет на года!) выработалась привычка к странным невидимым преградам, которыми сейчас исполосована Европа; пути более или менее свободны только выше линии облаков, но этими путями пользуются не для дружеских визитов. Привычка к перерыву общения с родными и самыми близкими людьми, к неведению того, кто из этих близких жив, что он думает, к чему готовится, чем надеется оправдать свою жизнь. Как никогда раньше, мир стал полон туманных далей и знаков вопроса. Воображение, верное прошлому, рисует иногда какую-нибудь улицу очень знакомого города, на ней такой же знакомый подъезд знакомого дома; но очень возможно, что нет больше ни этой улицы, ни дома, ни подъезда, ни вообще прошлого, оттиснутого в вашем сердце золотыми литерами любви. Возможно, что нет и тех людей, которым вы мысленно посылаете привет. Нам, русским, это особенно хорошо и особенно давно известно; мы и до войны часто не знали — и не могли узнать — с живыми, или только с тенями беседует наша душа, и если с живыми, то остался ли им понятен наш язык, когда-то с ними общий, или, при счастливой встрече, мы в знакомом голосе не уловили бы знакомых слов. Война создала то же положение для миллионов обитателей западной Европы; это, если хотите, дает нам некоторое национальное удовлетворение, от которого, впрочем, мы охотно отказались бы, вопреки пословице: «разделенное горе — полгоря».

Не знаю, чем, кроме подобного рода общих рассуждений, мог бы занять ваше внимание. Всё, более конкретное, потребовало бы условной окраски, на которую не считаю себя способным. Стал обязательным язык недоговорок и иносказаний, молчанье стало высшей добродетелью, поют соловьями только хищные птицы. Будущее включено в ряд обязательных программ, настоящее не подлежит оглашению — нам остается прош-

лое, о котором еще не всё сказано. Делать нечего — поговорим о власти прошлого.

\*\*  
\*

Не думаю, чтобы в Европе нашлось много людей, вполне удовлетворенных настоящим и не мечтающих о счастливых переменах, то есть об окончании войны и возврате к тому быту, который называется нормальным. Хотя каждый человек совершенно свободен в своих мечтаниях и мог бы уноситься мыслью в область самых чудесных фантазий, но любопытно, что огромное большинство мечтает не о новом и необычном, а именно о возврате к старому и привычному, в чем оно видит естественное спасение. Художественная литература чрезвычайно скудна утопическими романами, и эти романы поражают скудостью предвидения и изобретательности; они стареют в одно-два десятилетия, и их «необузданная фантазия» спешно делается банальностью. Попробуйте на досуге, если у вас есть досуг, представить себе картину земного рая по вашему вкусу; вы убедитесь, что этот рай составитя из уже известных по вашему или чужому опыту бытовых условий и жизненных моментов, из лучшего, что вы сами испытали или подметили в завидной жизни других. И чем труднее нам жить в данный момент, чем больше приходится испытывать всяких жизненных ограничений, — тем более скромным и скудным делается полет нашей фантазии. Рай современного среднего европейца — свобода передвижения, обилие и разнообразие пищи, личная безопасность, возможность постоянного обеспечивающего заработка, теплая квартира зимой, небольшой отдых в природе летом, и — для самых безудержных мечтателей — некоторое участие в строении общей жизни, хотя бы право на подачу робкого голоса. В иных странах и иных условиях, представление о рае понижается до крайних пределов; так, например, жителю Мальты рай должен представляться таким пунктом

земной поверхности, в котором человек может в любое время спокойно жить на этой поверхности, не прячась под землю от огненного дождя. Картина рая пишется не красками будущего, а преимущественно памятью об утраченном прошлом. Тот, кто никогда не ел куриной котлеты, не включит ее в меню будущего блаженства; тот, кто никогда не жил в условиях гражданской свободы, легко обходится без нее в мечтах о «светлом будущем».

Если это так, то мы должны внести серьезную поправку в определение прогресса, соответственно европейской общественной психологии. Идеал прогресса есть сохранение терпимого в настоящем, возврат к лучшему в прошлом. Огромный процент людей желал бы вернуться к дням, предшествовавшим этой войне; еще больший, может быть, почел бы за истинное счастье и прогресс возврат к эпохе до войны 1914-18 гг. Речь здесь идет, разумеется, не о политических деятелях и дельцах, производящих опыты над живым матерьялом, из которого слагаются понятия «общества» и народа, а о крупинках этого самого материала; и не о мыслящих отвлеченно, а о переживающих реально.

Отсюда и примитивность нашего представления о будущем, соответствующая примитивности идеала прогресса. Мы мыслим простейшими аналогиями прошлого. В июне 1940 года Франция ждала непременно повторения событий предыдущей мировой войны, то есть ждала, что германская армия будет остановлена перед Парижем, потому что именно так было раньше. Каждый этап войны сопоставлялся с якобы соответствующим этапом предыдущей, и мало кому приходило в голову, что в условиях развития этих двух войн не было почти ничего общего. Прошлым летом Россия мысленно допускала возможность сдачи Москвы, но лишь в уверенности, что зимой с германской армией произойдет то же, что случилось в 1812 году с наше-ствием «двунадесяти языков». Падение же Ленинграда она не допускала и не допускает, потому что «Петер-

бург никогда и никем не был взят». Большинство англичан верит в конечную победу своей страны, так как «Англия в прошлом проигрывала все сражения, кроме последнего». Для очень многих последним сроком войны представляется 1943 год, так как предыдущая война тянулась четыре года. Окончание войны рисуется огромному большинству в форме военной победы одной из сторон, перемирия и международной конференции мира, — хотя для подобного представления нет достаточных оснований, и война может завершиться полным истреблением населения Европы, всемирной революцией, обратиться в перманентную (были же войны «тридцатилетняя» и «столетняя») и проч. Сверх того, борьба идет вообще не за победу, а за наименьшее поражение, за меньшие убытки. Сейчас обе борющиеся стороны составляют и публикуют программы будущего строя Европы и всего мира, но не нужно быть ни предубежденным, ни просто скептиком, чтобы видеть, что в этих проектах, цель которых — пропаганда, нет ни единой черты новизны, что они представляют из себя лишь удачные или неудачные по замыслу комбинации уже существовавших политических и экономических отношений, с добавкой элемента платонических желаний, также тесно связанных с возвратом к прошлому.

Столь огромна в наших представлениях власть прошлого. И это совершенно естественно, потому что лишь прошлое реально; настоящее — переходный миг, будущего еще не существовало. Едущему на пароходе у берега кажется, что берег движется, а пароход стоит на месте. Той же иллюзии подвержено наше представление о потоке человеческой жизни, будто бы стремящейся вперед. В действительности поток жизни летит в прошлое, где волна подталкивает волну, создавая историю. Прошлое рождается из небытия, которое мы условно и неправильно называем будущим. В действительности «будущее» есть ничто, которое, прорезав наше «сегодня», станет реальным «вчера». Стоя спиной к этому «ничто», мы не можем ни видеть его, ни дик-

товать ему, ни угадывать в нем. И мы не можем его любить и ради него приносить жертвы. Весь ужас человеческой ошибки в том, что живущие поколения приносятся в жертву во имя призрачного счастья столь же призрачно грядущих поколений, реальное губится ради несуществующего и не могущего существовать прежде, чем оно станет прошлым и, следовательно, тоже приносимым в жертву. В этом роковом заблуждении источник войн и революций. Самопожертвование может быть нравственно прекрасным актом, и для этого целесообразия не требуется: бессмысленность и бесцельность неизбежно лишают его всякого практического значения. Если мы в силах, дав волю самой необузданной фантазии, нарисовать хотя бы бледными красками картину завтрашнего рая, не составив ее из кусочков прошлого, единственно нам известного, — то как можем мы приносить миллионы людей в жертву этой искусственной мозаике, этой нереальности, которая станет реальной только тогда, когда вся целиком унесется в прошлое и потеряет всякое значение?

Ум не всегда это улавливает; но простое человеческое чувство, назовем его обывательским, со всей силой ощущает безумие и бессмысленность авантюры: оно видит спасение не в туманных картинах «нового порядка», а лишь в возврате к покою вчерашнего мирного дня.

Кто смеет сказать, что оно не право?

**П Е Р Е Д   З А К А Т О М**





(Июль 42)

Закату солнца, вечерней заре, уходящим летним дням и прелести осеннего умирания природы посвящено так много и так талантливо подобранных слов, так искусно найденных красок, — что нет надобности в новых выражениях напоминать о силе впечатлений ухода из жизни прекрасного; притом эти строки пишутся в разгаре июля, когда об «уходе» думать рано. Но уже давно и необычайно остро мы переживаем впечатления иной осени и иных закатов, которых не может обойти вниманием ни мистик, ни реалист, ни поэт, ни расчетливый практик.

Хочется сказать: торопитесь любоваться красивыми сказками и картинами нашей внутренней жизни, уходом того, что мы щедро награждали эпитетами духовного аскетизма, подвижничества, чести, жертвенности, что олицетворяли в союзе трех граций — веры, надежды, любви. В многообразных актах жизнотворчества это выражается определенным, хоть и не всегда отчетливым строем идей — нравственных, общественных, политических, в силе и уверенности убеждений, в пылкости надежд, в радости достижений. При всем различии подходов, оценок, внешних выражений, — как разнствуют люди, расы, страны, — всё же было всегда нечто единое, общечеловеческое, которое и полагалось в основу прогресса. Это единое носило имя «человечности», так как в своей наивной, но простибельной горделивости, мы считаем двуногое нашей породы за высшее и наиболее совершенное творение природы. Может быть, мы ошибаемся, но не в наших силах переместить центр мира из «мы» в каких-нибудь других «они»; и потому человечность, развитие лучших наших качеств, мы не могли не считать за зенит добра и условие земного счастья.

Мы так считали. И вот сейчас, в связи с закатом строя идей, основанных на этом принципе, наступила пора спешно любоваться его последними световыми и тепловыми излучениями. «Солнце, остановись!» — Солнце, конечно, не остановится, но уходя, подарит игрой самых волшебных красок. Во всяком случае можно еще говорить таким, несколько повышенным стилем, не опасаясь всеобщего полного непонимания. Может, конечно, пролиться на голову ушат холодной воды, можно натолкнуться на насмешку недавних друзей и единомышленников, можно в рядах своих недосчитаться очень многих, но какой-то отклик несомненно будет, дружеский отклик мечтателя в старомодном наряде, тоже вышедшего полюбоваться на закат. Но, говорю я, нужно торопиться, потому что придет и уже грядет управа и на самую невинную перекличку чудачков. И это — не самое страшное, это предусмотрено опозитизированной нами жертвенностью; страшнее естественный, произвольный закат идей, которыми жило столько поколений, считая их если не вечными, то безошибочно направленными, укорененными мыслительной работой прошлого, способными для дальнейшего развития. Страшно в самих себе сознание роковой ошибки, источник которой — слепая вера в конечную победу добра, или, вернее, того, что мы считали добром. Уверяют, что Сократ, твердый в этой вере, умер с улыбкой на устах; но ведь мы знаем, как пишутся красивые рассказы и как говорят предсмертные речи, и трудно нам верить в улыбку отравленного чашей цикуты. Не была ли его улыбка только гримасой страданий? И упрямство веры — есть ли свидетельство истины? Где-то есть предел, за которым может наступить момент полного отказа от всех достижений самых блестящих веков философии. Вместо прямой, как стрела, дороги, ведущей человечество к храму добра и счастья, не окажется ли высшей истиной порочный круг, который захлестнет ему горло мертвой петлей? Пока страшный призрак еще не стал очевидной реаль-

ностью — торопитесь любоваться прощальными красками заката прежних верований.

---

Уместно ли петь отходную тому строю идей, на защиту которого встало полмира? Разве не идет жестокая борьба двух идеологий, и разве исход ее можно безошибочно предсказать?

«Борьбу двух идеологий», олицетворяемую войной, создало наше честное и взволнованное представление, чтобы найти не только объяснение, но и оправдание тому бесчеловечному, что происходит в мире. Мы схематически делим человечество на две части, на злую и добрую, и каждой приписываем сознательное участие в борьбе, т. е. защиту или ниспровержение наших собственных социальных и политических позиций. Это даже географически неверно, и нет никакой точной линии фронтов. Психологически двухмиллиардное население земли в своей огромной, подавляющей массе не только нейтрально и равнодушно к борьбе намеченных нами «идеологий», но и не ставит о них никакого вопроса. Не ставят его не только те, кто непосредственно в борьбу не втянуты и от нее не страдают, но и значительный процент самих борющихся, вынужденных бороться. Германскому крестьянину нет никакого дела до «жизненного пространства», как русскому до «мировой революции», как миллионам европейцев до «демократии», или «государственной тоталитарности». Борются не правда с кривдой, а путаные воли, искусственно созданные понятия, и борются одинаковыми средствами и до мелочей сходными орудиями. Именно эта каша идей, их условность, их подделка, их театральная демонизация или их кричащая святость, и сокрушают дружно и необоримо цельность и стройность наших собственных, личных, любовно и заботливо созданных убеждений, под углом которых мы рассматриваем события. Если в основу прогресса мы ставили принципы человечности, свободы, справедливости,

то они низвергнуты по обе стороны линии происходящей борьбы, и ничья победа веры в них восстановить не может. Объективно это бесспорно и неопровержимо; субъективно мы отдаем сочувствие той стороне, которой условно доверили наше знамя, поскольку мы сами не воины, а лишь исповедники идей. Иначе мы поступить не могли, потому что мы люди, обыватели земли, а не святые мудрецы. И вот, мы прощаем и оправдываем ужасы и кровь одной стороне, которую считаем нашей, вменяя то же в вину и преступление другой. И это, конечно, уже отказ от собственных священных принципов и не может быть примирено с чистым и ясным сознанием.

У нас есть оправдание: человеческое несовершенство. «Люди проходят, идеи остаются». Но куда уйти от сомнения в том, что есть смысл в утверждениях, пригодных лишь в теории и на каждом шагу сокрушаемых практикой жизненных отношений? Какая нужна сила веры, чтобы в драгоценном камне, оказавшемся стекляшкой, снова увидеть алмаз! И какая, следует прибавить, терпимость и снисходительность к самому себе, — при строгости к другим.

Потому я и говорю, что — раз уж мы живем иллюзиями — нужно торопливо любоваться световой игрой заката. Любоваться своим и чужим патриотизмом, подвигами и самоотвержениями, способностью бросаться в борьбу не рассуждая и не философствуя напрасно, прекрасными примерами взаимопомощи, согревающими нам жестокие зимы и умеряющими лишения. Нет вечных истин, и нет незыблемых нравственных законов. Идеалы меняются, как меняется мода. Это не значит, что к ним не может быть возврата, — его история не отрицает. Кроме того остаются чудаки, не желающие откликаться на новую моду, староверы, не согласные на уступки. На старую бронзу ложится патина времени, и в любовании прошлым также можно находить утешение.

---

Пессимистические речи. Но что такое, в сущности, пессимизм?

Перед нами две чаши весов, над которыми склонилась судьба и бросает, как хочет, свинцовые шарики то на одну, то на другую чашу. Мы следим с жадным вниманием, связывая с колебаниями чаш все наши упования и в личной жизни, и в жизни наших дней. Но выражения наших лиц не одинаковы. Одни лица освещены надеждой, другие всегда омрачены предчувствием плохого. Одни принимают печальное, как временное, другие не доверяют прочности удач, и на чистом, казалось бы, небе ищут подозрительного облака. Мы называем первых оптимистами, вторых пессимистами.

Возьмем эти понятия не философски, а житейски, не тревожа великих теней Лейбница и Шопенгауера. И оптимист и пессимист одинаково жаждут лучшего; вся разница в степени их уверенностей и сомнений. Мы не любим пессимистов и приветствуем оптимизм; он облегчает нам жизнь. «Всё к лучшему в этом лучшем из миров», — говорит Панглосс в «Кандиде». «Всё минется — одна правда останется», — говорит старая русская пословица. И если даже Кассандра никогда не ошибалась в своих мрачных предсказаниях, — ей никто не хотел верить. Оптимизм, разгоняя тучи дамским веером, позволяет выхватывать минуты и часы благополучия из дней и месяцев несчастья. В обвалах и крушениях он утверждает, что жизнь продолжается. Пессимизм портит нам отлично приготовленный обед и кислит самое отборное вино.

Оптимизм не нуждается в защите; он удовлетворен самим собой. Нуждается в ней пессимизм, несправедливо обижаемый. Оптимизм слеп, пессимизм зряч. Вся человеческая цивилизация создана постоянными опасениями несчастья и гибели. Предвиденье холода привело к домостроительству, голода — к сельскому хозяйству. Боязнь нападения зверей и людей выстроила первые города. Опасение бессилия личным трудом удовлетворить все потребности привело к мысли о

торговом обмене и фабричной промышленности. Неверие в добрые намерения ближних заставило людей выковывать оружие, придумывать нормы права и создать государства, в основе организации которых лежит принцип взаимного недоверия. И в жизни практической, личной, общественной, государственной, побеждает предвидевший худшее, верх берет пессимист. Разве это не доказывается текущей историей?

Пессимизм может быть пассивен — это плохо; но вообще бездействие ближе всего свойственно оптимизму, «попрыгунье стрекозе» из крыловской басни. И нет величайшего пессимиста, чем трудолюбивый муравей, кстати сказать — отвратительное насекомое, строящее прообраз жизни будущего человеческого коллектива.

Насекомое отвратительное. Но здесь мы уже переходим к личным оценкам представителей житейских настроений. Конечно, улыбка на лице приятнее нахмуренных бровей, доверчивость прельстительнее взгляда исподлобья. Но тогда не защищайте слишком цивилизацию и помните, что между толстовским непротивлением и буддийской нирваной есть и еще немало уютных убежищ, куда может спрятаться от мировой непогоды промокший до костей, но сохранивший веселую бодрость современный человек.

**РАДИО - УДУШЬЕ**





(28. 8. 42)

Существуют нейтральные страны — но существуют ли нейтральные гражданские единицы? Предположим, однако, что нашелся человек, широко и вполне восприимчивый принцип стойков *nihil admirari* и способный смотреть на происходящее с тем бесстрашием, с каким натуралист наблюдает войну муравьев или взаимное пожирание малых организмов под микроскопом. Его заключения не могут не представлять большого интереса.

Прежде всего, повидимому, он нам скажет, что не происходит ничего нового и особенного, и что нет оснований употреблять выражения «впервые в истории», «небывалое в мире» и проч. Естественно, что в мире до сих пор не было того, что есть сейчас, то есть ни меня, ни вас, ни этой букашки, ни этой пушки, ни этого события, ни даже этой минуты. Настоящего не было в прошлом, как не будет в будущем. Мало того, в мире всё настолько индивидуально, что на поле, засеянном пшеницей, нет и не может быть двух совершенно одинаковых колосьев, как нет на нашей голове двух одинаковых волос. Но речь идет об ином: об относительном подобии; и в том малом отрезке времени, который мы называем историческим, подобие настоящего происходило не раз в относительно тех же размерах пространства, времени, волевого напряжения, человеческой жестокости и человеческих страданий. Достаточно вырвать из истории несколько событий или назвать несколько имен, географических и личных. Троянская война, битва при Фермопилах, великое переселение народов, нашествие гуннов, Атилла, Тамерлан, Наполеон, крестовые походы, Цезарь, Париж в эпоху паризиев, он же в 1870 и 1914 гг., Александр Македонский в

Египте, Крымская война, осада Севастополя, разделы Польши, римляне, сассаниды, калифы, крестоносцы, турки, французы в Сирии, франки, норманны в Галлии, татарская золотая Орда в русских княжествах, — можно без всякого стеснения и без всякой системы скакать по страницам истории и на каждом клочке земли, в любую эпоху, спотыкаться о трупы и перемазываться липкой человеческой кровью. Нас обманывает внешность, техника войны, роды оружия, комбинации союза племен и государств. Но и комбинации почти все исчерпаны, как в партии бриджа, где уже все партнеры играли друг с другом и друг против друга, нового нельзя придумать. Что до родов оружия, то еще в гомеровой Илиаде над полем битвы летали крылатые боги, к воротам Трои был подведен деревянный конь — прототип танка, катапульты выбрасывали убийственные снаряды, в морских боях греками применялись огнеметы, стрелы поражали относительно не хуже пулеметов и винтовок.

Человек по природе жесток, но его изобретательность не велика, и в известном нам отрезке истории homo sapiens'а техника убийств далеко не ушла. Все ее достижения сводятся, собственно, лишь к последовательному увеличению расстояния между убивающим и убиваемым: раньше бились преимущественно грудь к груди, теперь убийца обычно не видит своей жертвы, воин своего противника. Кроме того, раньше сражались в двух измерениях, на плоскости, теперь в трех: прибавилась высота и глубина, самолет и подводная лодка.

В частности, до удивительности ничего не достигнуто за четверть века, протекшие между двумя войнами: «великой», 1914-18 гг. и нынешней, которая вряд ли будет названа «величайшей», из опасения не оставить превосходной степени для войн будущих. Ряд техни-

ческих усовершенствований и ни единого нового изобретения (не осуществились ожидавшиеся «взрывы на расстоянии»). Мало того, перестал применяться один из сильнейших способов уничтожения неприятеля: удушливые газы.

И вот здесь предполагаемый нами «нейтральный наблюдатель» вынужден поставить вопрос: подлинно ли удушливые газы перестали применяться? Не произошло ли и в этой области усовершенствования, настолько значительного, что мы его не замечаем?

В промежутке между двумя мировыми войнами было изобретено радио — не для военных целей — но роль его в войне оказалась настолько огромной, что сейчас трудно сказать, что имеет больше значения, сила ли оружия или сила пропаганды. Внешне связь радио с удушливыми газами как-будто незаметна; в действительности вся отравляющая гибельная сила последних перенесена в эфир. Разница в том, что раньше газовая атака поражала лишь определенный, незначительный участок поля военных действий, сейчас же район ее действия — весь мир.

Мы все живем в обстановке радио-удушья. Лишь в незначительной степени «говорящая машина» служит информации, которая противоречива и неполна и цель которой — по возможности не выяснить, а исказить картину и смысл происшедшего на разных фронтах войны. Основная задача радио — искусственно создать мнения и душевные состояния, благоприятные данной борющейся стороне, и создать не на фронтах или не только на фронтах, а и в тылу воюющих и нейтральных стран, то есть воздействие моральное, для которого все меры считаются дозволенными и не существует никаких «законов войны». Удушливые газы поражали тело, радио отравляет души, опутывая их ложью, за-

пугивая, парализуя способность критически мыслить. Слушающий радио подобен человеку среди океана на маленьком острове, атакуемом короткими, средними и длинными волнами, грозящими смыть его с лица земли. Но хуже всего действие этих волн на человеческую совесть — действие отравляющее непоправимо. Мы не только отучаемся чему-нибудь верить, но и утрачиваем всякое мерило человеческого достоинства. Мы вечно присутствуем при уличной склоке двух соседей, осыпающих одна другую площадной бранью с выворачиванием всех интимностей их быта, с оплевыванием всего, что мы считали в личной жизни священным и не подлежащим суду улицы. Это уже не борьба идеологий, — это потасовка королей из детской сказки, оказавшихся голыми. При этом радио оскорбляет и слушателя, пытаясь заткнуть ему уши специальными приспособлениями, когда берет перевес голос противника. В связи с прочими приемами лишения «права суждения и критики», это создает удушливую атмосферу всеобщего гражданского недоверия и отвращения к именам и нравственным авторитетам. Попытка «революционизировать» души в свою пользу приводит к их развращению. Отравы стократ более страшная, чем та, которая действовала только на кожу и дыхательные пути. Независимо от военной победы той или другой стороны, она неизбежно приведет к поражению обеих, к моральному разложению гражданственности многих стран на многие годы.

Так, положа руку на сердце, скажет нам нейтральный «сторонний наблюдатель». Но так как нейтральных единиц нет, или уж слишком они редки, слишком «не от мира сего», то в удушливой неразберихе эфира рождаются новые, внутренние группировки страстей, больных и нечистых, и в день последнего выстрела на далеких фронтах созреют все условия для тыловых

гражданских столкновений. Так, выходя из цирка, где обменивались пощечинами и тумаками клоуны-эксцентрики, зрители-мальчики вступают на улице в бой, подражая актерам цирковой пьесы. Так в толпе, расходящейся после уличной драки двух базарных торговок, возникает перебранка случайных зрителей. Так мирный семьянин, побыв долго в раздражающей и пошлой обстановке, внезапно устраивает дома сцену жене и кричит на детей. Только попробуйте их настроения увеличить в тысячу и миллион раз.

В таких настроениях я подхожу к «волшебному ящику» и повертываю надлежащую кнопку. И вдруг в комнату врывается ничего не желающий признавать, ничем не смущенный, пребывающий вне истории и ее событий певец, истовым голосом уверяющий меня в своих любовных страданиях. Сначала это кажется неуместным и отвратительным, как участие клоуна в похоронной процессии, как издевательство над моей собственной любовью к страдающему человеку. Но затем я догадываюсь, что это — опыт рассеяния удушливых газов, пример доказательства того, что жизнь должна и может продолжаться, по крайней мере есть смысл об этом позаботиться. Где-то в волнах эфира неведомый певец попрежнему открывает пасть и ошарашивает слушателей своим любовным экстазом, где-то на земле люди слушают симфонический оркестр, и я вспоминаю, что сегодня читал в газете статью о новых интереснейших открытиях в области египтологии — о фигурках, бывших доселе загадочными, а теперь пристроенных наукой на свои места.

И, чтобы не быть, или хотя бы не казаться пессимистом, я прощаю певцу его бестактный поступок. Мало того, дыхание становится более легким от вторжения пошлости быта в трагизм нашего бытия. Толпа, только что отмечавшая рычанием каждый ловкий удар

двоих эстрадных боксеров, успокоилась на плоских шутках клоуна с обмазанным мукой лицом.

В сущности, отсюда уже недалеко до дальнейшего психологического этапа: до сознания «так было — так будет» и до холодного созерцания человеческой комедии, трагические черты которой внезапно слиняли. Иными словами — противогазовая маска. Говорят, что к ней можно привыкнуть.

Если же и это — самообман, то, во всяком случае, последний...

**ОБ ОЖЕСТОЧЕННОМ СЕРДЦЕ**





(12. 9. 42)

Вы, конечно, не ждете от меня ни новостей, ни вообще «сообщений». Уже давно не только сенсации, но и чисто разъяснительные оповещения со страниц толковых и обстоятельных писем переселились в эфир, где их отряды сталкиваются в бою противоречий и всеобщей неразберихи, где фотография действительности должна угадываться преимущественно по негативам и следам более или менее искусной ретуши. Я иногда с улыбкой вспоминаю военную корреспондентскую работу на прежних войнах (их не мало на памяти), когда наши сенсации мы отправляли с фронтов до ближайшей почты на волах, а затем толстые конверты долго сотрясались в неспешных вагонах, неделями, порой и месяцами, и всё же приходили, сохранив аромат свежести, не опереженные столь же медлительным телеграфом. Так было — тридцать лет тому назад — на войне балканской, под Адрианополем, в районе Чаталджи, позже — на русском западном фронте, или в Киренаике, военные операции в которой Габриэле д'Аннунцио воспевал в ужасных стихах, рифмуя подбор экзотических названий. Мы гарцовали верхом со всей штатской неуклюжестью, очинивали карандаш, сидя в траншеях под «ураганным огнем», который сейчас показался бы мелким осенним дождиком, спали в землянках под блиндажами едва толще картона, побивали рекорды непосредственной осведомленности, наблюдая с холмика в бинокль, как сталкиваются линии неприятелей, осыпают друг друга ручными гранатами, переходят в штыковой бой, расплываясь и тая в сгущавшихся сумерках. В этом, если хотите, была своеобразная жестокая поэзия, еще близкая к боевой медлительности Илиады, где герои и бойцы, прежде чем убить друг друга, успевали обменяться гекзаметрическими монологами. И даже в дни прошлой мировой войны внезапно появившиеся в

небе стальные птицы всё же казались красивыми, но бессильными хищниками. Всё это — древняя история.

С тех пор, как информация стала лишь скромным деловым попугайным занятием, она писательского пера вдохновлять не может, и мы оставляем ее чиновным профессионалам, любуясь попытками их изворотливости, но им не завидуя. Нашей областью делается быт — для книги, философия — для статьи. Скажем скромнее — философствование. Есть всё же немало нейтральных тем, занятных для всякого времени, но теперь особенно живых и — как будто срочных. И я не удивился, встретив в одной швейцарской газете рассуждение о том, «станут ли лучше человеческие сердца после войны». Автор этого маленького отступления от непосредственных злоб дня не проявляет особого оптимизма. Ссылаясь на пословицу «прошла опасность — прощай святой!», он склонен думать, что люди быстро забудут жестокий урок истории, разве что расчетливый альтруизм, по существу не глубокий, вынудит их быть терпимее и не спешить ввязываться в новую драку. Но он думает также, что мы на заре новой религии — религии труда. Разрушив и уничтожив столь много внешних благ, мы обрекли несколько поколений на непрерывную работу по восстановлению этих благ, на подлинные каторжные работы. Последнее верно, но сомнительно, чтобы вынужденный труд мог стать источником религии.

Труд, трудовая организация общества, хартии труда, — всё это давно знакомые, но в данное время очень модные слова. Любопытно, что в новый строй идей (новый ли?) они вводятся в их старом качестве, без глубокого и смелого внутреннего пересмотра. В самых крайних и самых противоположных политических идеологиях труд объявляется священным и дает ряд исключительных гражданских прав, по крайней мере их обещает. Возвеличение трудового принципа почти равносильно возвеличению принципа свободы (в самых многообразных ее пониманиях). При этом упускается

из виду, что необходимость труда порождена несовершенствами жизни, отрицательными условиями природы, что труд, по библейской легенде, внутренняя правда которой неопровержима, есть проклятие изгнанных из рая: «в поте лица твоего будешь есть ты свой хлеб». Недаром слово «трудиться» в русском областном крестьянском языке означает также «умирать». Родственный корень со словом «страдание», и в слове «страда» (эпоха усиленных сельских работ) оба смысла примечательно совпадают. Обожествление понятия «труд» психологически чрезвычайно знаменательно и имеет тот же источник, как и обожествление креста, орудия пытки и казни; в этом сказывается мистический страх и раболепность человеческого духа: проклятие понимается как рок, рок делается священным фетишем. В сущности обещание «новой религии труда» открывает нам перспективы муравьиного существования, механизации движений, перерождения органов и полной атрофии индивидуальности, которая будет целиком поглощена безжизненным понятием коллектива, безжизненным потому, что коллектив — отвлеченное понятие, нами создаваемое, жертвами которого должны стать живые организмы. Может ли быть отказ от всего во имя «ничто» — основой религиозной жизни? Можно бы еще прибавить, что понятие труда не совпадает с понятием творчества, всегда свободного, что «всеобщий труд», наблюдаемый в природе других живых существ, никогда не имеет характера принудительности, и что обожествление труда, то есть возведение его в священный принцип, есть дело теоретиков труда, а не самих трудящихся, законно считающих вынужденный труд — проклятием и жизненным несчастьем. Таков он, конечно, и есть.

Эти оговорки могут быть не безусловными, могут быть спорными, но при опытах выработки «новой религии» их нельзя упускать из соображений.

Но вернемся всё же к вопросу, станут ли лучшими человеческие сердца после этой войны. Предполагается,

стало быть, что сейчас эти сердца исключительно плохи, ожесточенны, пылают ненавистью и жаждой крови. В этом есть доля правды, но только доля. Пробуждая в человеке естественные, животные чувства, родовые и видовые (иначе — расовые, национальные), война заглушает голоса искусственно создаваемых нами гуманистических утверждений. Вчера — человеколюбец и космополит, звено мирового братства, сегодня я превращаюсь в только русского, только немца, француза или даже швейцарца, то есть патриота определенной площади земли, независимо от национальной или языковой принадлежности. Но уже этого последнего примера достаточно, чтобы увериться, что существо взаимного отталкивания не в национальных различиях: по обе стороны фронтов мы найдем сейчас и русских, и немцев, и французов, и итальянцев, и величайшее, быть может, ожесточение проявляет кровавая и самая длительная борьба двух народностей единой желтой расы. Если не война наций, то, может быть, война идей? Но идеи не нуждаются в территориальных захватах, да и что, говоря по совести, общего между идеями, определяющими внутреннюю государственную жизнь таких союзников, как Россия и Англия? Борьба только за территории и рынки? Но нет, мы положительно не в праве так упрощать и принижать смысл происходящего мирового столкновения; он гораздо сложнее и гораздо глубже, и всякий это чувствует. Основная ошибка историков, экономистов, политиков в том, что они имеют дело с общими цифрами и отвлеченными понятиями (как «народ», «государство», «человечество»), а не с живым материалом — вот этот, вот тот человек, его чувства, его интересы; отсюда механизация и ложь многих социологических построений. Немыслимо, чтобы вот этот самоотверженный юноша-патриот, этот защитник страны, этот летчик, — руководился в своих порывах мыслью о господстве промышленности его страны на мировых рынках; ни он, ни другой рядом с ним, ни сотня, ни тысяча, ни

миллион живых, а не статистических единиц. И нам приходится отказаться от попытки монистических толкований и допустить к участию мотив чисто психологический, — почему не назвать его ожесточением сердец? Какая-то упорная злоба, какая-то личная обида вызывает действие, встречаемое противодействием, и искра разгорается в пожар, сначала местный, затем мировой. Само по себе такое толкование мизерно; в клубке других многих причин оно способно нас приблизить к истине.

Наступит момент, когда ожесточение сердец должно перегореть. В прошлую мировую войну оно сменилось нерассчетливым прекраснодушием и... по истине изумительной нелепостью версальского договора. Мы не можем сейчас строить предположений ни об исходе, ни о внешних последствиях войны происходящей. Но, по прошлому примеру, можем ждать не «улучшения человеческих сердец», а лишь проявления их усталости и дряблости. Поколения, вышедшие из прошлой войны не создали ничего, чтобы предотвратить новую, и сердец не облагородили; они даже не воспитали в новых поколениях отвращения к человеконенавистничеству и к братоубийству. И нет никаких оснований ждать от войны настоящей того, чего не дала предыдущая.

Но нужна и очень серьезная поправка к такому пессимизму. Ведь в сущности, «психология массы» есть ложно-научный домысел: нечто вроде выстукивания и выслушивания сердца у манекена, нами создаваемого; реально масса не существует. Вглядываясь же в живых людей, на фронтах или в глубоком тылу, общаясь с ними дома, на своей улице, в своем городе, в своей или чужой стране, мы легко можем убедиться, что переживаемое нами время, наряду с ожесточением сердец, порождает еще и иные чувства, во всяком случае их обнаруживает с небывалой в мирное время отчетливостью. Одно из этих чувств можно бы назвать взаимосостраданием: отказ от привычных эгоистических побуждений, особая напряженность понимания чужой

беды, единение в самозащите живых единиц от опеки или натиска манекенов (общества, нации, государства). Такое деятельное взаимосострадание ярко наблюдается в группировках товарищеских (фронтовиков, военнопленных, тюремных сидельцев), равно как и в быту, и чем быт теснее, проще, тем сильнее сказывается спайка в общности испытаний. Несчастья — пробный камень прочности и глубины дружеских отношений, создавшихся в дни мирного благополучия; но связи, рожденные в общности неблагополучия уже не нуждаются в проверке: их неложность доказана. И думается, что в дни войны каждый человек сделал для себя целый ряд неожиданных открытий, способных смягчить «ожесточенное сердце». Не значит ли это, что происходит не «порча сердец», а их отчетливое самоопределение, вскрытие их сущности? Порода людей не меняется, но спадают маски и обнаруживаются подлинные черты лица, в суете дней не успевшего принять искусственное выражение. Тут делать общие выводы и рискованно и ненужно; каждый делает вывод свой и лишь для себя. И я охотно поделюсь выводом своим: хороших людей, хороших сердец, гораздо больше, чем казалось. Можно не любить человечества, но решительно нет оснований не любить человека, моего брата, моего соседа, моего случайного спутника на крестном пути наших затянувшихся невыносимых мытарств.

**Б Е З В Р Е М Е Н Н И К**





(22. 9. 42)

Дорога к речке, месту моих неистребимых рыболовных вождедений, лежит через лужок, затененный высокими тополями, той их безобразной метлистой породы, вытянутой к небу огромными полуголыми шишами, которая так живописует и так украшает природу средней Франции. Лужок, уже раз скошенный, весь зацвел безвременниками, — я вам пишу в конце сентября.

Безвременник, безвременный цвет, колхика (*Colchicum autumnale*), странный цветок, резко отличающийся от других луговых и не любящий с ними встречаться. Он цветет осенью, цветет без листьев, выходя длинной хрупкой трубочкой прямо из луковицы и раскрываясь пятью-семью лепестками; а его листья, узкие, мечевидные, появляются пучком только весной и выносят из земли спавшую зимой коробочку с ядовитыми зернами. Все части безвременника ядовиты: луковица, листья, цветок, семена. Опытные коровы никогда его не касаются, разве что он попадет высохшим в сене; опытные хозяева косят сено до его цвета и много позже полного исчезновения листьев.

Цветок безвременника своеобразно красив; он похож по форме на цветок крокуса (шафрана), но не радует глаз разнообразием красок: он всегда бледно-лилов, как пламя спирта, немощно-дьявольского оттенка, и он не просится ни в букет, ни в петличку, а венок из безвременников годился бы только на чело покойника. Он пытается веселить лужок, но порождает мысли не веселые. Есть и другое русское название этого цветка: зимовик. И я заговорил о нем именно потому, что он напомнил о близости зимы, третьей зимы в

маленьком местечке Франции, быт которого я так часто вам описывал.

Не скрою и не стыжусь: самое имя безвременника таково, что невозможно его не использовать для каких-то еще не готовых мыслей и не пойманных намеков; жаль пропустить случай словесной придирки. Безвременник... А живем мы как раз в дни безвременья, когда нет ни начал, ни завершений, ни творческих попыток, не, может быть, жизненных планов и еще не пришло время для воспоминаний. Должно прийти что-то, прийти когда-то, и лишь тогда снова закачается маятник часов и время начнет свой правильный бег. Это ощущается всеми: и теми, кто торопится, использовав общую растерянность, извлечь из безвремения личные выгоды, — и теми, кто от этого страдает. В безвременьи особенно пышно расцветает ядовитый цветок отрицания духовных ценностей, прежде не возбуждавших в нас сомнений; цветок повянет, но после выпрет из земли ядовитый плод неверия. А то думается, что безвременники — это современная молодежь, расцветшая по календарному закону, но не нашедшая общего радостного лугового цветенья, ликующей жизни медоносных чашечек и опыляющих насекомых, бури красок и ароматов, веселого соперничества и премий за красоту; вместо праздника — унылый и тревожный быт, заботы о ничтожном, откладывание «на потом» всего, что превышает интерес текущего получаса. Я говорю о самой юной части новых поколений, о вышедших сейчас из детскости, формирующихся из подростков, об этих бледно-лиловых безвременниках — а не о тех, что красными пятнами тел расцветают на полях и песках, в вечный укор нашему общему трагическому безвременью.

Как определить понятие безвременья? Это — перерыв естественного развития жизни, его заминка на неизвестный срок. Поезд отводится на запасные рельсы и должен ждать прохода поездов курьерских или спе-

циального назначения. Когда он двинется дальше — неизвестно, и пассажирам остается бродить около вагонов или дремать. Типичнейшие безвременники — вынужденные эмигранты; пример показан русскими, за ними последовали итальянцы, немцы, испанцы, теперь — люди всех европейских стран и наций. Сначала перерыв жизни кажется временным; стоит ли раскладывать чемоданы? Затем приходится вынуть смену белья, бритву и хоть какую-нибудь книжку из взятого с собой запаса. Дальше — переезд из гостиницы в меблированные комнаты, затем и в квартиру со своей меблировкой. Неужели прошел уже год, неужели три, десять, двадцать? В безвремении взрослые стареют и дряхлеют, приписывая это случайным болезням, мальчики остаются до преклонного возраста «молодежью», и нормальная их седина кажется преждевременной, младшие коверкают или забывают родной язык, но, по привычке, все безвременники ждут, что вот путь освободится и поезд с запасных путей перейдет на настоящие рельсы; веселый свисток — и он двинется туда... где уже никто вас не ждет, никому вы не нужны, где всё переменилось и делать вам совершенно нечего. Но не все безвременники пассивны: иные сохраняют весь былой пламень, и годы и годы подряд повторяют свою последнюю, прерванную событиями речь, дополняя ее словами, которые им кажутся новыми, выводами наблюдений, кажущихся им свежими, украшая мыслями, плесень которых им незаметна. Они верны миссии, которую никто их не облакал, они хранят традиции, высота и честность которых несомненны, хотя красота и своевременность попорчены молью.

Есть и еще порода безвременников; но эти — не жертвы, а паразиты безвременья. Не жалея прошлого и не пытаясь строить будущее, они извлекают свою выгоду из искусственного перерыва времени, и они цветут в дни общественной осени, чтобы налить плод в любых условиях ближайшей весны. В вечность они не верят, и традициями не дорожат; во всеобщей расте-

рянности они — командиры безвременья, это их пора, их удача, их питательная среда. Они не боятся ответа, так как в затянувшемся безвремении они останутся господами, в новом беге истории отходчивые люди забудут об их нечистых подвигах. Впрочем — кто мешает им в любой нужный момент переменить личину и пойти с победившими впереди толпы? Им знакомы страницы истории, и они читали, как имена проклятые становятся славными и прославленными и чело вульгарного убийцы окутывается ореолом героизма и благородства. Люди не только изумительно забывчивы, они еще чрезвычайно снисходительны к грешкам великих имен; а историки — превосходные парикмахеры и маникюристы: волчью шерсть завивают бараньим колечком, острые когти превращают в миндалевидные ноготки.

Но оставим прельстительную словесность; без надуманных образов и подобий, безвременник напомнил мне о близости третьей зимы, третьей со времени великого парижского исхода. Три лета и две зимы достаточны, чтобы стать «здесьними», знать каждый заворот реки на протяжении нескольких километров, обмениваться приветствием с каждым встречным и удивляться появлению незнакомого лица. Дома стоят так прочно, улицы так неизменны, с таким постоянством в определенные часы страстно стенает соседский ослик («Страданья молодого Вертера») — а может быть просто, на своем языке, высказывает мнение о текущих событиях. Но и событий нет, они за пределами нашего маленького быта. Кажется, что-то случилось; кажется даже, что и макрокосм, и микрокосм перевернулись вверх ногами и хотят застыть в этом положении, но опять же это в областях, чуждых нашей улице и этой тропинке через лужок, поросший безвременным цветом. Прошлой, очень суровой зимой померзло не мало виноградников на высоких местах, и это было самым крупным событием за истекший год. По улицам — в согласии с местными обычаями — прошло несколько свадеб, впереди молодая с отцом, позади моло-

дой со своей матерью, в центре разряженные гости. Кюре и просвещеннейшая из местных старых дев окончательно завоевали ребят голубыми рубашками и значками, образовав отряды «бодрствующих сердец», поющих в унисон какое-то унылое подобие бодрой песни; стали чаще детские ссоры, а в садах пропадают персики и груши. Что же еще случилось за этот год? Сменился муниципальный барабанщик, глашатай важных распоряжений. Я спросил: а где же старый? — он умер. — Почему? — Оказалось — просто потому, что пришел его срок; человек не вечен, даже если он официальное лицо; и барабанщик умер на своем посту, но, конечно не на велосипеде, а более удобно.

Вот и всё; в остальном без перемен. Но если вы заподозрите подлинность моей идиллической картины, если предположите, что и в тихом омуте водятся черти, что под гладкой водной поверхностью проходят и сталкиваются течения, что жизнь людей на виду, а в душу им не залезешь, — я возражать не буду. Я только выражу удивление, почему вы ждете от мирных людей взрывов, метаний, поднятых кулаков, неблагоприятных жестов, тогда как не требуется этого от земли, которую из года в год режет и кромсает острый плуг, от виноградной лозы, которой не дают расти по воле, от лошади, вечно под ярмом, ослика, страдающего от напора неудовлетворенной страсти? А почему такое требовательное внимание к затаенным или подавленным мыслям и намерениям человека, — при полном небрежении ко множеству великих тайн и скрытых сил, бурлящих и бунтующих в недрах земли, в стволах деревьев, в стае ласточек, уже готовых к отлету, в луковице безвременника, не знающей отдыха?

Всё в природе подчинено законам условий и споров. Садовник может искусственной выгонкой подать вам блюдо спаржи поздней осенью и земляники к Рождеству. Занимательно, как всякий фокус. Тоже — образцы безвременности. Но мы здесь живем не в

борьбе, а в дружбе с природой, подчиняясь ее условиям и срокам. Сегодня сильным ветром сбило с персикового дерева последние плоды: это — в порядке вещей. И мы ждем, что принесет и что укажет нам завтрашний день, — ждем, не подгоняя времени напрасным нетерпением.

## **СЛУЧАЙ ОРЛА И САНКЮЛОТОВ**





(13. 10. 42)

В папке старых, прошлогодних газетных вырезок оказалась коротенькая телеграмма официального агентства из Лиссабона. Привожу ее целиком:

«Л и с с а б о н. — В момент, когда один летчик пролетал над заливом Луанда, на самолет напал орел величиной в три метра. Авиатор сделал крутой поворот, и орел разбил одно из защитительных стекол, смертельно ранив летчика».

Совершенно не важно, случилось ли что-нибудь подобное, или так ли произошло, как это передает агентский корреспондент. Правда, в данном случае никакому официальному учреждению нет видимой надобности изобретать, украшать или обкарнывать истину, — хотя могла сказаться привычка или склонность к поэзии. Но, повторяю, нет нужды ни вымерять орла, ни добиваться фамилии и адреса летчика. Дана цельная и прекрасная картина протеста векового владыки воздушных пространств против вторжения в его область земного червя при помощи дышащей перегаром бензина машины.

Те, с кем автор этих строк не впервые встречается на страницах газеты, уже видят его севшим на любимого конька и устремившимся, с донкихотской отвагой, против ветряных мельниц. Если это так им наскучило, они могут без особых усилий подняться на элеваторе мысли из подвальных глубин газеты на ее жилую площадь и прочитать колонны о великих достижениях человеческой техники, о сулящих нам счастливую жизнь рекордах, вообще о том, что обычно именуется победой над природой. Но если даже вы восхититесь блеском и мощностью орудий строительства и орудий разрушения, всё же должны будете признать красоту орлиного жеста, орлиного гнева, благородство и совершенство его ата-

ки. Орел — птица царственная, его поведение полно величия, он не только защищает свои владения, он нападает на жалкое, грязное, вонючее существо, пытающееся завоевать воздух под прикрытием стальной оболочки.

Орел активен. Мы не можем ждать того же от людей первобытной, многовековой культуры, не желающих принять благ наступающей на нее цивилизации, — хотя инстинкт защиты развит в них не меньше. И вот вам пример — рассказ о людях невзрачных, голых, ни с какими нашими «благами» не знакомых, но по своему мудрых, очень мудрых и мудростью своей, первобытной и неизменной, преодолевших те же века, которые преодолели и их просвещенные собратья по природе. В Австралии, в глубине Карпентарийского залива, есть островок, открытый лет полтораста тому назад любознательным капитаном Матью Флиндерсом и названный островом Бентинка. Этот островок в последнее время считался как бы «национальным парком» Австралии, и его население (всего человек 500) заботливо охранялось, как в зверинце охраняются редкие экземпляры исчезающих звериных пород. Весь островок — не более 60 квадратных миль и покрыт лесом, помогающим населению прятаться от глаз цивилизованных собратьев. Здесь люди не знают ни одежд, ни жилищ, ни домашней утвари, можно не прибавлять, что у них не выходят газеты, нет выборных кампаний и не намечается «новый экономический порядок». В период обилия насекомых они защищают от них тело вязью листьев и трав, и это их единственная необходимость в самозащите, так как у них нет, конечно, ни правительства, ни полиции, ни законов, вообще ничего, стремящегося превратить земную жизнь в райское житие, но не всегда в этом успевающего.

Цивилизаторы, пытавшиеся просветить этих людей зародышевой культуры, спешно убежавших при их приближении, любезно и бескорыстно оставляли им самое необходимое для начала более сознательной жизни: пан-

талоны и табак. Вещи клали на видное место, а затем находили там же нетронутыми. Так было до войны. Возможно, что островок уже понадобился, как авиационная база или для других целей, а его жители спешно вымерли, так как невозможно допустить, чтобы они, расставшись с вековой мудростью, закурили сигары и надели смокинги. Одним словом — не знаю, как сейчас обстоит дело; но еще два года назад эти люди умели пассивно сопротивляться наступлению на них великой мировой цивилизации, которую неразборчивые филологи и политико-экономы называют культурой.

Еще вчера считалось старомодным чудачеством выступать против так называемых завоеваний цивилизации, признавая в то же время и центральное отопление, и золотую пломбу в коренном зубе. Разрешалось лишь с середины июля отрицать город, с середины сентября — деревню. Было также можно выражать недовольство налогами, жалуюсь на неопрятность улиц, возносить словесно нерушимость личной свободы, одновременно побаиваясь гуляющих без цепочки жуликов. Вообще, любясь птичкой на ветке, мы продолжали верить в прогресс. Продолжаем, конечно, и сейчас, но сейчас уже не прихотью, не снобизмом, а существенной необходимостью стала огромная оговорка, звучащая приблизительно так: «Не тащи ты меня в свой рай силком, а разреши сначала взглянуть, что он из себя представляет». И вот эта скромнейшая просьба оказывается не только непозволительной гражданской прихотью, а почти бунтарством.

Представим себе однако, что она удовлетворена и что выбор для нас свободен. Две картины развертываются перед нашими взорами: два обещаемых рая. Один соблазнителен новизной и порядком, как основой отношений; другой приятен уважением к старым традициям и признанием его за основу свободы. Путь к обоим идет морями крови и холмами тел, а будущая охрана обеспечивается стальными стенами. Пока еще есть время скрыться от этих прелестей на острове

Бентинка, в качестве 501-го человека без панталон, очень хочется этим воспользоваться. Но хуже всего, когда показ картин рая сопровождается пояснениями, и когда придается будто бы глубокий и определенный смысл словам, в действительности не имеющим точного значения. Таковы, например, слова «нация», «национальный». Пока дело идет о «расе» — можно договориться и понять; для примера мы знаем, что раса тевтонская обладает крепостью шейных позвонков и развитием затылочной кости в ущерб лобной пазухе; раса хотя и низшая качеством, но сильная и плодовитая, в противоположность высшей и неплодовитой французской. Но «нация» — понятие искусственное и не органическое; национальность может сообщаться и отниматься, она не связывается с территорией, хотя филологически связана непосредственно, ей придаются разнообразнейшие значения, из которых ни одно не может быть оправдано и предпочтено. Между тем на понятии «нация» пытаются основывать целый строй идей, немедленно распадающийся не в силу идеологического порока, а просто — по негодности строительного материала. Беру понятие «нации» лишь как пример условности современных политико-экономических проектов, но все они целиком оперируют понятиями и представлениями, так сказать, изношенной уверенности, утратившими первоначальный смысл.

Я отнюдь не затрагиваю вопросов идеологического спора, якобы олицетворенного столкновениями мировых держав, тем более, что в каше событий далеко не усматриваю возможности ясных разделов: мы еще доживем, очевидно, до таких комбинаций, о которых пока и не думается, в которые пока не верится. Нет, тема беседы гораздо проще и ограниченнее: неточность ходячих понятий и слабость будто бы стройных уверенностей. На путях в вынужденный рай нас призывают обычно к сознанию долга и к исполнению обязанностей, в полной уверенности, что это — высшие гражданские добродетели. Но приходит ли кому-нибудь

из учительствующих в голову, что с точки зрения философской (но не кантовской, конечно) эти качества скорее отрицательны, что чувство долга ниже естественной склонности, что мотив обязательства менее действенен, чем доброхотное побуждение? По чувству долга и дисциплины солдаты идут завоевывать; по естественной склонности, по любви к родной земле, такие же солдаты защищают свою землю, и защищают с такой силой самоотвержения, какую не придаст никакое сознание «долга». Мы это видим сейчас воочию в родной земле. Мало того, сознание долга и обязательства, всегда связанного с санкциями, вызывает противодействие, и мы видим, как сложнейшие и прочнейшие внешне системы дисциплины внезапно рушатся просто в силу отсутствия внутренней склонности в опутанной обязательствами людской массе. Или, например, возьмем образец ходячей уверенности из совершенно другой области. Во имя «счастливого будущего» и «интересов нации» население призывается к усиленному деторождению, с назначением привилегий, наград и премий преуспевающим в этом патриотическом состязании. Одновременно ряд мировых ученых бьет тревогу по тому же поводу: человечество слишком быстро увеличивается численно, и мы уже стоим перед гигантской мировой катастрофой: земля переполняется людьми, которым скоро будет нечего есть, негде сесть; уже сейчас это вызывает острую безработицу, революции, войны, и в будущем сулит стократ большее и худшее. Тут можно спорить и строить планы спасения, но можно ли упускать из виду нарастающий ужас тесноты, устрашающую прибыль пятидесяти миллионов в год, — несчастье, которое придется поправлять уже не войнами, а применением скальпеля и прививкой эпидемических болезней!

На подобных спорных или ложных уверенностях строятся политические системы, они возводятся в аксиомы и религиозные догмы. И их, этих уверенностей, бесконечно много; к ним принадлежат и такие «бес-

спорности», как понятие о праве, о государстве, о свободе, о «порядке», об единстве нравственных заповедей и проч. И при великом пересмотре, который отведен судьбой на нашу долю, именно эти уверенности будут пересмотрены последними, с академической неспешностью, которая лишит этот пересмотр всякого практического значения. Пятьсот островитян правы, предпочитая вымирать, если придется, без особых сложностей и споров, свободными санкюлотами, какими были и их отдаленнейшие предки. И прав орел, защищая воздушные пространства от вторжения человека.

Вот — темы для размышлений, чрезвычайно полезных и плодотворных при замкнутых устах. Кстати они, эти темы, отвлекают от ежедневных тревог, от подсчета своих и чужих убытков и ожидания открытия новых фронтов — как будто это запасные коробки консервированного мяса!

**О ВЕЛИКОМ ПЕРЕСМОТРЕ**





(22. 10. 42)

Уже много раз, пользуясь всё тем же заголовком «незначительности», я ставил перед собой и перед вами вопросы, которые казались мне выше Гималаев и обширнее океана; и всё-таки заголовок оставался точным, так как с точки зрения реальных политиков и вообще людей сегодняшнего дня, отдающих внимание только современности, пустяшно всё, что не котируется на утренней бирже. Таким же пустяком, напрасным разговором, должен быть в их глазах и не вызываемый обстоятельствами пересмотр всех без исключения уверенностей и убеждений, которыми мы до сего времени жили, строжайшая ревизия нашего идеологического хозяйства. Война, вызвавшая мировую катастрофу, оказывается для множества людей и катастрофой личной, полным крушением не только условий их жизни, надежд, планов, но и основ миропонимания. Только очень счастливые из мыслящих могут в эти дни ограничиваться вопросами «кризиса демократии» или выкройками будущих карт Европы, рассуждать о правах больших и обязанностях малых народов, или вводить новые толкования старых слов, с которыми всё еще не хочется расстаться (как слово «свобода»), — всё это, конечно, тоже имеет значение и небезлюбопытно. Но если пришло время для настоящего Великого Пересмотра, то подвергнуться ему должны не только искусственно созданные формы наших сожитий и соотношений, а самые основы наших представлений о мироздании, о Природе, о жизни, о смерти, о добре и зле. Не поиски более упрощенных доказательств уже известных теорем, а серьезное недоразумение с аксиомами, доказательствами не требовавшими.

В сущности война лишь тряхнула нас за шиворот и более грубо сбросила с ленивого ложа мысли, а самые вопросы поставила не она. Нужно обладать боль-

шим запасом прекраснодушия и спокойствия, чтобы волчком вертеться вокруг себя, думая, что вертишься вокруг солнца, и вообще на каждом шагу мысли оказываться предстоящим пропасти, через которую в лучшем случае переброшен ажурный мостик без перил. Но если не наивный испуг, то хотя бы тревожный интерес должна была пробудить в нас наука, заведшая нас в последнее время в блестящие трущобы парадоксов и заставляющая мириться с тем, что прямая линия перпендикулярна самой себе. Это может не действовать на пищеварение, но какую-то царапину в мозгу всё же оставляет. Царапина углубляется, когда узнаешь, что та же прямая, пересекая центр окружности, оказывается к этой окружности касательной. Далее нам останется углубиться в область воображаемых величин, предпринять прогулку по любому количеству измерений и выйти на единственный остающийся путь убеждения, что между очевидностью и логикой нет ничего общего, их области независимы и не совпадают: несуществующее начинает существовать с той минуты, как мы о нем помыслим; существующее исчезнет, если мы захотим обозначить его любым условным знаком. Мы, конечно, можем развалиться на зеленой луговой траве и смотреть в небо, но мурашки не перестанут пробегать по спине: привычные рамки и ходы мысли окончательно нарушены. И вот тут мы замечаем в небе прямо на нас нацелившийся самолет неизвестной национальности, но совершенно определенных намерений: испортить нам существование. К шуткам науки прибавляется серьезность личной катастрофы. Но, может быть, личное вообще ничтожно, когда вопрос идет о гибели мира и миров; и разве не мы призывали жертвовать им ради общественного блага, ради защиты чести, родины, человеческого достоинства и прочих такого рода и типа ценностей? Но что, если окажется, что их нет и не было, а были только красивые игрушки нашего воображения, что родина есть только пятно на географической карте, общественность — случайный

сговор хорошо закусивших чудаков, государственность — образ прикрытия и оправдания преступности, а честь — не она ли сыплется из прорвавшихся карманов, не ею ли мальчики швыряют в воробьев? Разве мы не живем в дни, когда люди без упрёка в прошлом целуют руку явных преступников и вульгарных убийц, видя в этом своеобразный подвиг и ловкий политический ход, и разве история не обещает за малое вознаграждение увенчать короной величайшего почёта любую человеческую мразь, которую еще вчера она не соглашалась занести на свои страницы иначе, как с позорным клеймом на лбу?

Но мы не поддадимся соблазну намеков и недоговоренностей, это ниже поставленной темы. Великому пересмотру прежде всего подлежит вопрос о месте человека в живой Природе. До сей поры он числился на месте достаточно почтенном: Царя Природы, — несмотря на то, что менее всего Природа напоминает область авторитарного управления. И вот оказывается, что среди живых существ человек — самое неустроенное, беспомощное, бессильное и незащищенное существо, притом самое вредное, мешающее жить другим, и самое неспособное к совершенствованию и улучшению породы. Единственное, принявшее за основной закон существования взаимоубийство (ни один зоологический вид этого не знает), наградившее себя качеством высокого понятия — разумом, якобы возвышающим его над другими живыми существами, в действительности не дающим даже той степени абсолютного знания, которою обладает личинка насекомого, вышедшая из яйца, не имеющая ни опыта, ни примера, ни советчика, ни живых предков, и не допускающая ни малейшей ошибки в сорте нужной ей пищи, в технике строительства кокона, в целях дальнейшего существования. Какой страшный провал! Но зато мы награждали себя свойством не только «думать», но и думать о том, что мы думаем, то есть отвлеченно и возвышенно мыслить, хотя ничем не опровергнуто, что тем же свой-

ством обладает укусившая вас блоха. И мы удобно устраивались на ложе мысли, приняв с Аристотелем, что природу не может удовлетворить несовершенная форма, что бесконечное желание заставляет ее стремиться к лучшему: «минерал стремится к жизни растения, растение — к жизни животного, животное — к жизни человека, а человек — к жизни божественной». Какая стройность мысли «думающего о том, что он думает», и, в то же время, какое полное несоответствие действительности: легкий ветерок — и карточный домик рушится, царь природы оказывается ничтожеством, а божественная цель — вздором занесшегося разума. Оказывается, что минерал не стремится стать растением, растение не соблазняется жизнью животного, животное с ужасом и отвращением помышляет о жизни человека, а человек, действительно, стремится к божеству, но к какому? К минералу и металлу — к нефти и к золоту! Практическое значение такого открытия в том, что рушатся самосозданные кумиры, и нет ни малейшей охоты вырезать из древесного обрубка новых богов; человек остается без места в Природе, развенчанным царем и ненужным членом живого мира, вооруженного тем высшим, что мы презрительно именуем инстинктом. Иными словами — нет смысла дорожить прошлым и его традициями (миллиарды живых существ прошлого не накапливают и не знают), нет цели в заботах о будущем (за отсутствием прогресса), и современность не ставит перед нами никаких задач. Можно, впрочем, придти и к совсем иным выводам, но это лишь дело вкуса и важности не имеет. Разом теряют всякое значение и вопросы чисто нравственного порядка, и в единую кучу нерасцепимых бирюлек сваливаются понятия подвига и предательства, милосердия и жестокости, любви и ненависти, добра и зла. И всё это произошло лишь потому, что некогда Аристотель, послунив палец и подняв его кверху, неправильно определил направление ветра: в Природе божественное стремится к звериному лику, животное к растительному прозябанию, растения к по-

кою минерала; таков, по крайней мере, последний вывод нашего «божественного» разума, за неимением лучших измерительных приборов.

К счастью, повторяю, сумбур подобных очевидностей для нас так же не обязателен, как и итоги стройнейших логических построений: две параллельные линии могут пересекаться и свиваться в клубок, сколько им угодно, но мать любит своего ребенка, патриот свою страну, ученый свои догадки, посвященный кусочек добытой истины, поэт свои стихи. Мне мила и любезна память о давнем прошлом, вам рисуется прекрасная картина будущего, и что-то иное, а не прославленный и оскандалившийся разум, приотворяет нам двери в мир иллюзий, который может оказаться и миром реальности. Но в эту дверь да не входит немытый и небритый в запыленной обуви, — иначе его ждет прежняя участь. И вот жизнь и мысль ставят перед нами требование Великого Пересмотра всего, что мы считали духовными ценностями, ради чего соглашались терпеть нестерпимое, и выносить непереносимое, носясь по волнам на осколках разбитого корабля, вытягивая себя за волосы из клоаки современного бытия. Священного уже нет — его нужно создавать заново — если нельзя без него обойтись; и нет никаких нравственных законов — они теряют смысл в тот момент, как становятся обязательными.

Что же мы создадим, что познаем и поставим во главу угла нового храма духовной жизни? Чем бы это ни было — только бы не возводилось в ранг непогрешимых истин и непреложных законов. Путь к божеству, или путь к минералу, но с полным сознанием, что он не прямой и не единственный и, следовательно, не может объявляться обязательным и для личного, и для стадного поведения. Поэтому первое, что рисуется мыслью о Великом Пересмотре, это — огромный костер, в который брошены неисчислимые томы продуктов человеческого законодательства, кодификации остановившейся мысли; очищение огнем. А затем — можно присту-

пать к новым ошибкам и готовить новый материал для такого же, как наше, отчаяния будущих поколений, положение которых постольку незавиднее нашего, поскольку человеческий род обнаружил пагубную способность к чрезмерному, устрашающему размножению. Но это уже его забота, а не наша: «довлест дневи злоба его».

**ОТВЕТ СТАРОМУ ДЖЕНТЛЬМЕНУ**





«Что думают в мире о Франции»? — Такой вопрос ставит газета «Le Temps», одна из старейших французских газет (возраст — 82 года), солиднейшая, всегда умевшая сохранять достоинство, не утратившая его и сейчас в той мере, в какой это зависит от нее. В данное время «Le Temps», на беженском положении, издается в Лионе, столице неоккупированной Франции. Отражая настроения кругов умеренных, прочно опираясь на круги финансовые, «Le Temps» пользовалась самым широким распространением за границей. К иностранцам явно обращен и ее вопрос, поставленный «не без скрытой горечи», «в опасении ответа скорбного, каким он формулируется в сознании французов».

«Что думают в мире о Франции»? Существует ли еще то излучение духовного света, которым французы гордились, как отражением некоей наследственной царственной страны, ее естественным приматом. «Даже в пору, когда наша беззаботность подготовляла поражение, Франция всё же сохраняла в мире свой несравненный блеск», — утверждает «Le Temps». «Происшедшая в июне 1940 года катастрофа сначала вызвала всеобщее недоумение, но уже через короткое время заметили, что крушение распространилось не на все богатства нашей родины, что наиболее чистые ценности остались непобедимыми и продолжают сохранять свое достоинство, и свое сияние. В милосердии мира по отношению к нам не проявилось оттенка презрения. Наш народ перенес и переносит выпавшее на его долю несчастье с достоинством, заслуживающим уважения. Во всяком случае Франция не хотела бы погибнуть, оставив в истории лишь след бывшего ореола ее цивилизации; она не считает свою миссию законченной». Газете даже представляется, что и сейчас «во всем мире продолжают читаться, обсуждаться и возбуждать изумле-

ние работы наших философов, писателей, артистов» и что «высокое духовное влияние Франции еще и сейчас необходимо для талантов и даже гениев других стран», поскольку в области духовной французская мысль была всегда освободительницей. Что же нужно, чтобы влиянию гения французской нации подлежало не только прошлое, но и будущее? В ответе на это чувствуется какой-то внезапный срыв от мысли высокой к злободневному. Нужна, конечно, «физическая нераздельность нашей страны», и газета как-то неявно намекает, что позаботиться об этой «универсальности» есть прямой долг других наций. Что до самих французов, то их первый долг — остаться самими собой и не делать ничего, что могло бы умалить духовный престиж Франции за границей, где французской мысли необходимо предоставить нужное ей «жизненное пространство». В заключение оказывается, что эта экспансия встречает сейчас препятствие главным образом из-за недостатка бумаги для перепечатывания наиболее выдающихся работ французских писателей и мыслителей... Заключение маленькое и несколько неожиданное, вызванное очевидно, тем, что статья появилась как раз в дни обсуждения издателями и правительственной комиссией вопроса о количестве страниц, которое может быть в дальнейшем предоставлено для печатания газет и журналов. Такое снижение тона — единственный упрек, который можно сделать газете по поводу этой статьи, очень нужной, очень сдержанной по тону и, по нынешним дням, весьма ответственной, чтобы не сказать смелой.



На вопрос, в котором звучит затаенная горечь и боязнь обиды, нельзя отвечать, развалясь в кресле и заложив ногу за ногу; нужно встать, как перед раненым воином или обедневшим джентльменом и, отвесив глубокий и почтительный поклон, ответить ему прямо,

откровенно, без условных и принятых комплиментов, как и без развязной снисходительности. Нельзя не пожалеть, что на некоторые побочные вопросы газета пытается ответить сама утверждениями, могущими не вызвать общего согласия; это приводит к необходимости признаний, мимо которых было бы можно пройти и которые для старого джентльмена могут оказаться неожиданными. Но, не способные забыть, что дала миру старая Франция, мы, иностранцы, ее гости, ее друзья, ее верные поклонники, не позволим себе резкости даже в необходимых отрицаниях, в указаниях на иллюзорность некоторых распространенных среди французов мнений о культурной роли Франции последних десятилетий. Франция не может не знать, — и знает — что она всеобщая любимица, что отношение к ней строилось длительно, веками, что оно совершенно исключительно и даже не всегда согласовано со строгими правилами справедливости (разве любовь справедлива?), что получившие много должны и естественно хотят отплатить еще большим, не только по чувству долга, но и по долгу чувства.

Именно поэтому (газета в этом отношении не только права, но и слишком скромна) — «июньская катастрофа», вызвав глубокую скорбь, не сопровождалась осуждением. Всеобщее тяготение к Франции основывалось не на ее военной мощи, как и вообще не в количестве танков, самолетов и орудий убийства заключается достоинство страны и нации. Сдача Франции была несчастьем, но никогда не была позором. Если вопрос нравственного порядка может ставиться, то лишь о дальнейшей реакции французского народа на случившуюся беду, об общественном мнении и поведении в условиях невыносимо тяжелых, и о защите в этих условиях тех «чистых и непобедимых ценностей», о которых упоминает газета и которые были истинным источником «излучения духовного света». В данном случае иностранец, любящий и знающий Францию, умеет различить в ее географическом термине основной эле-

мент народности от всего, что является наносным и вызванным случайными отражениями злых и сторонних этой народности воль, — мы отвечаем на сдержанный язык вопроса столь же сдержанным ответным языком. «Мир», суждением которого страна так дорожит, по видимому не заблуждается в своих суждениях об истинной воле Франции и о том, какие духовные ценности она хотела бы соблюсти и сохранить как для себя, так и для продления своего «царственного сияния» в сфере культуры. Но если даже мир хоть сколько-нибудь заблуждается, то в пользу ее чести и достоинства.

Есть, однако, одна сторона вопроса, которой приходится коснуться во избежание недоговоренности и недоразумений. Мы постоянно встречаем во французской печати привычные утверждения о примате французской литературы, науки и искусства не только в прошлом, что неоспоримо, но и в наши дни, в двадцатом веке, что может встретить серьезные возражения. Было бы осторожнее и, скажем просто, скромнее предоставить другим отвечать на вопрос о том, поскольку не только сегодня, но вообще в последние десятилетия, продолжалось «высокое духовное влияние» современного французского творчества. Самоудовлетворенность — счастливое, но не лучшее качество; любуясь своим, Франция проглядела чужое. До удивительности мало внимания обращала французская литературная критика на расцвет литератур чужих — скандинавской, американской, английской, немецкой (позже почти целиком эмигрировавшей!), отчасти и русской (до удушения ее политическим режимом). Почтенный и престарелый джентльмен, с которым мы ведем беседу, газета «Le Temps», продолжает жить впечатлениями прошлого, когда говорит о духовном влиянии современных французских писателей и философов, неизбежном в ходе развития иноземных талантов. Кого из писателей она может назвать после Анатоля Франса, кого из философов после Анри Бергсона (по иронии судьбы — еврея), причем они оба принадлежат скорее к эпохе века

прошлого. Мы знаем во Франции не мало выдающихся талантов — но затруднимся назвать хотя бы одного «властителя мыслей», чье влияние отразилось бы за пределами страны на чужих литературах и развитии чужой мысли, в то время, как влияние литератур скандинавской или американской сказалось с огромной силой и убедительностью. Откровенность требует признания, что литература французская последних лет переживала период явного идеологического упадка — при прежнем блеске выработанного стиля — и что никакого влияния на чужие литературы (может быть, за исключением бельгийской и швейцарской) она иметь не могла, даже учитывая литературные заслуги Пруста. Мы воздержимся от дальнейшего развития этого бесспорного положения и не будем говорить о «французской культуре» вообще, чтобы не огорчить старого джентльмена: только повторим, что газете следовало бы воздержаться от утверждений, могущих вызвать сомнения и серьезные возражения. Вместо этого скажем, что престиж старой Франции и ее культуры остается незыблемым, поскольку она сама не отрекается от тех великих принципов, которыми она подарила в свое время мир. Этого вполне достаточно, чтобы желать Франции вернуть ее почетное положение среди европейских держав и не поставить ей в упрек ее временную слабость. Вместе с газетой мы готовы признать, что побеждена не французская мысль, и что ряд некоторых «servitudes» (не хочу переводить этого слова), к которым Франция вынуждена, отнюдь не кладет отпечатка на ход этой мысли. «У этой мысли, — свидетельствует газета, — есть неподкупный страж: дух родины, остающийся в народе попрежнему живым и сильным». Мы рады этому утверждению и не позволим себе в нем усумниться.

Итак — что же думают о Франции в мире? О ней думают хорошо, и ей верят. От нее совсем не требуют того, чего она дать не может, в частности идеологического влияния на развитие современной мысли, но ей и не приписывают того, что иногда неискусно и мало-

убедительно как бы высказывается от имени ее народа. Франция остается мировой любимицей и, прибавим, мировой надеждой, так как всей своей историей она доказала свою способность возрождаться и загораться новым светом, чему не мешали ни временные поражения, ни периоды упадка. Достаточно ли такого ответа почтенному джентльмену, затаившему горечь поставленного им вопроса и опасавшемуся скорбного ответа? В данном случае это — ответ человека, долгими годами жизни связанного с Францией и в ее прошлой культуре почерпнувшего не мало очарований. В частности нам, русским, не нужны переиздания творений французских мыслителей; мы знакомы с ними с юности и никогда их не забывали; и мы были бы счастливы, если бы французы хотя в сотой доле проявили склонность к знакомству с творчеством мысли русской, до сей поры остающейся для них «землей неведомой».

## О Г Л А В Л Е Н И Е :

	стр.		стр.
Предисловие М. Алданава .....	V	Ожидания .....	185
Предисловие автора ..	1	** .....	193
С Новым Годом! .....	3	Прошлое и будущее ..	199
Закат культуры .....	9	О нас .....	207
Параллели .....	15	Мы и другие .....	215
О бюллетенях .....	25	Чувства и реальность ..	223
Русская загадка .....	31	О русских .....	231
«Персонализм» .....	35	Последняя крепость ..	239
На ту же тему .....	39	Ответ .....	247
Река .....	43	Люди земли .....	255
Счастье или свобода? ..	47	Духовное поле .....	263
Парадоксы .....	51	Новый порядок .....	271
О нации, о чести и прочем .....	57	Годовщины .....	279
О войне, Вольтере и прошлом .....	63	Из кельи под елью ...	287
Четыре времени года ..	73	О пересмотре утверждений .....	295
Тоска и Россия .....	83	Ничего не случилось ..	303
Нейтральные .....	93	Очередное пугало ....	311
Противоречия .....	103	Непоправимое .....	319
Осколки .....	113	Власть прошлого ....	325
Пещерный человек ...	121	Перед закатом .....	333
Будущее .....	129	Радио-удушье .....	341
Противоречия настроений .....	137	Об ожесточенном сердце .....	349
Будущий победитель ..	145	Безвременник .....	357
О чести .....	153	Случай орла и санкюлотов .....	365
Малая печать .....	161	О великом пересмотре .....	373
Годовщина .....	169	Ответ старому джентльмену .....	381
Еврейский вопрос ....	177		

**RAUSEN BROS.,  
417 Lafayette Street  
New York 3, N. Y.**

